Новый Журнал

65

THE NEW REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 29th day of September, 1960, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Comission Expires March 30, 1961.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцатый год издания

Кн. 65 **Нью Йорк** **1961**

THE NEW REVIEW

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, September 1961
Quarterly, No. 65
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Л. Ржевский — Через пролив 5
Д. Кленовский — Стихотворения 28
Д. Мережковский — Св. Иоанн Креста 31
Вл. Корвин-Пиотровский — Калифорнийские стихи 62
Вл. Варшавский — Мечтание 65
Н. Туроверов — Конь (стихи) 91
Р. Плетнев — О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова . . 94
К. Померанцев — Два стихотворения 110
Д. Гольдштейн — Переделка писем Достоевского 111
Ирина Одоевцева — Стихотворения 121

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Ю. Анненков — Воспоминания о Ленине 125
Андрей Седых — И. А. Бунин 151
Б. Одинцов — Высшая школа в 1918-22 годах 198
И. С. Ильин — Комуч 221
К. Вендзягольский — Савинков и Керенский 242

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Нижальский — Эволюция Павлова 248
Ю. Денике — Труд порабощенной мысли 255
Н. С. Тимашев — Сталинский террор и перепись 1959 года . . 266
В. Вейдле — Похороны Блока 270

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Проф. Б. С. Ижболдин — Русские историки о татарском иге . 277
Александр Билимович — О бюллетене русской зарубежной печати . . . 281

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ричард Пайпс — A. Walicki. Osobowość a historia. *Вл. Варшавский* — «Воздушные пути». *Артур Адсон* — A. Rannit. Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis. *Л. Алексеева* — Олег Ильинский. Стихи. *Н. Тимашев* — И. Курганов. Нации СССР и русский вопрос. *Юрий Арбатский* — Очерки по истории первого московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. *Роман Гуль* — Игорь Чиннов. «Линии». *Роман Гуль* — Л. Ржевский. «Показавшему нам свет». *Л. Алексеева* — Н. Белавина. «Синий мир» 284

Книги для отзыва 304

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ

Занесло меня как-то на север, в... Вот ведь досадно, что не приняты в наших рассказах прекрасные сказочные формулы для обозначения места и нельзя сказать. ...«в тридесятое царство, славное государство, стольный град Додонацаря» или что-нибудь вроде! Итак занесло меня в одну заморскую северную страну, в старинный с ветхокаменным чревом университетский городок, где бывает настоящая зима и настоящий снег. Где сейчас снега еще не было, но он угадывался в выжидающей оголенности серого камня, в ветре, плотном и хлестком, как пощечина, срывающем последние жухлые листья с деревьев на набережной.

В этом городке жил мой земляк и старый знакомый. Это собственно тоже почти отдельный рассказ, как мы друг друга нашли после пятнадцатилетней разлуки, но отвлекаться не стоит. Нашли. Списались. Он настаивал, чтобы я его навестил — у самого у него больная жена, за которой надо ухаживать. И мы встретились.

Он писал мне между прочим, что в квартире его венецианские окна, выходящие в зоопарк. Двуспальное, брызжущее лаком такси вывернуло из феодального переулочка к сетчатой волнистой решетке, за которой сквозила какая-то живность.

— Здесь! — сказал шофер.

Дай Бог им здоровья, этим венецианским окнам — они выручили меня в первые пять-десять минут нашей встречи: я все прикидывался страшно заинтересованным тем, что открывалось за ними, чтобы не смотреть на него.

Потому что, пока не привык, смотреть было трудно. Я готовился к этому: около сорока было ему, когда мы расстались, плюс лет пятнадцать разлуки. Но что эти пятнадцать так

легли ему на плечи, щеки, все обвалили вниз!.. Белые виски — куда ни шло, пусть даже запущенные, в косицах, на месяц, если не больше, запоздавшие к парикмахеру, но — вот глаза, неживые, **тусменные,** как говаривала когда-то моя старая нянька, похожие на залитый ночным дождем вчерашний костер, над которым, как тонкий дымок с головешки, завивалась тоска.

— Я изменился? — спросил он отвернувшись, чтобы не разглядеть ответа. Сетчатая решетка за окном — теперь ее было далеко видно, вихляя, как бедрами, гранитной грядкой столбов, убегала к морю, в серый кисель горизонта, заштрихованный мачтами и гусиными шеями подъемных кранов. Уже смеркалось.

— Все мы изменились, — сказал я. — Главное, что посчастливилось уцелеть.

— Ну, не уверен, что это главное. В части, разумеется, самого себя...

Мрачности этого замечания для первых минут нашей встречи я ему долго в тот вечер не мог простить...

Проговорив что-то, довольно невнятное, о том, что Моника (не сразу разобрал имя) давно будто бы хотела со мной познакомиться, он исчез за дверью и после томительной паузы вывез ее оттуда на кресле с колесиками. Шок второй!..

Эта Моника была настоящие живые мощи, слегка модернизованные в стиле иллюстрированных журналов, то есть чуть подкрашенные и припудренные, в перстеньках и сережках. Контраст этой легкой кукольности с отечными щеками и тем стеариновым выражением глаз, какое, я заметил, бывает у людей, отравленных сонными и болеутоляющими таблетками, был разителен. Она казалась старше его, на мой взгляд.

— Будем, если позволите, говорить по-немецки. Дома я обычно на волапюке, который она, по доброте души, готова признать местным наречием, — сказал он и пошел к буфету.

Давно я не радовался так втайне звеньканью рюмок — он расставлял их и какие-то закусочные в вазочках печенья

неуютно-деревянными движениями пальцев, больше привыкших листать книгу и держать карандаш. Мне, чувствовал я, надо было подстегнуться, чтобы не задеревенеть самому. Боже, что это был за разговор! Чисто из справочника для туристов, чтобы знать, как выбрать поскладнее меню. И за каждым ненужным вопросом-ответом рвалось на язык все неспрошенное и невыговоренное емкостью в пятнадцать неизвестно как пройденных лет...

Зажгли лампу. В ее желтоватом приглушенном свете отечные щечки стали пергаментными. Он постоянно тревожно заглядывал на них через стол и фужерчик свой только пригубливал, не отпивая.

Потом она призналась, наконец, что устала, и кресло уехало в спальню.

— Ну вот, — сказал он, воротившись — теперь по полному глотку. Со свиданьицем!

Глоток получился у него действительно полный. И жадный — по быстроте, с которой был сделан, и по тому, как плотно, окружьем, обняли пальцы рюмку. Я смотрел на него подозрительно.

— Да, пью, — кивнул он. — Не так чтобы уж очень, но не в пример прежнему... Сейчас, однако, стоп. Продолжайте, сделайте милость, одни. У меня в семь лекция.

— Вот как?

— Только один час — и мигом обратно. Тут из книжек моих есть, верно, кое-что на ваш вкус. Покуда посмотрите, я и...

— А можно мне с вами?

Он, казалось, ждал и словно бы опасался этого вопроса. Странно было видеть на его все еще непривычно для меня постаревшем лице краску, подплывшую каким-то смущающим и неловким контрастом к седине висков.

— У вас здесь, может быть, не принято — посторонним?

— Нет, отчего... Просто никакого для вас интереса.

— А о чем будет речь?

— О романе Д.

Роман был еще не остывшей сенсацией и у всех на ус-

тах. Сам я прочел его в газетных продолжениях, наверное даже и с пропусками. Не без задней мысли я сказал:

— На меня это не произвело сильного впечатления. Может быть, я не понял...

— Гм-м... — протянул он. — Ну, если вы так хотите... Сию минуточку, я сейчас соберусь.

Он подсел к письменному столу, окунув в светлый кружок лампы плечи и голову. Куча нарезанных, узких и длинных, закладок лежала перед ним. Я снова не узнавал его, прежнего, в этой сгорбившейся над книгой фигуре, опавшей в плечах, и мне было не по себе. Какой-то недружелюбной и мертвой казалась возникшая вдруг тишина с томительно долгим листаньем страниц. За окном уже вовсе стемнело. Молочно расплывались в черноте огни. Был, должно быть, туман.

2.

Да, это был туман, удручающе плотный, и мы продирались сквозь него по сузившимся переулкам гуськом, как в траншее, подбирая локти, чтобы за что-нибудь не задеть. Мой спутник молчал, а мне лезли в голову всякие пустяковые мысли, вроде того, например, что если бы обывателям приоткрыть сейчас окна, этот туман, пепельно-вязкий, похожий на овсяный кисель, заполз бы, наверно, и в комнаты, и нужно было бы ходить внутри ощупью хватаясь за стены и косяки и аукаясь...

Но в полукруглом с хорами университетском вестибюле воздух был чист хрустально, пронизанный в куполе сливочным светом люстр, а в нишах и лестничных клетках — синий, но тоже прозрачный, недвижно-торжественный.

Нас встретил пляшущий в эхо, как по крыше картечь, пронзительный треск звонка, впрочем уже на излете, и, тоже замирающий, утекавший из коридоров и аудиторий гул слов и шарканья по паркету.

От вешалки подошли мы к тяжелой двухстворчатой двери, за которой угадывалось мне такое с юности памятное выжидательно-приглушенное оживление.

— Входите, пожалуйста!

Разрушая момент в последовательности повествования, отмечу, что вся эта встреча вообще, о которой хочу рассказать, явилась какой-то сплошной цепочкой ошеломлений, одно другого сильней: его потушенный вид и седые волосы, его Моника. Теперь вот и эта его лекция:

Огромная, как театральный партер, в полсвета (только над кафедрой и в первых рядах) аудитория была пуста.

Я обернулся к нему вопросительно: не перепутал ли двери? Но он стоял в такой убиенно-потерянной позе, с отвисшим в руке портфелем и обвалившись плечами, что недоразумение, понял я, исключалось. Не знаю... позже случалось рассматривать этот, вовсе уж не столь значительный, эпизод по-иному, даже с юмористической стороны. Но тогда эта пауза, полутемная аудитория и мы в ней — вошли в меня как шок, как «окна мелом забелёны» в доме, куда вас пригласили на ужин, хвост уходящего поезда, в котором вас дожидалась невеста, или что-нибудь в этом же роде...

Впрочем, пауза тут же и кончилась — дверь еще приоткрылась и вошли двое: сухонький, в сверкающем воротничке, старичек с торчащим в ухе рожком на тесемке и полная, в три скульптурных приема, дама, с круглым, славянским, как мне показалось, лицом. Приятель мой очнулся от оцепенения, кивнул нам садиться и двинулся к кафедре, нелепо-торжественной, как лобное место, в этом пустом зале, похожем на площадь во время воздушной тревоги. Ступеньки он миновал, остановился в проходе и стал вытаскивать и раскладывать книги с торчащим опереньем закладок. Усевшись в третьем ряду, я почти физически, как груз с плеча на плечо, ощущал его удрученность и скованность. Со стены над его головой, протаивая розовой голостью из буро-вишневой фламандской светотени, улыбалась какая-то Сусанна — я вспомнил, что здесь, мне рассказывали, вешают в общественных местах разные «ню» в воспитательных целях, чтобы приучить глаз не реагировать на этого рода красоту...

Покуда он копался с портфелем, народу прибавилось: еще одна слушательница, совсем еще юная, робко протисну-

лась в дверь и села с краю пустынного ряда, вытянув к кафедре тонкую шейку, как отнесенный на конец строки после многоточия вопросительный знак. Что ж, теперь стало уже четыре пары глаз и ушей. Можно начинать!

Мне вдруг вспомнилась одна его лекция, на которую случайно попал, Бог знает как давно, четверть века назад, в Москве, в пушкинские юбилейные дни. Тысячеголовый вибрирующий, как гигантская мембрана, зал какого-то клуба, с балконом, особенно чутким, вскипающим плесками и взволнованным блеском глаз. Лекция называлась «Дуэль и смерть Пушкина». Отчетливо помню ее до сих пор — должно быть потому, что самому лектору она едва не стоила свободы. — Он миновал своевольно все обязательные аспекты, ударившись в недопустимые отступления. Тема «И вы не смоете всей вашей черной кровью...» превратилась у него в «трагедию ревности». Исходным пунктом было пушкинское: «Отелло не ревнив, он доверчив»; дальше же шло, что трагедия Отелло состоит не в том, что он убил Дездемону, а в том, что он ей не поверил, и что, следовательно, писатели, занимающиеся фотографией одних внешних планов, никогда не создадут ничего значительного. В том числе и писатели советские — так, по крайней мере, у него получалось. В финале был бурный успех, который, правда, не помешал кое-кому из рукоплескавших донести куда следует о допущенной ереси... Нет, он не был златоустом, не умел говорить эффектно, с тем тонко рассчитанным и припрятанным привкусом демагогии, который в общем так обожает слушающая толпа. Но умел освещать все по-своему, удивлять параллелями, иногда неожиданными и парадоксальными, но всегда яркими. Главное же — обладал чертовской, как мне казалось, сопособностью устанавливать с аудиторией контакт. Какое-то рудинское горение на огне собственной мысли было у него, и поэтому, должно быть, увлекал... Что-то от Рудина сквозило в нем и сейчас, когда стоял, сгорбившись, над своими закладками, — от Рудина эпилога, с седыми висками и с «горе бесприютным скитальцем». По разительному, вероятно, контрасту между тем, вспомнившимся мне вдруг, бурным его окружением и тепе-

решней пустотой чувствовалось мне так. Правда, теперь мог он уже не опасаться доносов, но и — кого увлекать?..

Он вытолкнул меня из воспоминаний и размышлений, начав говорить.

Шло это у него сперва трудно, почти мучительно: мысль словно провертывалась сквозь мясорубку, прежде чем обратиться в слова, которые он отыскивал, видимо, с натугой — попроще и попонятнее. Дважды, я видел, минуя мое лицо, пытался он зацепиться за какое-нибудь из трех остальных и, не сумев, потерянно и под ненатуральным углом уставлялся глазами в потемки.

Но потом — разошелся!

Тема его, должен признаться, захватила меня сразу же. Я уже упоминал, что роман, о котором он сейчас говорил, прочитал я кое-как и без всякого восхищения. По его же выходило, что первым чтением этот роман вообще не прочитывается, что ключ к настоящему прочтению — только в самом конце, там — шифр, в свете которого роман оказывается мастерской криптографией, «притчей» — это последнее слово он особенно склонял и вынянчивал. Раскрывается притча — в поэтическом апофеозе романа, в образе Христа, который «сам говорил притчами, поясняя истину светом повседневности». Целый ряд нитей, внутренних ассоциаций, в которых тайнопись была запеленута, как в кокон, вели, по его словам, от этого апофеоза к различным картинам и эпизодам повествования. Чорт возьми, я был поражен, до чего убедительна казалась мне сейчас его трактовка! Он, между прочим, уже давно оставил свой дидактический тон — говорил даже слишком уж трудно в отношении стиля, свободно задерживаясь теперь глазами то на тонкой сидящей с самого краю девице — она еще больше вытягивала при этом шею и рдела; то на даме славянского типа — эта начинала понимающе кивать головой, то на старичке в блестящем ошейнике, который неизменно тогда, подбадриваясь, поправлял в ухе рожок.

Он приводил и цитаты, целыми пачками, порывисто выхватывая и комкая в пальцах, одну за другой, длинные свои

закладки. В его чтении эти цитаты и в самом деле обретали как бы второй, прежде невнятный язык. Вот, например, герой, в сосредоточенности своего одиночества и вдохновения, выходит на крыльцо, в снежную лунную ночь:

> «Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное утробно-скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутых тени, размером не больше маленькой черточки.
>
> Волки стояли рядом по направлению к дому и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна дома. Несколько мгновений стояли они неподвижно, но едва он понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, затрусили прочь от поляны...
>
> ...Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал каждый... Волки уже не были волками на снегу под луной, но стали **темой** о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей целью погубить его»...

— «Стали представлением вражьей силы», а весь эпизод — образной экспозицией главной темы романа — темы «смятения», темы трагедии человеческой души в обстановке тяжкого бытийного катаклизма... Вы понимаете?..

Я не сразу уловил в этом месте, где он кончил цитату и где начал свое. Что до меня — я, конечно. не только понимал, но и был, пожалуй, растроган. Правда, не мог бы точно сказать, в какой мере впечатляло меня, **что** он говорит, и в какой — **как** говорит он все это: он на глазах переродился. «До чего, думал я, меняет человека порыв хотя бы и речевого, всего навсего, но по природе своей все-таки творческого вдохновения!» — Он расправился в плечах и словно подрос, молодо глянцевели и напряглись щеки, а в голосе, особенно ког-

да читал выдержки, появились грудные и завораживающие интонации. Я оглядел еще раз «аудиторию». — Девушка с краю — она вдруг показалась мне очень похожей на Одрэй Хепборн в роли Наташи Ростовой из американского фильма — кренилась вперед, напрягшись вся, как струнка (кто ее знает — от впечатления или от усилий понять); славянская дама все продолжала кивать головой, без перерыва, в каком-то особом откуда-то пойманном ритме, так что, казалось, вот-вот начнет еще и прищелкивать шейными позвонками, как метрономом...

В общем, я почти огорчился, когда он, заглянув на часы и как бы спохватившись (сорок пять минут истекали), перешел к заключению.

— В притче, которую представляет собой этот роман, — начал он уже почти скороговоркой, отложив в сторону книку, где торчало еще несколько невыбранных закладок, — два средоточия. Первое — призыв к отказу от бездуховного взгляда на мир; второе — защита человеческой души, ее права чувствовать в себе Бога... Да, да, все пятьсот страниц этой книги, — торопился он, заклинающе приподняв одну руку и не без легкого тремоло в голосе (он волновался), — все пятьсот страниц являются апологией души... Души, живой своей близости к высшему, таинственному и непостижимому, но всюду разлитому, как солнечный свет, и звуки, и благоухание, и красота, и милосердие. Души, мыслимый облик которой шире ее образного выражения в романе, то есть, я бы сказал, и не отдельной чьей-либо души, но души вообще, души общечеловеческой...

На месте точки (он все-таки удивительно наловчился обращаться с минутами!) раскатился за дверью будильниковый треск звонка.

Все поднялись. Не остывшими еще от возбуждения руками он долго защелкивал замочек портфеля. Потом мы вышли.

3.

На обратном пути тоже не разговаривали — ветер остервенело выдувал из переулков туман, бил в лицо и помогал молчать. Сидело в обоих нас гнетуще-шершавое чувство неудовлетворенности, недоумения и обиды, все равно помешавшее бы непринужденно заговорить. Он, конечно, должен был переживать эту пустую аудиторию еще угнетеннее, — потух и сник, уже когда одевались, у вешалки, а теперь шел, горбясь, неловко придерживая одной рукой шляпу от ветра, а другой — замотывая на шее шарф. Только уж войдя в парадное, в лифте, я сказал:

— Лекция была превосходная. Не по-приятельски говорю, а как сторонний слушатель.

— Добавьте: единственный. Сегодня на удивление было пусто, прямо скандал...

Он почему-то говорил шопотом. Тоже и позже, когда вошли и разоблачились. На цыпочках подошел к спальной двери, прислушался:

— Моника спит... Хорошо бы, выдался спокойный вечер, без болей. Надо же нам побеседовать.

На цыпочках же принес из кухни хлеб, сыр, ветчину. Стоя налил и опрокинул в рот пухлую рюмку коньяку — видимо спешил подбодрить себя для разговора. Чем-то виновато умиротворенным и обещающим откликнулись — я заметил — эти несколько коньячных глотков в его движениях и глазах, на которые по-прежнему мне было тяжко смотреть.

— За успех! — сказал я. — Почему, между прочим, вы считаете меня единственным слушателем? А трое других?

— Не в счет. Дама, правда, из русских, все понимает, но тема вряд ли дошла. Старик в воротничке бывал когда-то в России и ходит, я думаю, для престижу. Оба мои завсегдатаи. Но из студентов не явился никто...

— А эта девица, похожая на Наташу Ростову из фильма?

— Первый раз вижу. Заскочила, вероятно, из любопыт-

ства: мол, как он звучит, этот варварский русский язык? Может, полдюжины слов и знает и рада, когда удается схватить. Здесь многие, случается, слушают, как, помните, чичиковский Петрушка читал, ради самого, так сказать, процесса: вот-де из звуков слагается слово которое чорт его знает что, иной раз знакомое что-то, и значит...

Он снова налил и выхлебнул рюмку, не в очередь. Сел, стал намазывать на кусок хлеба масло, не глядя и потому неровно, лохмотьями через край и проплешинами.

— Вообще, эти мои лекции — вроде грамофонного проигрыша, для практики уху и выговора. Что и о чем я рассказываю — вполне безразлично. Здесь полагают, что...

Я не узнал, что именно здесь полагают, — в коридоре, за спальной дверью расслабленно бормотнул колокольчик. Приятель мой замер на полуслове, приложил палец к губам, сказал «простите» и вышел.

«Спокойный вечер» не удался.

Я сидел долго, уничтожая один за другим бутерброды. Слышал шаги взад-вперед, все так же на цыпочках, по коридору, звяканье в кухне посуды, капель и бульканье открываемых кранов и шип поджигаемого газа — вероятно, готовились грелки.

Наскучив ждать, подошел к книжной полке. Раньше прочего бросился в глаза Лев Толстой — двенадцать томов в горохово-пестрой обложке с бородатым портретом. Вытянул один из них наугад.

Позволю себе здесь некоторое отступление: я люблю иной раз так вот раскрыть наудачу кого-нибудь из «великих». Обычно — в настроении некоторой внутренней, как бы сказать, полусмуты, когда возникает в тебе и тревожит какая-то еще неясная, но беспокойная мысль, либо вопрос. Почти непременно случается у меня тогда, что с открывшихся вдруг страниц (на то они и страницы «великих») приходит поддержка. Сперва самые далекие, почти неуловимые и на честном лишь слове ассоциации; на первый взгляд даже и не ассоциации вовсе. Но вот они ширятся, выводят другие, как круги на

воде, и начинает казаться, почти уверяешься, что круги эти, твои и «великих», — от того же самого камня, взволновавшего гладь, и, глядишь, почти уж и сложились у тебя и вопрос и ответ, и неясное, мутное прежде стало прозрачным...

Мне попался «Люцерн» — эпизод, как помнит читатель, из впечатлений от поездки в Швейцарию. Рассказ не из лучших толстовских, и я разочарованно пробежал несколько страниц. И вдруг дошел до разрядки:

> «Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

И вдруг зацепилось! Пошли круги...

Какая бы, казалось, была параллель между пережитым в рассказе и тем, что пережили мы оба, мой приятель и я, сегодня в аудитории? Никакой, решительно ничего общего... Речь шла не о благотворительности, милосердии или сочувствии. Приятель вовсе не стремился обогатиться — напротив, надеялся обогатить других, которые обогащаться не хотели. И тем не менее, что-то близкое было между нашей обидой и обидой Толстого; камень, замутивший наш душевный покой, был *тот же самый*...

Какой именно?

Я так над этим задумался, что не услышал шагов — как он ко мне подошел, с одеялом и постельным бельем в неуклюжей охапке, и даже заглянул через мое плечо на то, что я читаю. — Я очень надеялся, что он не успел разобрать, тем более — уловить связи, — меньше всего хотелось мне обнаружить, что меня так задела его история с лекцией.

— Вот вам для ночлега, — сказал он виновато, — кладу на диван. Простите, что не помогаю. У Моники снова боли и, боюсь, на всю ночь. Отойти невозможно... Уже придумал на завтра, как организовать, чтобы побыть нам вдвоем. Простите...

4.

Сквозь сон слышал я стоны, спал скверно и завтра решил уезжать. Было почти болезненно неловко ощутить его недоверчивость, когда объяснял ему выдуманную причину поспешности. Но он не удерживал. В двенадцать пришла к ним сиделка, и мы с ним поехали на пристань, чтобы вдоволь посидеть за завтраком в тамошнем ресторанчике. Пароход отходил около трех. Странно, что эти два неполных часа должны занять добрую четверть моего рассказа, но все продолжались неожиданности этой необычной поездки, теперь — в виде целой исповеди (увы, усталого, отнюдь не «горячего» сердца), которую немыслимо опустить. Но — по порядку!

Неожиданность первую явила погода: еще вчера, как я говорил, был туман и промозглость позднего октября; сегодня же небо словно протерли, как тряпкой витрину, — оно голубело и с него щедро сыпалось тепловатое солнце. В ресторане сидели мы за огромным стеклом, тоже зеркально протертым, до обману — словно бы его и не было, за которым сверкал и пестрел корабельно-морской пейзаж.

Думаю, однако, мы его долго не замечали, потому что уже в такси начался у нас, наконец, разговор, до которого долго не могли накануне добраться, — мемуарно-биографический, как обычно после длинной разлуки, с непременными: А как же вы?.. А где?.. А не знаете ли, что стало с Х? и тому подобное. Тянулся он около часу, и мы запивали воспоминания рыжей водкой и закусывали крохотными бутербродами, похожими когда сложены вместе, на гирлянду.

Потом разговор иссяк и, как это случается, застопорился прочно, как воз, съехавший под гору, перед новым подъемом, на который надо понукать и подхлестывать лошадей. В паузу приятель мой заказал новый графин. Покуда дожидались его, стали смотреть за стекло. За ним, масляно-зеленая на солнце, плескалась волна, блестели смолой зернисто-черные ребра буксиров и белым слепительным лаком — борта кораблей с ожерельем иллюминаторов. Вдали, в про-

галине между рядами мачт, серой линейкой лежал горизонт, крошимый острыми крыльями чаек.

— Там, за проливом, если взять немного к востоку, — наши берега... Сюда, между прочим, заходят иной раз советские корабли. А солнечный пейзаж в это время года — прямо какой-то сюрприз по случаю вашего приезда. Здесь октябрь и зимние месяцы часто без капли солнца, и эти полупотемки да еще ветер, постоянный ветер вдобавок, действуют, доложу вам, убийственно. Нервные расстройства здесь обычное дело. Это хорошо знают туземцы и стараются чаще выскакивать, хотя бы ненадолго, на юг... Увы, для меня это исключено сейчас полностью...

— Почему? Вот поправится ваша супруга, вы и трогайтесь тоже.

Он словно съежился после этого моего замечания и посерел в лице. Мне показалось — не без мученья что-то долго решал про себя... Принесли водку, он налил две рюмки и сразу же выпил свою. Потом, опять отвернувшись к окошку, сказал:

— Она не поправится. У нее рак... Месяца два-три, не больше — и все будет кончено.

И, после нового молчания и еще одной рюмки:

— Если останусь один — не выдержу здесь, вернусь восвояси...

— То есть?

— Домой! — кивнул он в сторону чаек и серой черты горизонта. — В Россию.

Паузу, возникшую за этими последними шоками, внезапными и острыми, как зуботычина, я описать не берусь. Как и последовавшего за ними монолога, начавшегося, насколько припоминаю теперь, туго и мычливо-беспомощно.

Правда, к середине его я оправился, середина вышла совсем патетической — впору передовице для зарубежного политического журнала, но... В самом разгаре патетики я стал ощущать, как всякий оратор, чуткий к своему слуша-

телю, что мои аргументы и пыл бьют мимо цели, не потому, что слабы, но потому что уже им передуманы и пережиты, и что чего-нибудь им не передуманного, нового и потому единственно убедительного я, пожалуй, и не смогу отыскать... И монолог мой увял. Чтобы быть вполне откровенным — увял еще потому, что, покуда я ораторствовал, он допил второй графин до конца, и меня начала помучивать мысль, что теперь надо будет **мне** его провожать, отвозить домой, то есть пропустить пароход. Как обычно бывает, мелкая эта мысль, именно в силу своей подлой ничтожности, вытесняла другие.

— Какое, какое удовлетворение? — спрашивал он, слегка придыхая от возбуждения, выпитой водки и, может быть, просто от отвычки так вот высказываться о себе вслух. — Работа — это значит излучать себя целиком, все, что можешь, а здесь это никому не нужно, немыслимо излучаться в пустоту. Удовлетворение! Вы имели случай вчера об этом подумать. Да, да, я ведь подглядел у вас этот отрывок из Толстого, который вас занимал. Хотите, переведу на свой случай эти строчки о музыканте, что Толстой выделил прописью? Вот:

> «Вчера в одном из трехсотлетних университетов Европы старый лектор, отнюдь не бездарный и знаток своих тем, читал лекцию об одном на весь мир нашумевшем романе, и никто, ни один из полусотни его учеников, понимающих язык, на эту лекцию не пришел». Вот какой пересказ!..

— Но почему? Чем вы объясняете?

— Равнодушие — вот самый сжатый ответ. То самое равнодушие, которое сто лет тому назад потрясло так Толстого и которое теперь нисколько не убыло, напротив — окрепло, превратилось в неизлечимую, вероятно, болезнь, в настоящее проклятие современного Запада. Здесь в этой стране, великолепно цивилизованной и с доступностью всяких благ, оно особенно заметно. Мыслящие, так сказать,

середняки, в том числе молодежь ко всяким проблемам духа поразительно безразличны. В жизненный свой путь они отбирают исключительно расхожие стремления и рецепты, которые легко сунуть в рюкзак вместе с фотоаппаратом, радиоприемником и хвостатым мячом для туристского тенниса. Интересы их удручающе вещны. От их безразличия к вам и тому чем вы дышите, несет арктическим холодом. Даже иногда и враждебностью — при всякой попытке невещных раскрытий со стороны они замыкаются и скучнеют. У них это называется «резервацией душевного проявления», что, повидимому, даже ставят себе в заслугу. «Милые мои, говорю я им мысленно но ведь если так вот, постоянно, загонять задушевное под пол, оно может и вовсе отмереть за ненадобностью. Чем тогда станете жить?» Но они боятся, боятся всякого движения чувств, как чумы. И Боже сохрани, если кто-нибудь заподозрит их, например, в романтичности! Лучше прослыть дураком... И значит — никаких взглядов на небо, кроме разве что для погоды, никакой черемухи, никаких звезд... Настоящая звездобоязнь! А ведь кто-то неплохо сказал, что человек отличается от свиньи также и тем, что может, закинуть голову, глядеть на звезды... Вы не подумайте, что я пристрастен. Лакейской привычки хаять народ, который тебя приютил, у меня нет. Люди здесь славные, немножко провинциальные, но славные. Заметили как здесь много красавиц? Вот тоже и они... Ну, да что говорить! Вы знаете, сам я безнадежный романтик, красота для меня — дар, откровение, свет с неба... всем, всем, всем. Если она лишь постельная принадлежность, мне, старому грибу, делать с ней нечего...

Белая стена, огромная, как плечо айсберга, стала накатываться на наше окно, закрыла свет и поползла мимо, плюща глухими подпольными ударами о причал тугую волну, — подавали, вероятно, мой корабль.

— Относительно «старых грибов» вы полегче, — заметил я. — Не забывайте, что мы одногодки, а я вовсе не...

— Понимаю, понимаю, — перебил он вряд ли впрочем, расслышав как следует и приняв всерьез. — Это, разумеется,

только **мое...** Это **меня** старость захватила врасплох. И, значит, горе мне! Где-то, не помните ли, у Вольтера:

Qui n'a pas l'esprit de son âge,
De son âge a tout le malheur...

Чтобы преодолеть травму, надо быть **дома,** нужна среда... Позвольте миновать всё, что говорили вы о свободе. Я не Толстой, не Гете и не Леонардо, которым она могла бы понадобиться, чтобы творить на самом позднем своем закате. Я просто старый человек, которому нужно участие, чтобы перенести старость, которму до судорог страшно одиночество. Ностальгия — это и есть прежде всего одиночество, помноженное на неродные березки. Одиночество нипочем сильному. Старость же — слабость, то есть, значит, слезы из глаз, если вам некому сказать «жажду» на родном языке, когда хочется пить... Богадельня, да еще средь чужих берегов — дьявольская издевка судьбы над тем, кто в эту судьбу свою верил и пытался заключать с нею договоры. В тысячу раз лучше — с рукой под окном и котомкой, но здесь, между прочим, нет нищих. «Бог подаст» либо даже «Проваливай» — легче, чем звонок к завтраку, когда сунут тебе под нос из милости кружку скверного кофе. Петля на шею — осмысленней и поэтичней конца, когда твой сосед и зевающие сиделки будут ждать, когда очистится койка...

Стена за нашим окном проползла мимо, и оно снова брызнуло светом и солнечным отблеском расплясавшихся волн, подбрасывающих бакены и баркасы. Руки моего приятеля тоже, я видел, прыгали, хватая на столе то рюмку то какую-то перечницу в форме дырчатой головы, — я пожалел что оба мы не курили: первейшее преимущество куренья в том, что оно помогает заполнять тяжелые паузы.

— Существует ли гармоническая старость, если она одинока? — начал он снова. — Где она? Для себя я перебрал все ее возможные варианты, как перебирают картинки в журнале мод, и не нашел ни одного вероятного. Что она? Шашки с каким-нибудь партнером-паралитиком со сва-

лившимся набок ртом? Пасьянс? Существует она, пасьянсовая гармония старости?.. Может быть, скажете: вера? Но я религиозен был только в детстве, а снова ощутить не могу. Опять же тут нет и церкви... Что еще? Размышления? Так ведь как раз только и додумаешься до веревки...

Взревел над головой пароходный гудок, мощный, как растянутый залп, распирающий вокруг воздух. Несколько секунд я не слышал, а только угадывал, глядя на шевелящиеся губы, слетающие с них горькие слова. «Дайте мне гармоническую старость», — молил он, как один из ибсеновских героев молит дать ему солнце. «Подскажите мне ее — и я готов объявить себя до конца дней космополитом и отречься от всяческого родства. Ее нет для одиночества на чужбине... Будь я писателем, как вы, я написал бы повесть, нет, лучше пьесу, в которой герой-неудачник заключает контракт с дьяволом не для того, чтобы завоевать жизнь, но чтобы ее гармонически кончить... Но — безнадежно! Все в целом называется...»

— Все в целом называется неврастенией, — перебил я сколько мог жестче; трудно было ему теперь возражать, но и молчанием как бы с ним соглашаться. Откровенно сказать, меня неудержимо потянуло вдруг на свежий воздух, к солнцу, бившему рядом в волне. Еще испытывал я, странным образом, что-то вроде стыда. Да, мне было совестно, что в отличие от него я не чувствую ни гнета лет на плечах, ни страха смерти, что у меня есть, кому сказать «жажду» на своем родном языке и что в «чужих берегах» не ощущаю я себя незванным и потерянным гостем. Но прежде всего, повторяю, мне хотелось уйти. Мысленно я уже нащупывал способы его поддержать, успокоить, уже писал ему письма со спасительными проектами и предложениями. Но сейчас — сейчас хотелось все кончить. Да и была пора...

— Я остался бы до следующего парохода, — предложил я неискренно. — Но ведь у вас, вероятно, тоже считано время. Я имею в виду вашу больную, которой желал бы самых чудесных перемен к лучшему, — поверьте, такие бывают...

— Да... нет, мне тоже нельзя, ждет сиделка. А что, уже скоро три? Ну, тогда распрощаемся. Простите что вышло все так неуютно. Не принимайте так уж очень всерьез все это мое... конечно, вы правы: я расклеился. Идемте, провожу вас до трапа...

5.

Я не дал ему проводить меня до трапа, чтобы не продлевать тягостного ощущения этой невеселой встречи и скомканного расставания. Усевшись в пустом корабельном салоне, почти с облегчением почувствовал под ногами дрожь заработавших машин, услышал последний ревок сирены, на этот раз не залповый и бьющий по нервам, а бархатисто-призывного тембра — в высокое меркнущее небо и к другим берегам. Затем, по привычке, стал приделывать к происшедшему разные мыслимые и немыслимые оптимистические продолжения и концы. Но удавалось плохо: за мнимым благополучием того, что придумывал, шуршали только что слышанные и словно застрявшие в ушах скорбные слова, всплывал безжизненный профиль с седыми висками и глаза, в которых дымилась тоска. Ощущение подавленности исчезать не хотело, и Бог еще знает, исчезло бы когда-нибудь и когда, и стал бы я все это записывать, как записываю теперь, если бы не случилось еще одного маленького эпизода, позволившего записать конец иначе, в другом несколько ключе...

Когда за окном, у которого сидел, стали проползать синевато-ажурные краны и снасти, а поближе — пляшущие на волнах бакены с уже взмигивающими блеклыми в закатном свете зрачками, — я накинул пальто и вышел на кормовую палубу.

Там было неуютно. Уныло громоздились сложенные штабелями шезлонги и стулья, холодный бортовой ветер срывал шляпу и хлопал флагом, над которым и вдоль по пенному стылому следу, каркая дискантами, толклись чайки. У огромного спасательного круга по борту, тонкая, как геометри-

ческая касательная, торчала женская фигурка в узком пальто с поднятым воротником и с забытым в руке платочком для маханья, — другая рука была все еще поднята перед глазами ладошкой в сторону уходящего берега. Кроме — только двое юнцов стиляжного вида в куцых брючках и с обильным оптическим снаряжением на шеях. Оба, заметил я, сами по себе, но, как бы сказали у нас на несколько вольном жаргоне, в стадии «пристрелки»: один уже запечатлел фигурку вместе с флагом и чайками на пленку, другой, отойдя подальше к проходу, вылавливал ее вместе с горизонтом в какую то замысловатую подзорную трубку. Я собрался было уж назад, как вдруг штрих у спасательного круга слегка обернулся, и я опознал в нем «Одрэй Хепборн» — вчерашнюю с тонкою шейкой девицу с лекции моего приятеля. Когда она обернулась, мальцы с разных концов палубы разом сделали в ее сторону шаг. Я их опередил...

— Ведь это вас я видел вчера в университете? — спросил я.

У нее оборонительно-недоуменно взмыл к плечу подбородок, но тотчас же и успокоился.

—Д-да. Ах, да, я вас помню...

Потом в темных разглядывающих меня глазах, удивительного раствора которых я вчера как следует не заметил, мелькнул вопрос, который она, чуть помешкав, и выговорила:

— Значит, вы тоже понимаете этот язык?

— Я русский.

— О!!

Оба паренька, должно быть туземцы, услышав чужую речь (мы разговаривали по-немецки), застыли на минуту с изумленно-обиженными мордами телков, у которых вдруг отняли молочное пойло, опустили на животы свои оптические снаряды и отошли, перешептываясь в сторонку.

— Я ведь почти ваша землячка... Наполовину, с маминой стороны... — начала она вдруг по-русски, и теперь была моя очередь сказать потрясенно:

— О!!

Мы стояли друг против друга и улыбались, и — я прошу простить мне заигранный литературный вираж (как от него отказаться, если он подлинный) — палуба перестала казаться мне неуютной, ветер будто притих, и чайки теперь уже вовсе не каркали, а, вырезая в воздухе свои параболы и круги, постанывали и вскрикивали, как постанывают и вскрикивают в плясовом экстазе закружившиеся танцорки... Но, может быть, всё переменилось и оттого, что вырвалось из-под черничного цвета тучи прищемленное к горизонту солнце и выстелило через пролив шафранно-аметистовую дорогу, и мы параллельно ей плыли, и она переливалась рядом с нами в металлических оправах иллюминаторов, и, хоть эта дорога тоже изъезжена всеми описателями морского пейзажа, — мы ее переживали, а что, в конце концов, выше: новизна литературного приема или переживание!

— Лекция мне очень понравилась, была интересная, не правда ли? И я совсем, совсем случайно на нее попала. Приезжала только на два дня, но, знаете, всегда, где только можно хожу на такие лекции, чтобы не позабыть русского языка и потому что очень много читаю русской литературы... Вы знаете, мама всегда говорит...

Продолжали мы уже в салоне, где я усадил ее в кресло, слишком большое для нее, так что она сперва затруднялась, куда девать ноги и, наконец, подвернула их под себя. Я заказал кофе с какими-то венскими плюшками, и она, вытягивая шейку, как давеча в аудитории, отхлебывала его из чашки и рассказывала о себе. Я узнал, что была она из того позднейшего и смешанного поколения эмиграции, которое чаще теперь полностью ассимилируется и входит в западный быт, но среди которого (к худу для них или к добру, не знаю) встречаются все же такие вот энтузиасты неведомой родины и всего русского, известного лишь по наслышке и зароненного в душу, может быть, лишь одной колыбельной песней. Впрочем, она не только рассказывала, но и слушала очень хорошо. Ей, видимо, нравилось сидеть здесь, в этом салоне и болтать с почтенных лет дядей по-русски не только о житейских, но и о высоких литературных делах — она в самом деле мно-

го читала и высказала несколько суждений, на удивление верных и неожиданных.

Что до меня — я чувствовал себя, как солдат на привале после мучительного перехода, когда можно сбросить с себя скатку и снаряжение и растянуться на травянистой обочине. Помнится, я избегал зеркала наискосок, чтобы не увидеть довольного сияния (со стороны глядеть — всегда наивного, если не приглуповатого), которое угадывал на своем лице. Где-то еще ворочались и поскрипывали трудные и непреодоленные мысли; ощущение виноватости в чем-то, за что-то слишком уж, по контрасту, благополучное, мое, не оставляло, но и виноватость постепенно сходила на-нет, и словно вползала в нее сейчас какая-то (не мог установить, какая именно) освежающая поправка...

— Знаете: мне очень хотелось подойти к нему вчера, после лекции. Спросить кой о чем. Но он был какой-то такой... Задумчивый очень. Я постеснялась...

— Жаль...

— Что — жаль?

— Жалко, что не подошли.

— Почему?

Много нашлось бы ответить на это «почему?», но я не решился. «Ну, ему это было бы, верно, приятно», — сказал я, а полностью договорил уже про себя: как бессмысленна, даже пагубна, думал я, мрачная предвзятость, одолевающая иной раз человека и мешающая чувствовать жизнь. Ведь вот, например, он сам себя обокрал, мой приятель, не полюбопытствовав, поняла ли его эта неизвестно откуда заскочившая к нему в аудиторию девочка, жадная к русскому слову, годившаяся нам обоим почти во внучки, но с которой я сейчас так охотно болтаю в пароходном салоне, радуясь, что остается еще по крайней мере два с половиной часа до причала. На его месте, казалось, я бы ей одной читал свои лекции и не променял бы этих огромных так восторженно слушающих глаз на десяток скамеек, набитых гляделками. Впрочем, конечно, я не педагог...

— Смотрите, как чайка качается! — распрямляется она вдруг в кресле, вытягивая шею к окну. — Как челночек!

Не знаю, напоминала ли чайка челночек, но была какая-то удовлетворенно-счастливая деловитость в том, как она опустилась на воду, явно ощущая себя частью этой стихии, вымахнувшей до горизонта, как радиусом, серым гребнем волны, — стихии, которая без нее, ничтожной и крохотной чайки, была бы неполна и немыслима.

И я послушно глядел на качающуюся чайку, на свинцовеющее небо, на аметистовую дорогу, в конце которой садилось солнце и которая вот-вот должна была потухнуть или пропасть из глаз, — мы плыли теперь под едва заметным углом от нее в сторону...

Л. Ржевский

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Я вспомнил — и в то мгновение
Я сам был тому не рад —
Что это стихотворение
Я начал лет сто назад.

В парижском кафе, за столиком,
Меж рюмок, локтей и ног.
Писал я и думал: стоит-ли?
И всё дописать не мог.

О чем оно было, жалкое,
Запачканное вином?
Конечно, всё только жалобы
И все они об одном.

О том, что мне смерть обещана,
Что в мире нехорошо,
Что вот изменила женщина
С накрашенною душой.

На те-же стихи с досадою
Сегодня смотрю опять.
Сумею-ли я и надо-ли
Их всё-таки дописать?

Но если я даже сызнова
От них сгоряча уйду —
Листок мой, вином забрызганный,
Когда-нибудь вновь найду.

И снова, через столетия,
За тот-же возьмусь рассказ...
О, горькие междометия —
Когда я срифмую вас?

2

И всё-таки ответа нет,
Неповторимого, такого,
Что навсегда оставит след
В душе открытой для иного.

Есть только знаки, имена,
Предположенья и догадки —
Попытки сердца и ума,
Игра в мучительные прятки.

Когда-ж я наконец дойду,
Но по тропинкам, не по схемам?
О, что бы дал я за звезду
Над задремавшим Вифлеемом!

За воду, что вином цвела,
За след гвоздя в Его ладони,
За ту пушинку из крыла,
Что ангел, пролетев, обронит!

Ведь я всего лишь человек,
Привыкший видеть, слушать, трогать!
Как уместить в мой жалкий век
Мою далекую дорогу?

А если ею не дойти
И все давно иссякли сроки —
Зачем-же ты меня — прости! —
Благословил на путь высокий?

Меня, прохожего, на путь,
Которого страшнее нету!
...Пора упасть... Пора заснуть...
Спасибо, что, велев мне: будь! —
Оставил право хоть на это!

3

Как поутру заря роняет
Лучи во всякий спящий дом
И словно-бы и не меняет,
Но всё преображает в нем —

Так мне знакомо приближенье
Чего-то, что светлей меня:
Крыла какого-то паренье,
Лучи какого-то огня.

И остается мне всего лишь
Принять, поняв его едва,
Прозрачный отблеск чьей-то воли,
Упавший на мои слова.

1961 *Д. Кленовский*

СВ. ИОАНН КРЕСТА*

Иноки обители св. Анны принадлежали к Братству Обутых, соблюдавших новый, «смягченный» устав. «Но Жуан и среди них жил по древнему уставу Кармеля, с крайней суровостью», вспоминают свидетели. Так начал он один, за свой собственный страх, великое дело Реформы. Главной целью его уже и тогда было совершенное от всего «обнажение», потому что вершины Кармеля может достигнуть только «от всего обнаженный, ничего не желающий». Чувствуя, может быть, что Обутые смотрят на него косо за одинокое усилие его к совершенству, он решил, кажется, уже в эти дни, перейти в Картезианское Братство, с уставом более строгим, чем у Обутых Кармеля.

В 1564 году, когда миновал первый год послушничества его, старшие в Братстве отправили его в Саламанкский университет. Если верить Апостолической Тяжбе, должно быть, только общему месту житий, поспешили они сделать это потому, что «угадывали в нем будущую славу Кармеля». Но, может быть, на самом деле уже и тогда, как столько раз потом, Обутые, от совершенства отказавшиеся, хотели избавиться от того, кто в подвиге совершенного монашества был для них только бельмом на глазу.

В эти дни, Саламанкский университет своим влиянием на весь христианский мир затмил двух великих соперников своих — университеты Болонский и Парижский. Более пяти тысяч студентов собралось в него со всех концов не только Испании, но и всей Европы. В поисках новых путей вернулся он от мертвой схоластики к живым источникам веры — Св. Писанию, Отцам Церкви и к тому, кого Тридентский Собор ста-

---

* См. кн. 64 «Н. Ж.»

вил наравне с Писанием, — Ангельскому Учителю, *Doctor Angelicus*, св. Фоме Аквинскому.

Брат Жуан де Санта Матиа, по прибытии в Саламанку, поступил в кармелитскую высшую школу св. Андрея, входившую в состав университета, как один из его факультетов.

Два течения, старое и новое боролись в университете. Сказывались эти два течения всего нагляднее в борьбе двух языков — церковного, латинского, и народного, испанского, или точнее, кастильского, наиболее тогда совершенного из всех испанских наречий. Старые профессора, особенно теологи, стояли за латинский язык, а молодые, так же, как огромное большинство студентов, — за кастильский. Струны студенческих гитар пели в ночных серенадах любовно-пастушеские песни двух тогдашних поэтов Боскана и Гарчилазо. Новая, на древнее рабство в Церкви восстающая свобода славилась в этих, как будто еще невинных, а на самом деле, уже опасных для Церкви, потому что мятежных, песнях.

С кем был в этой борьбе двух языков молодой баккалавр, Жуан де Санта Матиа? Судя по тому, что все его книги будут написаны не на мертвом, латинском, а на живом испанском языке, он вероятно, сделал выбор его уже тогда, в студенческие годы. Если св. Иоанн Креста будет одним из величайших поэтов Испании, то этим он обязан только Богу и себе; но языком, орудием поэзии, обязан он, уже в те годы, сделанному выбору.

Та же борьба двух течений, старого и нового, происходила и в ученом споре между теологами-схоластиками и более свободными исследователями Св. Писания. Судя опять по тому, что книги св. Иоанна Креста будут написаны в духе свободного исследования, он был уже и тогда, в Саламанкском университете, защитником новой свободы против старого гнета церковной схоластики. «Я буду пользоваться для выражения мыслей моих богословием Школы (Схоластической)», скажет он в начале одной из наиболее свободных книг своих, «Песни Духа», *Cántico Espiritual*. Но схоластика будет для него только старой формой, ледяным хрустальным

сосудом, в который вольет он огненное вино нового религиозного опыта.

Инок Августинского Братства, великий богослов, поэт, музыкант и астроном, Луис де Лэон, был одним из лучших и наиболее студентами любимых профессоров Саламанкского университета. Обвиненный Св. Инквизицией за перевод Песни Песней на испанский язык и, кажется, причисленный к еретикам, Иллюминатам, *los Alumbrados,* — так назывались тогда в Испании тайные ученики Лютера и Кальвина, — он заточен был на пять лет в тюрьму, а когда, выпущенный из нее, вернулся в университет, то встречен был учениками с еще большей любовью.

Тысячная толпа студентов собралась в огромной аудитории, где в первый раз, после пятилетнего отсутствия, вошел снова на кафедру Луис де Лэон. Видно было по изможденному лицу его, чего ему стоили эти пять лет заточения. Но когда в наступившей вдруг тишине, такой, что слышно было бы, как муха пролетела, начал он говорить, продолжая речь с того самого места, на котором остановился пять лет назад, то в голосе и в лице его было такое спокойствие, как будто этих страшных пяти лет для него не было вовсе. Новый дух мирской свободы одержал в эту минуту такую победу над старым духом церковного рабства, что кости Торквемады, Великого Инквизитора, должны были бы перевернуться в гробу. Если в благоговейной толпе учеников Луиса де Лэон был и Жуан де Санто Матиа, то, может быть почувствовал он это веяние Духа и лучше понял, чем кто-либо, что значит: «где Дух Господень, там свобода».

После того, как в 1558 году вышла первым изданием на латинском языке книга Кальвина, «Установление христианства», *Institutio Christianismi,* меньше говорили в Саламанкском университете о св. Фоме Аквинском, чем о Кальвине. Много, должно быть, слышал о нем и Жуан де Санта Матиа и, может быть, чувствовал, как страшная мысль Кальвина: «должное получает Бог только тогда, когда человек совсем

уничтожен», — приближается, хотя и обратной близостью, к собственному религиозному опыту его: **Всё** и **Ничто.**

За три студенческих года, от 1564 до 1567, продолжая начатое в иезуитской школе Медины дель Кампо, Жуан изучал латинскую словесность, логику, физику, этику по Аристотелю и высшую теологию по св. Фоме Аквинскому. Но так же, как некогда, на Мединской ярмарке, в том, что люди называют «жизнью», он и теперь, в Саламанкском университете, в том, что люди называют «знанием», уже предчувствовал, что человеческое мнимое Всё есть действительное Ничто, и уже подходил к тому последнему выводу из всего человеческого знания, который сделает в «преисподнем опыте» своем:

я самого себя не знаю,
я мое бежит от меня,
и пустота во мне бесконечная;
а всё же, в незнании моем,
я выше всякого знания.

Может быть, уже и тогда приближался он к великому открытию своему — вечному в мире взаимодействию двух премирных начал — Ничего и Всего, как бы двойному шествию Ангелов, нисходящих и восходящих по лестнице Иакова.

В 1567 году произошло событие, решившее судьбу Жуана, — встреча его с Терезой Иисуса. Кажется, оба они сразу не поняли, какое значение будет иметь эта встреча не только для них самих, но и для всего великого дела Реформы, а когда поняли, то не могли не увидеть, что встреча их есть чудо Божьего Промысла.

«Не добро быть человеку одному», — это, вероятно, чувствовал Жуан, в иные минуты жизни своей, как никто. Не было, может быть, человека более одинокого, чем он, «Мужество у него великое, но он **всегда один**», скажет о Жуане Тереза. Глубже колодца мединского был для него черный колодец одиночества; чудом Божьим спасся он из того и из этого — таким же чудом — встречей с Терезой.

После этой встречи он и начнет великое дело всей жиз-

ни своей, Реформу, — ему самому еще невидимый, но уже действительный путь от настоящей Римской Церкви к будущей Церкви Вселенской.

18

Тотчас после свидания с Терезой, Жуан вернулся в Саламанку, кончил университет, принял в мединской обители св. Анны рукоположение в священники и отправился в глухое местечко Дуруэло близ г. Авилы, у подножия Сиерры де Гредос, где только-что Тереза основала первую мужскую обитель Нового Кармеля.

Тихие, светлые луга, тихие, темные рощи, воздушно-синеющая вдали и почти всегда убеленная снегами, горная цепь Сиерры, — всё в Дуруэло напоминало Жуану родной Фонтиверос. Но вместо тамошних болотных лагун, здесь было множество чистых, как слеза, и холодных, как лед, родников, наполнявших воздух и в самые знойные дни райской свежестью.

Радоваться будем, Возлюбленный,
Будем глядеться в твою красоту
На пустынных горах и холмах,
Там, где бьют родники;
В чащу леса войдем.

В этих стихах «Песни Духа» Жуан вспоминает Дуруэло, как в «Темной Ночи» и в «Живом Пламени Любви»; «...мудрости тайновидящей свойственно скрывать душу в себе... Мудрость эта погружает ее в неисповедимую бездну, где чувствует себя душа такой от всей твари далекой, как только возможно... Это уединение кажется ей безграничной пустыней, тем более блаженной, чем она... безграничнее, и чувствует себя в ней душа тем более скрытой, чем выше возносится надо всей тварью». Только там, в пустыне, «душа вкушает свободу в святом неделании сынов Божьих (Ангелов), потому что сам Бог зовет ее туда».

В тихие звездные ночи, когда Млечный Путь мерцал над снежною горною цепью Сиерры, может быть, вспоминал Жуан

Пифагорейскую музыку сфер: «каждая тварь возвещает Бога в себе... и это кажется высшей гармонией».

Ночь успокоенная...
Безмолвная музыка,
Пустыня, полная гармонии.

«Новым Вифлеемом был Дуруэло», скажет Тереза, но вернее было бы назвать его «вторым из двух новых Вифлеемов», потому что первым была Ривотортская убогая «хижина» св. Франциска Ассизского. Здесь, в Дуруэло, так же, как там, в Ривоторто, христианство возвращалось, или хотело возвратиться, к исходной точке своей, к рождению Бога Младенца в яслях, в совершенной нищете и наготе.

Ужас внушило сначала Терезе самоумерщвление дуруэльских подвижников. «Диавол, может быть, искушает их чрезмерностью подвигов», думала она, но пристальней вглядевшись в них, поняла: «радость их так велика, что и самое трудное для них делается легким». «Иго Мое благо и бремя легко», — это чувствовал Жуан, как никто; но какого труда стоила ему эта легкость, видно по таким свидетельствам: однажды брат Жуан Креста, *Juan de la Cruz* — (именем этим начал он называть себя в Дуруэло, может быть в знак того, что здесь только вступил по-настоящему на Путь Крестный), — брат Жуан Креста, больной, усталый и голодный, попросил у игумена благословения поужинать раньше общей для иноков трапезы. Но когда поужинал, то вдруг овладело им такое раскаяние, как будто совершил он смертный грех и, войдя в трапезную, где ужинала братия, он упал на колени, на кучу принесенных им острых камней и начал ударять себя по обнаженной спине и плечам толстой, с узлами, веревкой, с такою силою, что на рубцах от ударов выступила кровь, и на пол натекла большая лужа крови.

— Братья мои, — говорил он, — я совершил великий грех чревоугодия и уже недостоин святого общения с вами. Молитесь же, чтобы Господь простил меня и помиловал!!

В ужасе, молча, смотрели иноки на это самоистязание, пока наконец, игумен не велел ему, именем святого послу-

шания, прекратить эту лютую казнь, пойти к себе в келью и помолиться, чтобы Господь простил им грехи бесконечно-бóльшие, чем тот, в котором он каялся.

Что это, — жалкое монашеское безумие, или в самом деле то, чему ужасалась Тереза, — «искушение диавола чрезмерностью подвига?» Нет, что-то совсем другое, и чтобы это понять, надо глубже вдуматься в сделанный Жуаном «преисподний опыт» зла. «Всё равно, толстою или тонкою ниткою привязана птица за лапку, — она не может летать, пока не освободится от нитки: точно так же всё равно, великим ли грехом или малым связана душа, — она не может возноситься к Богу, пока от греха не избавится». Это значит: нет зла великого и малого, а есть только добро или зло, и вечная мера их определяется не количеством, а качеством.

То же, что сделает Лейбниц в математике открытием дифференциального исчисления, сделал и св. Иоанн Креста в религии открытием бесконечно-великого значения бесконечно-малых величин добра и зла. Страшное дуруэльское самоистязание его, как будто из-за пустяка, есть на самом деле открытое им и осуществленное в религиозном опыте, «дифференциальное исчисление» зла и добра.

Следующие семь лет жизни Жуана, от 1570 года до 1577, не освещены почти ни одним историческим свидетельством. Почему переселился он, в 1570 году, из Дуруэло во вторую мужскую обитель Нового Кармеля, основанную Терезой в Манчера, а затем — в третью обитель в Пастране? Почему, в 1571 году, уходя из пустыни к людям, он делается ректором кармелитской школы в г. Алкала? На эти вопросы нет ответа в исторических свидетельствах.

В 1572 году Тереза вызвала Жуана в обитель Благовещения в г. Авиле, где поселился он в убогой хижине, на окраине больших монастырских садов, и сделался духовником обители. Как жил он здесь, в течение пяти лет, остается тоже неизвестным, может быть потому, что из внешнего мира ушел он во внутренний. Только по его книгам можно отчасти судить о том, что он пережил и сделал за эти годы: восходил на

вершину Кармеля, к высшей, доступной людям, точке религиозного опыта — к Богосупружеству, Тэогамии.

19

С 1570 года начавшееся гонение Обутых на Босоногих особенно усилилось, когда Иоанн Креста соединился с Терезой. Думая, что без него не могла бы она сделать ничего, решили они обезглавить Реформу, заточив его в вечную тюрьму.

В 1577 году, в ночь на 4 декабря, Обутые с ратными людьми, посланными, должно быть, Авильским кореджидором, окружили тот деревянный домик в саду Благовещенской обители, где жил брат Жуан с братом Германом, ворвались в их кельи, схватили обоих братьев «как злодеев», отвели в свою обитель тут же, в г. Авиле, и жестоко избили. В домике сделали обыск и унесли найденные бумаги. К счастью, брат Жуан успел часть их уничтожить, а опаснейшие даже съел, чтобы от них и следа не осталось. Судя поэтому, враги могли возвести на него такие обвинения, в которых было бы ему не легко оправдаться.

В ту же ночь отвезли его в Толедо, в тамошний монастырь Обутых, и посадили в тюремную келью, тесный и темный чулан, с маленьким под самым потолком, решетчатым оконцем, подобие гроба, где суждено ему было пробыть около девяти месяцев.

Каждую пятницу водили его в трапезную. Сидя на полу, он ел только хлеб и пил воду, а по окончании трапезы, иноки, подходя к нему, по очереди ударяли его бичем по обнаженной спине. Били так жестоко, что вся спина его была в ранах и когда надевал он рясу, она прилипала к окровавленному телу. В пище, которую ему приносили в тюрьму, был такой странный вкус, что она казалась ему отравленной, и он со дня на день ждал смерти.

Часто и подолгу начальники Братства убеждали его вернуться от Босоногих к Обутым, соблазняя обещаниями сделать игуменом в какой-угодно, избранной им, обители; уве-

ряли, что Реформа осуждена Церковью и что продолжая упорствовать, он будет повинен в смертном грехе непослушания и бунта против Церкви.

— Я не отрекусь от Братства Босоногих, если бы это мне и жизни стоило! — отвечал он на все убеждения и «в этом был тверд, словно камень», вспоминает свидетель.

Наступило невыносимо-жаркое кастильское лето. Тесная тюремная келья Жуана сделалась «чистилищем смрада и зноя». К довершению всего, он заболел кровавым поносом. Но все его телесные муки были ничто по сравнению с душевными. Иногда, нарочно открывая дверь его тюремной кельи и говоря в соседнем покое так громко, чтобы он мог слышать, иноки поздравляли друг друга с радостной вестью, что дни Реформы сочтены, потому что христианнейший король Филипп II соединился со Св. Престолом, чтобы ее уничтожить. Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда слушая эти беседы, чувствовал себя Иоанн таким же еретиком и мятежником, как Лютер и Кальвин, и тогда находил на него ужас вечной погибели.

«Страшное делает Бог с теми, кто любит Его, но жаловаться им нельзя, потому что и с Единородным Сыном своим Он сделал страшное», скажет св. Тереза Иисуса; то же мог бы сказать и св. Иоанн Креста в своем Толедском аду.

«Он мне говорил, что не было ему в тюрьме никакого утешения от Бога; всё страдало — и душа и тело одинаково», вспоминает одна из духовных дочерей Иоанна Креста. «Многими годами заточения не мог бы я заплатить и за одну из тех милостей, которые Господь даровал мне в тюрьме», вспоминает он сам. Эти два воспоминания, как будто противоречивые, на самом деле согласны: не «утешения» были для него милостью Божьей, а безутешность, та Темная Ночь «преисподнего опыта», которая была ему необходима для восхождения на вершину Кармеля.

О, как я знаю этот Родник,
В темной ночи от уст моих убегающий!

в этих стихах вспоминает он о Толедской тюрьме так же, как и в этих:

Куда Ты скрылся, Возлюбленный,
Покинув меня, безутешного?

20

Очень важной для него была перемена тюремщиков. Первый из них, человек суровый, никуда не выпускал его из тюрьмы; милостивее был второй: когда иноки отдыхали в полуденный зной, он позволял ему выходить в соседнюю большую горницу, чтобы подышать чистым воздухом; но как только слышал, что спавшие проснулись, просил его вернуться в тюрьму, и Жуан покорно шел в нее, но, проходя мимо тюремщика, ласково брал его за руку и смотрел ему прямо в глаза с той обаятельной улыбкой, которой немногие могли противиться, и так горячо благодарил, что слезы у того навертывались на глазах. «Раньше я его никогда не знал, но, видя духовную силу его в страданиях, я понял, что он — святой», вспоминает тюремщик, брат Жуан де Санта Мария.

Сначала позволял он узнику ходить только в соседней с тюремной кельей, большой горнице, а потом и во всех остальных, где он только хотел. Каждый раз, как тюремщик оставлял его одного, он потихоньку вывинчивал гвозди из петель наружного на тюремной двери замка, но не вынимал их совсем, а оставлял ослабевшими в петлях, так, чтобы нажав на дверь изнутри, легко было открыть ее, даже когда замок был заперт. Делал он это так искусно, что ничего нельзя было заметить, а если и можно, то должно быть тюремщик не хотел замечать, потому что был сообщником в мыслях его о побеге.

Чтобы читать молитвенник и есть скудную пищу при свете, он дал ему лампаду, а также иглу и ниток, чтобы чинить одежду. Может быть, эти три вещи — лампада с железной ручкой ввиде крюка, игла и нитки — внушили узнику первую мысль о побеге.

Как-то раз, зайдя в одну из галлерей, он увидел окно, выходившее на пустынный берег быстрой и бурной, как гор-

ный поток, реки Таго, протекавшей внизу, под самыми стенами обители. Круча под окном была такая, что когда он заглянул в нее, то голова у него закружилась. Но он всё-таки выбрал это окно для побега, потому что лучшего места не было; выбрал и ночь. Накануне вырезал из одеял, простынь и одежды длинные, узкие полосы, накрепко сшил их концами, скрутил на подобие веревки, сделал петлю и прицепил к ней железный лампадный крючок.

Всё уже было готово, когда неожиданно приехал в обитель провинциальный викарий Кастильского Братства Обутых, о. Джеронимо Тостадо, с несколькими братиями. В кельях не было места для всех и койки для двух братьев поставили в большой горнице у самых дверей тюрьмы.

Что было делать Жуану? Откладывать побег слишком опасно: стоило только зайти кому-нибудь в тюремную келью его, чтобы увидеть приготовления к побегу; а если не откладывать, то как пройти между койками так, чтобы не разбудить спящих? После долгих колебаний, он всё-таки решил бежать.

Ночью, подождав, чтобы братья заснули, приоткрыл дверь. Сделал это очень осторожно, но едва державшийся на отвинченных петлях замок упал с таким шумом, что спавшие проснулись, вскочили и крикнули:

— Кто идет?

Жуан, не отвечая, замер, и одолеваемые первым крепким сном братья, опять повалившись на койки, глубоко заснули. Он прошел между ними, как дух. Но, еще не доходя до двери в соседний покой, вдруг вспомнил, что она всегда запиралась на ночь. Если и теперь была заперта, то всё пропало, побег не удался. Но, подойдя к двери, увидел, что она открыта настежь. Ночь была такая душная, что иноки, ложась, решили оставить дверь открытой для свежего воздуха. Это ободрило его, как знак того, что чья-то неусыпная забота ведет его и спасает.

Ощупью пройдя в темноте несколько покоев и галлерей, он увидел в последней тускло-синевший на звездном небе четырехугольник выбранного им для побега окна. Подойдя к не-

му, зацепил железный крюк лампады за деревянную перекладину на кирпичном подоконнике, спустил веревку, перекрестился, вылез из окна и крепко, обеими руками, ухватившись за веревку, начал спускаться по ней. Страшно шумели внизу бурные волны реки; страшно скрипела наверху гнувшаяся, должно быть, перекладина; страшно качалась веревка. Ниже, все ниже спускался. Вдруг почувствовал, что веревка почти кончилась; глянул вниз и увидел, что до земли еще далеко — сажени две. Что делать? Отпустить веревку, упасть и, может быть, разбиться на смерть, или опять лезть наверх, чтобы вернуться в тюрьму, где его замучают, наверное, тоже до смерти? «Нет, подумал, — лучше всё, чем это!» Отпустил веревку, упал на кучу камней и лишился чувств, а когда очнулся, то увидел, что лежит на такой круче, что если бы чуть-чуть подальше упал, то слетел бы прямо в омут реки.

Встать хотел, но не мог: такая боль была во всем теле. Кое-как пополз на четвереньках по узкой между рекой и стеной монастыря обходной тропинке. Увидев на куче мусора и кухонных отбросов, глодавшую кость, собаку. Бросил камнем в нее, чтобы узнать по тому, куда она убежит, где и ему можно было бы пройти. К низенькой стенке убежала она и перескочила через нее. Преодолевая боль, он встал и подошел к стенке, но был так слаб, что не мог перелезть. Сделав несколько шагов, увидел в стенке дыру и пролез в нее на какой-то большой двор, над которым в звездном небе чернели купола бывшей арабской мечети, нынешней церкви. Не знал, куда идти; лег на землю и опять лишился чувств.

Что было потом, хорошенько не помнил. Полз, шел, падал, вставал и опять шел, — всё это, как в бесконечном и страшном сне.

Начало уже светать, и слышался благовест *Ave Maria,* когда вышел на какую-то пустынную площадь, где старая женщина, должно быть торговка, открывала ставни на окнах лавки. Подойдя к ней, спросил, как пройти в женскую обитель Нового Кармеля. Глядя на него с испугом, как на выходца с того света, она указала ему путь. Он пошел еле

двигая ногами и на каждом шагу боясь упасть и уже не встать. К счастью, обитель была только в нескольких шагах. Подойдя к двери, постучался. Мать привратница, Елеонора де Джезу, духовная дочь его, открыла и, не узнав его, взглянула с таким же испугом, как давешняя женщина на площади.

— Дочь моя, — проговорил он, и, узнав его по голосу, вся она задрожала от радости, — это я, брат Жуан Креста. Я только что бежал из тюрьмы Обутых. Ступайте скорее к матери игуменье, скажите ей, что я здесь и попросите ее спрятать меня хорошенько, потому что братья Обутые, если найдут меня, растерзают на части.

Мать Елеонора, впустив его и заперев дверь на все замки, побежала за игуменьей. Брата Жуана отвели в надежный тайник и спрятали так, что когда часа через два погнавшиеся за ним Обутые ворвались в обитель, то сколько ни искали, не могли его найти.

«Вижу теперь воистину, что Господь послал Ангела своего и избавил меня», мог бы сказать Иоанн Креста, как освобожденный из Иродовой темницы апостол Петр.

«Брат, Жуан говорил об этом так, что можно было понять, что освобождение его было чудом, хотя в смирении своем он и не говорил... что Матерь Божия помогла ему в этом случае или в других подобных, потому что в таких свидетельствах он был очень сдержан», вспоминает о. Жуан Евангелиста, один из ближайших учеников Иоанна Креста. «Сдержан» был, может быть, потому, что предчувствовал, как глубоко-кощунственно люди исказят то, чего он не хотел называть «чудом». Но сколько бы он ни скрывал от людей, боясь их кощунства, — нет никакого сомнения, что в жизни его были три чуда: спасение из мединского колодца, встреча с Терезой и освобождение из толедской тюрьмы. Все эти три чуда вёли его на вершину Кармеля, туда, где горит Звезда Путеводная, всех упавших в колодец Спасительница, всех одиноких изгнанников Спутница и всех заточенных в темницу Освободительница, Пресвятая Дева Матерь Божия.

21

Отдохнув от тюрьмы и побега, брат Жуан отправился в маленькую, глухую обитель Кальварио у подножья Сиерры Морена, куда назначен был игуменом. В диком ущельи на севере Андалузии, у истоков Гвадалквивира, ослепительно-белые на темно-синем небе, горные снега, исполинские глыбы красного мрамора, темные кущи столетних дубов, гулу далекого прибоя подобный, протяжный гул сосен, шум водопадов, клекот орлов, — всё внушало здесь то святое чувство уединения, которое так любил Иоанн Креста: «чем пустыня безграничнее... тем она блаженнее».

Около шести месяцев прожил он въ Кальварио. Если верить одному из ближайших учеников его, о. Андрэа де ла Энкарначионе, «здесь взял он перо в руки» и начал писать, или точнее, записывать беседы свои с учениками. Записи эти, может быть, вошли в «Песню Духа» и в «Восхождение на гору Кармель» так же, как в начатую еще в толедской тюрьме и конченную здесь же, в Кальварио, «Темную Ночь».

Иногда посещал он женскую обитель Нового Кармеля в соседнем местечке Бэасе, а в 1579 году, покинув навсегда Кальварио, переселился в г. Баэцу, где преподавал теологию в тамошней недавно основанной школе.

В 1582 году, умерла Тереза. Как пережил Иоанн Креста смерть этого единственно близкого ему человека, об этом никакого воспоминания не уцелело, что лучше всего дает меру нашего общего незнания об этих годах жизни его. Десять лет, от 1578 года до 1588, от Кальварио до Сеговии, — такой же темный, никакими историческими свидетельствами не освещенный, провал в жизни Иоанна, как и те семь лет, от 1560 года до 1577, от Саламанки до свидания с Терезой. Может быть, причина этого та же и теперь, как тогда: внешний мир для него поглощается внутренним так, что того уже почти не видно из-за этого.

В 1582 году, отправляется он из Баэцы в Гренаду, в тамошнюю обитель Св. Мучеников, *Los Màrtires*, куда назначен тоже игуменом.

Бóльшей противоположности, чем святая пустыня Кальварио и город Гренада, весь грехом пламенеющий, как огненно-красный цветок того же имени, — нельзя себе и представить. Восемь веков владычества мавров оставили такой неизгладимый следъ на Гренаде, что злая и глупая прихоть христианнейшего короля Филиппа II — лютое гонение на мавров — не могла его стереть. Древние мечети опустели или превращены были в христианские церкви; славу единому богу Аллаху не пели муэдзины с высоты минаретов, но Гренада оставалась всё еще тем, чем была, — священным городом Ислама. Всё еще, в лунные ночи, в садах запустевшей Альгамбры так же сладко, как в дни Шехерезады, пели соловьи, журчали фонтаны, благоухали розы; так же в куполах беседок и теремов свешивалось белыми сталактитами тончайшее алебастровое кружево, и так же мерцали в лунном свéте, на изразцовых стенах, золотые надписи Корана.

Кажется здесь, в Гренаде, Иоанн Креста впервые почувствовал влияние Востока. В книге арабского теолога Магомета Альгазея, «Пещера Лампад» — тот же смысл, как в учении Корана: «Бог Единый, Аллах, Свет небесный и земной, подобен свету лампад в пещере». Судя по тому, что и в книге Иоанна Креста, «Живое Пламя Любви», *Flama de amor viva,* повторяется символ «Пещера Лампад», он, вероятно, читал книгу Магомета Альгазея, а, может быть, и книги других арабских теологов. Если так, то возможное влияние Плотина и несомненное влияние св. Дионисия Ареопагита сливаются у св. Иоанна Креста уже не в католическом, римском, а во вселенском христианстве.

Кажется, не случайно именно здесь, в Гренаде, начал он писать «Живое Пламя Любви», ту из книг своих, которая ближе всех к высшей, доступной людям ступени религиозного опыта — Богосупружеству.

В 1588 году, Иоанн Креста отправляется в Сеговию, в тамошнюю обитель Нового Кармеля. Почему покинул он Гренаду и как жил в Сеговии, опять неизвестно. Только два воспоминания уцелели об этом. Вот первое: «жизнь его в Сеговии

была такою небесною, что казалось, он уже не в теле». А вот и второе: «Ночи свои разделял он между часами, проведенными в кельи и у окна часовни». Может быть, он смотрел из него на бесконечную сеговийскую равнину, белевшую от лунного света, как от снега, и слушал издали пение любовных серенад. «Часто брат Жуан Креста вдохновляем был услышанными на улицах любовными песнями», вспоминает другой свидетель.

Может быть, в ту же сеговийскую ночь, слышались две песни: под балконом донны Анны песнь земной любви пел грешный дон Жуан Тенорио, а перед иконой Божьей Матери песнь любви небесной — св. Жуан Креста. И две эти песни, святая и грешная, были почти неотличимы одна от другой.

22

Часто уходил брат Жуан из сеговийской обители в соседние горы, где находилась пещера, откуда видны были только пустынная равнина, снеговые горы и небо. Целыми часами сидел он в этой пещере, погруженный в молитву или созерцание, а когда приходили к нему из обители, говорил, как будто с виноватой улыбкой:

— Ради Бога, оставьте меня; я не создан для того, чтобы жить с людьми. Лучше говорить с камнями, чем с людьми, — меньше греха.

Скажет в «Песне Духа»: «опьяненные любовью (к Богу) души уже не участвуют ни в чужих делах, ни в своих собственных». — «Ангелам подобны такие люди: что о грехах человеческих надо скорбеть, знают и Ангелы, но не скорбят и даже в милосердных делах своих не знают жалости; так же и эти люди: довольствуясь соединением с Богом, ничего они уже не хотят ни от «вещественного мира, ни от духовного». Вечная молитва его: «да расширит Господь душу мою, или да избавит меня от жизни земной, чтобы мне не нести бремени человеческих душ».

Страшную меру уединения его дают такие слова, как эти: «с миром должно так поступать, как будто никакого мира и не было вовсе». — «Если бы даже рушился мир, будь спокоен».

Эту заповедь Иоанна Креста вспомнит полу-друг, полу-враг его, о. Джироламо Грациано, когда скажет о нем не очень справедливо, но очень язвительно: «есть люди, которым кажется, что всё духовное совершенство заключается в том, чтобы не выходить из кельи... если бы даже весь мир погибал в огне пожара». Кажется, бывали такие минуты, когда и сам Иоанн Креста сомневался, «должно ли с миром поступать так, как будто никакого мира и не было вовсе». Чтобы вернуться в мир, пробудиться от погружения в себя и в Бога, он, в такие минуты, «бил кулаком об стену».

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение ведет ее Возлюбленный,
Потому что и Он в любви одинок.

В этих стихах «Песни Духа», может быть, вспоминает Иоанн Креста о сеговийской пещере.

В жажде уединения борется у него чувство святости с чувством греха. Очень вероятно, что в иные минуты он понимал, что если Христос был одинок, то не потому, что уходил от людей, как он, а потому что люди уходили от Него. Но бывали и другие минуты, когда воля к уединению была для него тем, что можно бы назвать «первородным грехом святости» — соблазном нечеловеческой свободы и могущества. «Только в уединении душа вкушает *свободу*». — «Бог сообщает душе (в уединении) *страшную силу*». Сила эта ему страшна потому, что он и сам не знает, святая она или грешная. В этом-то незнании — главный источник того страдания, которое так верно и глубоко угадывает в нем Тереза: «он был пресыщен страданием». «Мужество у него великое, но, так как *он один*, *es solo*, то для того, чтобы совершить дело свое... он нуждается во всем, что дает ему Господь». — «Я не знаю, по какому злому року никто никогда не вспомнит об этом святом». — «Я испугана злым колдовством, которое окружает брата Жуана Креста. Это «злое колдовство» и есть его же собственная воля к одиночеству: «беги от всех людей, насколько можешь, потому что иначе ты не найдешь святого уединения», — свя-

того или грешного, в этом весь вопрос, никогда, может быть, не решенный Иоанном Креста. «Я теперь в бо́льшем одиночестве, чем когда-либо, но этого хочет Бог, — пишет он накануне смерти одной из любимых учениц своих. — О, сколько бы я хотел вам сказать... но ничего не скажу, потому что нет сил». Избавиться от «злого колдовства», выйти из темного колодца одиночества нет у него сил, потому что он и сам не знает, надо ли из него выходить или не надо; знает одно, что надо «страдать и молчать до конца».

23

Страшную меру воли его к уединению дает и это учение о любви: «должно любить всех одинаково, родных и чужих, и даже родных меньше, чтобы кровь и плоть не возбуждали той естественной любви, которая всегда существует между родными, и которую должно умерщвлять, чтобы достигнуть совершенства. Да будут все тебе чужими... Не люби одного человека больше, чем другого, потому что ты ошибешься. Большей любви достоин лишь тот, кого больше любит Бог, но ты этого не знаешь: вот почему, забывая всех одинаково, ты не ошибешься... Не думай же ни о ком ничего, ни злого, ни доброго; беги равно от всех... чтобы достигнуть святого уединения».

Грех для него не только любить, но и быть любимым: «быть другом его есть уже грех». Перед смертью он сожжет письма Терезы, «чтобы от всего освободиться».

Волю его к уединению делает «первородным грехом святости» крайнее сгущение одного из цветов евангельского спектра: «если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 26).

Но видно по этому «преисподнему опыту» любви-ненависти и то, как Иоанн Креста сам себе противоречит и борется с самим собой.

В Дуруэльскую обитель, именно в те дни, когда самоумерщвление его ужасает Терезу, как возможное «искушение

диавола», он приглашает мать и брата Франциско. «Будучи в Сеговии... он послал за мною, — вспоминает Франциско. — Я приехал к нему и, проведя с ним два или три дня, просил его меня отпустить. Но он сказал мне: «Не торопись, останься еще несколько дней, Бог знает, когда снова увидимся!» Нет никакого сомнения, что Иоанн Креста, в эту минуту, не исполнил страшного учения своего о любви ненавидящей.

Строго выговаривал он однажды молодому послушнику за важное нарушение устава, когда тот вдруг рассердился так, что осыпал его площадною бранью. Молча Иоанн выслушал всё, а когда послушник кончил, — упал перед ним на колени и поцеловал край одежды его; потом встал, обнял и сказал:

— Брат мой, всё да будет между нами в любовь и в славу Божию!

Сколько нужно было ему любви для такого смирения! «И туда, где нет любви, вложи любовь и извлечешь любовь», учит он других и делает сам.

Однажды в Благовещенской обители, в г. Авиле, знатная, молодая и прекрасная женщина, страстно любившая Иоанна Креста, зашла к нему в келью, когда он был один и старалась его соблазнить. Но он не сделал того, что некогда сделал св. Фома Аквинский, — не схватил раскаленной головни в руку, чтобы победить соблазн, а заговорил с нею так тихо и ласково, как мать с больным ребенком. Женщина заплакала и ушла, может быть, полюбив его еще больше, но уже иною любовью.

24

Люди к нему относятся двойственно: одни считают его великим святым, а другие — великим грешником, и даже иногда у одних и тех же людей впечатление от него двоится. «Брат Иоанн всю жизнь был святым», скажет Тереза, и она же, увидев самоумерщвление дуруэльских подвижников, внушенные братом Иоанном Креста, говорит: «диавол, может быть, искушает их чрезмерностью подвигов».

— Братья, диавол идет, — уйдем поскорее! — говорят

иноки саламанкской обители, завидев издали подходящего к ним Иоанна Креста. И там же, в Саламанке, когда однажды священник, изгоняя из одержимого беса, спросил его, кого из служителей Божьих он боится больше всего, тот ответил: «Иоанна Креста!»

В г. Авиле была молодая монахиня, заключившая, будто бы, с шестнадцатилетнего возраста, договор с диаволом, который дал ей такую же чудотворную власть утишать бури, гасить пожары, прекращать землетрясения, исцелять больных и даже воскрешать мертвых, — как и та власть, которой суеверные люди поклонялись в Иоанне Креста. Все ее считали великой святой; только духовник ее, кое-что заподозрев, просил Иоанна осмотреть ее, и тот, сразу увидев, что она — одержимая, начал изгонять из нее беса. Но на все его молитвы и заклятия, бес отвечал с великою наглостью:

«Она моя, я ее никому не отдам!»

Брат Жуан ушел от нее с тем, чтобы, проведя всю ночь в молитве, вернуться к ней на следующий день. Но только-что он ушел, как бес, под видом его, постучался у ворот обители и, когда мать-привратница открыла ему, попросил ее вызвать ту монахиню, у которой он только-что был, чтобы сказать ей, что-то очень нужное, что забыл сообщить при первом свидании, а когда она вышла в приемную, сказал ей:

— Дочь моя, грех твой так велик, что Бог тебя не может простить. Ты заключила договор с диаволом и погибла навек!

В то же время Иоанну Креста на молитве открыто было всё, происходившее в обители. Он поспешил туда и, только-что вошел в приемную, где бес говорил с монахиней, тот исчез, а Иоанн начал утешать ее и ободрять, и она успокаивалась на одну минуту и верила ему, но потом, пристальней вглядевшись в него, вся бледнела и дрожала от ужаса: видела двух Иоаннов и не могла отличить одного от другого, настоящего от двойника его, диавола. Может быть, это смешение происходило не только у таких простодушно верующих, как эта монахиня, но и у всех, кто ближе подходил к нему: то Божий слуга, то диаволов; может быть, он и сам иногда не

умел отличить себя настоящего от двойника своего, диавола. Если так, то и в этом была одна из причин его одиночества — того, что угадала в нем Тереза: «он пресыщен страданием». Только одного не угадала она, — что этого страдания он и сам неутомимо жаждал.

«Брат Иоанн, скажи, чего ты хочешь, и Я это сделаю», — услышал он однажды из уст Господних в видении.

«Господи, — ответил он, — я хочу одного — страдать за Тебя и быть презираемым всеми!»

Этому желанию его суждено было скоро исполниться.

25

В 1585 году назначен был генеральным викарием Кармелитского Братства в Испании Николай Дория, из древнего и несметно богатого рода генуэзских банкиров. На старости лет постригшись в монашество и сделавшись одним из самых могущественных князей Римской Церкви, он соединял расчетливо-холодную ловкость дельца с пламенной ревностью верующего. Будучи злейшим врагом Реформы, решил он ее уничтожить и с этою целью, втершись ко двору Филиппа II, сделался другом его, если только могли быть у него друзья; вошел и в милость к папе Сикусту V, чтобы соединить церковную власть с государственной для уничтожения Реформы. Так исполнилось то, чем, семь лет назад, в толедской тюрьме запугивали Обутые Иоанна Креста: «дни Реформы сочтены, потому что христианнейший король соединился со Св. Престолом, чтобы ее уничтожить».

В 1587 году, появилась булла Decet Romanum Pontificem, разделявшая Братство Кармеля на несколько провинций с подчинением каждой отдельному провинциалу, чем разрушалось главное основание великого дела св. Терезы Иисуса и св. Иоанна Креста — единство Реформы.

Слишком хорошо понимал Николай Дория, что по смерти Терезы всё Братство Кармеля держится на одном Иоанне Креста и что нельзя уничтожить Реформу, не уничтожив его. Но это было не так легко, как ему казалось. Что делать с

человеком, который сам себе желает худшего из всего, что можно с ним сделать? «Я — червь презренный, и обидеть меня никто не может». Если эти слова Иоанна Креста казались о. Дория ложным смирением, то он скоро понял, что ошибся. Злейшие обиды и гонения не были страшны Иоанну: все они проходили даже не мимо, а сквозь него, как удары меча — сквозь тело призрака. В бешенство приводила о. Дория эта неуязвимость и недосягаемость врага. Как бессильно было бешенство его, лучше всего можно судить по розыску о. Диего евангелиста, главного наушника о. Дория: одну из духовных дочерей Иоанна он запугал до того, что вынудил у нее признание, будто бы однажды тот поцеловал ее сквозь решетку исповедальни. Если такой умный человек, как о. Дория, не побрезгал такой глупой и подлой клеветой, как оружием борьбы, он должен был дойти до последней степени бессилия. Коленопреклоненный, смиренный, безгласный, как агнец, казался ему Иоанн Креста опаснейшим для Церкви мятежником, — может быть, опаснее Лютера и Кальвина, потому что у тех был явный мятеж, с которым можно бороться, а у этого — тайный, который ни в какой борьбе непобедим.

Хуже всего для Иоанна Креста было то, что в самом Братстве Новаго Кармеля он чувствовал предательство. Полу-друг, полу-враг его, о. Джироламо Грациано, зараженный «язвой церковного вельможества», готов был изменить великому делу Терезы.

«Если мы не имеем мужества говорить правду на церковных соборах и капитулах, то Братство наше погибло», остерегал Иоанн Креста на Мадридском капитуле 1591 года; он мог бы остеречь: «погибло не только наше Братство, но и вся Церковь».

Кажется, слова эти были, кем нужно, услышаны, потому что тотчас после Мадридского капитула он лишен был всех должностей и сослан в глухую обитель Пенуэлу. Вот когда исполнилась его молитва: — «Господи, я хочу одного — страдать за Тебя и быть презираемым всеми!»

Крошечная обитель Пенуэла находилась в диком горном

ущельи Сиэрры Морена, где ничего не было кроме голых, летом раскаленных, а зимой обледенелых скал и отовсюду зияющих, бездонных пропастей. Лучшего для себя убежища не мог бы выбрать Иоанн.

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение ведет ее Возлюбленный...

Этот зов снова услышал он и пошел на него. Вечную жажду уединения он мог теперь утолить со спокойной совестью: не он ушел от людей, а люди ушли от него. «Я могу наконец, быть совершенно свободным. Я счастлив потому, что освободившись от всех забот о других, я могу жить в мире, тишине и спокойствии».

Но и здесь, в Пенуэле, всеми забытый и отверженный, он все еще был страшен врагам своим, как скованный титан Прометей, и они решили послать его миссионером в Мексику, чтоб избавиться от него окончательно. Когда, месяца два прожив в Пенуэле, получил он это известие, то был болен и, хотя другим болезнь его казалась не опасной, он сам уже знал, что она смертельна и радостно готовился к более далекому странствию, чем в Мексику, — в нездешний Новый Свет.

26

«Завтра я еду в Убеду, чтобы лечиться от маленькой лихорадки. Так как уже больше недели она у меня бывает каждый день и не проходит, то, кажется, я нуждаюсь во враче. Но скоро надеюсь вернуться сюда. В этом святом уединении я чувствую себя очень хорошо», писал брат Жуан из Пенуэлы, 21 сентября 1591 года, одной из любимых учениц своих, донье Анне Пеньялоза. Может быть, он знал, что уже никогда не вернется в Пенуэлу и только успокаивал донью Анну.

Главный викарий Новаго Кармеля, о. Атонио де Гередиа предложил ему два места на выбор: Баэцу или Убеду. Очень хорошо помнили его и любили в Баэце, где двадцать лет назад преподавал он теологию. Что будет здесь принят, как желан-

ный гость, он знал; знал и то, что ожидает его в Убеде, где игуменом обители был злейший враг его, о. Кризостомо, которого некогда сурово обличил он в «церковном вельможестве», который не мог ему этого простить и теперь не преминул бы воспользоваться случаем отмстить ему за старые обиды. Но все-таки он выбрал не Баэцу, а Убеду, исполняя и теперь, как столько раз в жизни, заповедь свою:

Не легкого желай, а трудного,
Не сладкого, а горького.

Путь из Пенуэлы в Убеду по крутым горным тропинкам был очень труден больному. Он так ослабел, что едва держался на муле.

— Пилят, пилят мне ногу деревянной пилой и всё не могут отпилить, — жаловался он, с кроткой улыбкой, сопровождавшему его, молодому послушнику, и тот, глядя на него, иногда не надеялся довезти его до Убеды живым.

Доехав до моста на Гвадалквивире, послушник предложил ему отдохнуть и, когда он согласился, помог ему слезть с мула, усадил его в тени, где и в этот час полуденного зноя веяло прохладой от реки, вынул из сумы съестные припасы, разложил их на камне и сказал: — Ради Бога, отец, съешьте чего-нибудь, ведь со вчерашнего дня маковой росинки во рту у вас не было!

— Нет, сын мой, из всего, что создал Господь, я ничего не хочу, — ответил Иоанн и, немного помолчав, прибавил всё с тою же кроткой улыбкой:

— Вот если бы спаржа была, я, может быть, и съел бы...

И только что он это сказал, послушник перекрестился, потому что увидел в десяти шагах от них пук свежей, только-что, должно быть, на огороде собранной спаржи и не усомнился, что это одно из тех же великих чудес, которых столько творил св. Иоанн Креста.

— Что ты, сын мой? — спросил тот и, когда послушник молча указал ему на спаржу, проговорил:

— Кто-нибудь, должно быть, забыл, но так как Господь

послал нам дар свой, то мы не должны его отвергать. Возьми же с собой эту спаржу и оставь за нее немного денег, чтобы забывший, если вернется, не подумал, что мы ее украли.

Смертный грех чревоугодия теперь уже не был страшен Иоанну, как в Дуруэло, когда в лютом самоистязании бичевал он себя до крови за такой же грех.

Вечером в тот же день, приехали они в Убедскую обитель, где игумен принял брата Жуана так, как тот ожидал. Радоваться могли бы злейшие враги его, о. Тостадо и о. Дория, потому что лучшего для него палача и они бы не выбрали.

О. Кризостомо дал ему самую темную и тесную во всей обители, келью, немногим лучше толедской тюрьмы: не было в ней ничего, кроме голых стен и нищенской койки с висевшим над ней распятием. Но, войдя в нее, он оглянул ее так радостно, как будто для смерти его не могло быть лучшего места в мире: Иисус на кресте — больше ничего не надо было умирающему Иоанну Креста.

Часто приходил к нему о. Кризостомо, садился у его изголовья, и начиналась пытка. Целыми часами говорил он медленно-тягучим голосом, как будто пилил его больную ногу деревянной пилой, напоминая все его «жестокие обиды», доказывал правоту свою и его несправедливость, а иногда смотрел на него такими злыми глазами, что ему казалось, что он уже не пилит его больную ногу, а втыкает в нее раскаленные иглы.

27

Врач Амброзио де Виллерэале, осмотрев больного, объявил, что у него рожистое воспаление надкостницы. Пять больших нарывов было на ноге его — «совершенное подобие пяти крестных ран Господних». Иноки, видя в этом великое чудо Божие, крестились и шептались так громко, что Иоанн не мог их не слышать и, может быть, это было хуже для него, чем пытка о. Кризостомо, потому что глубоко-кощунственная вера людей в чудотворную силу его уничтожала и в смерти всё, что он сделал в жизни.

Врач, зайдя к нему однажды, сказал, что придет на сле-

дующий день, чтобы разрезать нарывы и выпустить из них гной. Но это была только обычная хитрость тогдашних врачей, чтобы обмануть и успокоить больного. Делая вид, что осматривает ногу, он вдруг схватил ланцет и сделал с живым телом то, что в анатомических сечениях делал над трупами: срезал все мясо с ноги от подошвы до сгиба в колене так, что забелела между красными и синими жилами кость. Потом облилось все тело больного, лицо позеленело, но страшное подобие улыбки было на помертвевших губах, когда он прошептал:

«Это сделал Ты, Иисус!»

Врач, никогда не видевший у больных такого присутствия духа, перекрестился так же благоговейно, как те, кто удивлялся мнимому чуду пяти нарывов. Но это было уже действительное чудо. Мужеству «маленького Сенеки», как называла Тереза Иоанна Креста, могли бы позавидовать Сократ и Эпиктет. Подвиги Александров и Цезарей перед этим — ничто: бо́льшую победу, чем те — над миром, одержал над собой Иоанн Креста.

Как-то раз молодой послушник, брат де Сан Джозе, потихоньку войдя в келью о. Иоанна, когда он был один, и увидев, что он очень страдает, сказал:

— Может быть, ваши страдания, отец, немного облегчила бы музыка? К нам в обитель пришли музыканты. Если вам угодно, я позову их сюда.

— Благодарю тебя, сын мой, — ответил больной. — Я буду рад услышать музыку земную в последний раз перед тем, как услышать небесную...

Послушник уже хотел идти за музыкантами, но Иоанн удержал его за руку, немного помолчал, закрыл глаза, о чем-то глубоко задумавшись и потом проговорил, с той тихой и радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, которая все чаще появлялась на лице его:

— Нет, сын мой, я передумал: посланные мне Богом страдания я не должен облегчать ничем. Ступай же, поблагодари музыкантов и угости их чем-нибудь, только потихоньку

от о. Кризостомо, чтоб он не рассердился, а я побуду один и помолюсь.

Так в последний раз исполнил он и в смерти то, что столько раз исполнял в жизни, — заповедь свою:

Не сладкого желай, а горького,
Не легкого, а трудного.

Как только иноки видели, что о. Кризостомо не было в кельи о. Иоанна, приходили к нему за духовною помощью, или для того, чтобы утешить его в страданиях. Он выслушивал их терпеливо и ласково, но сам говорил мало и только смотрел на них, все с тою же радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, а потом, с бесконечной на лице усталостью, тихонько просил:

— Дети мои, оставьте меня одного, я за вас помолюсь, и Господь вам лучше поможет, чем я.

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение ведет ее Возлюбленный, —

этот зов услышал он в последний раз и пошел на него в смерти так же, как в жизни.

28

«Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень!» — воскликнул он, когда врач сказал ему, что он скоро умрет.

За два дня до смерти он причастился и когда один из братьев, подойдя к нему, поздравил его с принятием Св. Тайн. — спросил: — Брат Диэго, думаете ли вы, что я скоро умру?

Был ли это последний, еще не побежденный страх смерти, или нетерпеливое желание умереть? Может быть и то и другое вместе.

В тот же день, послал он за о. игуменом и, когда тот пришел, Иоанн Креста, попросив у него со слезами прощения за старые и новые обиды, сказал:

— Отец мой, я жил и умираю в нищете и наготе совер-

шенной, так что нет у меня и одежды, в которой могли бы меня похоронить. Дайте же мне, умоляю вас, одежду Пресвятой Девы Марии, в ней же и похороните меня.

— Брат мой, — начал о. Кризостомо и не кончил, упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал:

— Что я сделал, что я сделал!

Иноки зная, что больной пошевелиться не может без чужой помощи, глазам своим не поверили, когда он приподнялся на постели, обнял голову о. Кризостомо и, прижав ее к груди своей, сказал: — Братец милый, не плачь, всё хорошо будет. Я знал, что Господь простит тебя и помилует.

И так просветлело лицо его, как у Ангелов, когда радуются они об одном кающемся грешнике больше, чем о десяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Так совершилось еще одно неложное чудо св. Иоанна Креста — исцеление души человеческой от величайшего зла — низости.

В ночь на 14 декабря была одна из тех страшных бурь, какие бывают в горах Северной Андалузии. Ветер выл за окнами, как стая волков, и потрясал стены обители так, что они, казалось, готовы были обрушиться. В эту ночь больной еще раз причастился.

— Больше очами плоти я Тебя не увижу, Господи! — проговорил он, глядя на св. Гостию.

Восьмидесятилетний о. Атонио де Гередиа, игумен первой мужской обители Нового Кармеля, неразлучный спутник Иоанна Креста в течение всей жизни его, подойдя к нему, спросил:

— Помнишь ли, сын мой, дуруэльскую обитель и сколько мы там потрудились во славу Божию? Ныне час награды твоей наступил, и воздаст тебе Господь сторицею за все твои труды.

— Нет, не говорите этого, отец мой, — ответил Иоанн. — Я ничего не сделал, в чем бы не раскаивался; лучше напоминайте мне о грехах моих, чтобы мне поплакать о них. Нет, не моими заслугами, а кровью Иисуса Христа я спасусь!

Через час или два, велел он позвать к себе о. Себастиано

и, когда тот остался с ним наедине, долго говорил ему о делах Нового Кармеля и в заключение сказал:

— Сын мой, ты некогда избран будешь в наместники Братства. Помни же то, что я тебе завещал перед смертью и передай всем, чтобы и они это помнили и свято хранили.

После этой беседы он прилег отдохнуть и закрыл глаза, как будто уснул, а когда пробили часы на колокольне, спросил:

— Который час?

И когда ему ответили, что девять, сказал:

— Еще три часа изгнания мне осталось!

В десять часов, услышав благовест, опять спросил:

— Что это?

— Сестры к утрене идут, — ответили ему.

— А я буду петь утреню с Пресвятой Девой Марией, — проговорил он радостно и, немного́ помолчав, прибавил: — Как я счастлив, что ничего не сделав, буду сегодня на небе!

Снова из черного колодца смерти увидел Дневную Звезду — всех упавших в колодец Спасительницу, всех одиноких изгнанников Спутницу, всех заточенных в темницу Освободительницу, Пресвятую Деву, Матерь Божию. Вечный рыцарь прекраснейшей из всех прекрасных дам, Ей одной служивший здесь, на земле, он знал, что и там, на небе, будет Ей служить.

Идучи к утрене иноки, войдя в келью о Жуана, повесили лампады на стене.

— Братья, читайте отходную, — проговорил он.

Стали читать, но не успели кончить, как он попросил читать «Песню Песней», и почувствовали все, что так и надо, потому что над смертью его должен был звучать не горький плач покаяния, а торжествующая песнь любви.

«Да лобызает Он меня лобзанием уст своих», — начал один из иноков.

«Ибо ласки Его лучше вина», — продолжал Иоанн.

— О, какие это драгоценные камни! — воскликнул он, кончив.

«Брат Жуан был очень спокоен, прекрасен и радостен», вспоминает один из очевидцев.

Пробило полночь.

— Брат Диэго, велите благовестить к утрене, — сказал умирающий и, только-что услышал колокол, взяв в руки распятие и прижав его к губам, воскликнул:

— Господи, в руки Твои предаю дух мой! *In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum!*

И отошел так тихо, что этого никто не заметил.

«Господи, в руки Твои предаю Дух мой» — эти слова произнес и умирающий Лютер. Два величайших вождя двух Реформ — отлученный от Церкви ересиарх Лютер и венцом святости увенчанный Иоанна Креста, — отрицают то, от чего мир погибает, — Разделение Церквей, и утверждают то, чем спасется мир, — Соединение Церквей.

29

«Сладостнее умирают святые, чем живут... так умирающий лебедь слаще поет... В смерти святых река любви человеческой впадает в океан любви божественной», учит Иоанн Креста в «Живом Пламени Любви»:

О, Сладостный ожог,
Блаженнейшая рана
О, нежная рука!
О, тихое касание!
В вас — вечной жизни сладость,
И вы вознаграждаете за все
И, убивая, делаете жизнью смерть.

Вечный страх смерти делает человека несчастнее зверя, потому что тот смерти не знает. Как от этого страха избавиться, учат святые. Люди забыли это учение, но если когда-нибудь вспомнят его, то будут счастливы, и на земле наступит Царство Божие.

«О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!» — воскликнула, умирая, св. Тереза Иисуса.

«Смерть моя была ни чем иным, как таким восторгом

любви, что тело мое не могло этого вынести», — говорила она, явившись после кончины одному из иноков Кармеля. То же мог бы сказать и св. Иоанн Креста, да и говорит почти то же: «встреча любви в смерти, более глубокая и сильная (чем в жизни), прорвала пелену и унесла душу из тела».

О, живое Пламя Любви,
Разделяющую нас пелену прорви!

Этот «прорыв» и есть не что иное, как «Пронзение», св. Терезы Иисуса так же, как и св. Иоанна Креста. В жизни и в смерти путь обоих один — к высшей, доступной людям точке экстаза — Богосупружеству.

Д. Мережковский

КАЛИФОРНИЙСКИЕ СТИХИ

1

Для последнего парада,
Накреня высокий борт,
Легкий крейсер из Кронштадта
Входит в молчаливый порт.

И с чужой землей прощаясь,
К дальним странствиям готов,
Гроб к нему плывет, качаясь,
Меж опущенных голов.

Правы были иль неправы —
Флаг приспущен над кормой, —
С малой горстью русской славы
Крейсер повернул домой.

Брызжет радостная пена, —
Высота и глубина, —
Лишь прощальная сирена
В синем воздухе слышна.

Час желанного возврата —
Сколько звезд и сколько стран, —
В узком горле Каттегата
Северный залег туман.

И до Финского залива,
Сквозь балтийский дождь и тьму,
Будут волны торопливо
Мчать безмолвную корму —

Там проходят мимо, мимо
Берега и острова, —
Голубые пятна дыма,
Сон, намеченный едва.

2

Какая жалкая забава
Сачком обшаривать траву, —
Вот бабочка, мечта иль слава,
Легко задела синеву.

Как совершенство невесома,
Живой расцветки торжество,
С куста на куст, и выше дома,
Всё дальше, дальше от него,

Полету солнечному рада,
Но высотой уменьшена,
Над шорохом большого сада
Растает в воздухе она.

И кто-то ослепленным взглядом
Измерит прихотливый путь,
И кто-то восхищенный рядом
Захочет глубоко вздохнуть.

Смертельное прикосновенье
Неизмеримой высоты, —
Не это ли исчезновенье
Любовью называла ты.

3

Ты слабо дышишь. Я едва
Тебя во мраке различаю,
Я на невнятные слова
Лишь стуком сердца отвечаю.
Давай немного постоим,
Послушаем еще немного, —
Как в детстве, именем моим
Меня окликнула дорога.

Быть может это голос твой,
Но только глуше и печальней,
Быть может кто-то неживой
Прельщает нас дорогой дальней.
Таинственная власть примет, —
Как захватило нас молчанье,
Вот эта ночь, и звездный свет,
И листьев сонное журчанье.

4

Здесь близок океан. Сюда
Порой доходит ропот странный, —
На нас прозрачная звезда
Глядит из ночи безымянной.

Неосязаемый простор
Порос деревьями густыми,
На горизонте цепи гор
Цепями кажутся простыми.

Какая тишина, мой друг!
Лишь птица изредка рванется,
Неровный обозначит круг
И в чащу сонную вернется

И вновь таинственный прибой
Встает и глохнет в отдаленьи,
Как-будто где-то за тобой
Огромное сердцебиенье.

Вл. Корвин-Пиотровский

МЕЧТАНИЕ

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

В начале лета друзья повезли меня на океан, в Асбэри-Парк.

В Нью-Джерзи дорога сначала шла по болотистой местности, по виадуку на бетонных столбах. В низине длинные строения мастерских по берегу стеклисто-зеленого ручья, трубы, краны, дымы. Впереди я вдруг увидел круто подымавшийся в небо горбатый совсем сказочный мост. По его скату, блестя на солнце, суетливо ползли вверх и вниз автомобили, похожие издали на металлических жуков. Мы скоро въехали на этот мост. Оттуда ещё шире открылся вид на долину, пересечённую во всех направлениях широкими автострадами. Со стремительностью воды из шлюзов, по каждой, по нескольку в ряд, нескончаемыми потоками двигались автомобили. Ничего подобного я не видел в Европе. Словно построенные циклопами подъезды к какому-то фантастическому городу будущего. Только тепрь я по настоящему почувствовал огромность Нью-Йорка.

Потом мы ехали вдоль поля, застроенного серебряными цистернами. Одна стояла отдельно, в стороне от других. Около неё, с любовью клонясь к ней, как нежное привидение, как ангел, как Офелия, клубился столб белого дыма.

В Асбэри-Парк на много верст огромный пляж, усеянный купальщиками. Такое множество, как тюленей на берегу Ледовитого океана. Я видел в кинематографе. — Волны, закипая пеной разбивались о чёрные скалы. Летели холодные брызги. Я **чувствовал,** что холодные. А тюлени лежали, словно греясь. Здесь же нагретый солнцем светлый песок. Вдоль пляжа деревянный, как в Довилле, настил. Но Довилль толь-

ко для богатых, а тут для обыкновенных, простых людей, для всех, для народа. Прообраз будущего золотого века, когда всего будет вдоволь для всех. Праздничная толпа медленно двигалась мимо бесчисленных закусочных и увеселительных заведений, балаганов, миниатюрных гольфов. Любители стреляли с берега, но не по голубям, как в Монте-Карло, а особые катапульты метали в воздух глиняные диски. При попадании эти диски разлетались вдребезги.

Вечером возвращались в Нью-Йорк по той же дороге, мимо какого-то залива. Вдоль берега россыпь огней фабричного поселка. В порту, в прозрачности вечернего воздуха торчали странные, будто обезглавленные, какие-то сюрреалистические краны, а на другом берегу, плоском и печальном, не было ни домов, ни огней. Там еле различимо виднелись мыс, за ним пустынная бухта и опять полоска земли, и ещё бухты и мысы, и только далеко за ними, сливаясь с ночью, открытое море. Как на картине Пюи дё Шаванна «Бедный рыбак», но вечернее и ещё печальнее, ещё прекраснее.

Я понимал: чувство грусти могло быть только во мне, а не в самом пейзаже. Ведь пейзаж не мог грустить, — это был внешний, неодушевлённый мир. Сколько раз, особенно на войне, я испытывал это страшное понимание равнодушия природы. А моя любовь к антропологическим метафорам и вечное желание, чтобы мир имел человеческое значение, это верно только пережиток стремления, которое заставляло дикарей создавать космологические мифы. Я знаю, если бы я там тонул, этот далёкий погружавшийся в ночь берег совсем равнодушно присутствовал бы при моей смерти. И всё-таки мне казалось, что передо мной в прозрачном серебрянноголубом сиянии сумерек совершалась в молчании какая-то таинственная драма и эти заливы и мысы приглашали меня остаться с ними и им было так же грустно как мне, что я уезжаю и никогда не смогу обойти и узнать их всех.

Нет, если вглядеться в это впечатление пристальнее, им было грустно не от того, что я их не знаю, а от того, что может-быть никто о них не знает. Ведь то, чего никто не знает, как бы вовсе не существует. В этом было что-то невместимое.

Им нужно было пребывать в чьем-то вечном сознании. Вот почему им было грустно — они не знали есть ли Бог. Впрочем, это я не знаю, а они, наоборот, как будто знали и хотели мне это объяснить, но я не понимал их язык. В то мгновение, когда я думал, что сейчас пойму, моя мысль останавливалась перед чем-то действительно неопределимым, загадочным, невероятным. Мир ускользал от меня, терял всякое значение.

Впрочем, я согласен с теорией, что наше сознание в самом деле присутствует во всём, что мы видим. Я убеждал себя в этом, но не мог заглушить тоски. Да, я видел красоту этих мысов и заливов, она наполняла меня почти непереносимым восхищением и всё-таки я был отдален от неё, не мог там быть, не мог остаться. Автомобиль увозил меня всё дальше и дальше и от этой невозможности вместить весь мир что-то мучительно и сладостно разрывалось и не могло разорваться у меня в груди.

Стараясь теперь как можно точнее описать это смешанное чувство сожаления, грусти и счастья, почти восторга, я вдруг неожиданно понял: ведь, собственно, я жалел, что я не вездесущ. Как, странно, я никогда бы так не сказал себе: я хочу быть вездесущим. Это было бы смешно — вездесущ только Бог. А между тем я видел теперь, что именно этого я хотел, именно об этом по-настоящему думал, то-есть жил и чувствовал, как если бы так думал. Когда я рассуждал, такая нелепая мысль, конечно, никогда не приходила мне в голову.

В детстве, когда я начал замечать природу, не было этого чувства отдалённости и сожаления. Повидимому я тогда ещё не вполне отличал мои восприятия внешней действительности от чувства моей жизни. Я помню, раз в Болшеве, вечером, я смотрел на Клязьму и открывавшуюся за ней даль. Уже смеркалось. Вдруг с удивлением я почувствовал, как красиво всё было: дорога, река, избы деревни на том берегу, синий лес вдали и меркнувшее небо. Похоже на картины в Третьяковской галерее и в журналах, но лучше, глубже, таинственнее. Я вспомнил выученные недавно стихи из хрестоматии: «эти бедные селенья, эта скудная природа». И всё-таки выходило, что, несмотря на эту скудость, край русско-

го народа самый лучший на свете: его «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Я не совсем ясно понимал, что это значит, но я чувствовал — нигде не могло быть лучше, чем в России, ближе к чему-то самому высшему, прекраснее.

Куда я ни смотрел, я с восхищенным удивлением видел картины чудной, совершенной красоты, только всё было какое-то грустное. Брат стоял рядом со мной и тоже смотрел, Мы молчали, но я **знал,** что он так же чувствует, как я. Мы всегда одинаково чувствовали.

Я знал, лето кончается и мы скоро уедем в Москву, но мне не было жалко расставаться с Болшевым. Мне было тогда девять лет и я, конечно, ещё не знал древнего мифа о «пупе земли», из которого вселенная растет во всех направлениях. Но я жил в те годы так, как если бы думал, что наша семья была «абсолютным центром», как я сказал бы теперь. А вокруг будто в славе встающего солнца с каждым годом открывался всё более огромный и восхитительный мир. И я был уверен — этот мир всегда будет со мной и я всегда буду в нём, ведь я — его центр. Мне и в голову не приходило, что мне придется выбирать, отказываться, расставаться, а потом совсем перестать быть. Только много позднее, когда начали приходить сомнения, я с удивлением увидел, что в сущности в детстве я не допускал, что Бог мог создать жизнь, которая не была бы божественной.

Чтобы писать о моих непосредственных мыслях и чувствах нужно непривычное напряжение внимания. Как растения в ускоренных фильмах они на глазах разрастаются во все стороны. **Проявить** их в их первоначальном наивном виде, в каком они приходили ко мне, было очень трудно. Стремясь к точности я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд. К тому же в моём возрасте наивность смешна. И я знаю, как сомнительна ценность таких несвязных описаний непосредственных впечатлений. Но иначе мое предприятие теряло всякое значение.

Легче всего было начать с записи снов. Во сне видишь

свои мысли, не боясь, что они могут показаться наивными и глупыми.

Мне всегда снилось много снов. В детстве по большей части страшные. Многие я до сих пор помню. Я иду по улице и вдруг все бегут. На противоположном тротуаре бешеная лошадь. Я прячусь в ближайшее парадное и захлопываю за собой дверь. Но я знаю — лошадь меня непременно заметит. И действительно она бросается за мной, ломает копытами дверь. Сейчас будет топтать, рвать зубами. Или всю ночь в непролазных камышах, в низине на берегу реки, я задыхаясь боролся с лютой ведьмой. А перед болезнями мне часто снилось: моё тело сплошь покрыто круглыми отвратительными язвами. Я все скребу их ногтями, но не могу соскрести.

Страшные сны мне снятся и теперь. И всё-таки я люблю сны. Даже в самых страшных из них не бывает, как наяву, чувства остановки жизни, когда всё вдруг кажется необъяснимым и странным, даже мое собственное существование. А во сне, как в детстве, моему сознанию представляется, что оно вмещает всё бытие. Для всего находится сколько нужно времени и места, но нет устрашающей бесконечности пространства, и нет того беспокойства, воспоминания о чём-то страшном и неотвратимом, которое за всеми другими мыслями я постоянно чувствую наяву. Даже когда мне снилось, что меня убивают, я не умирал. Я с любопытством говорил себе: вот сейчас меня убьют и я узнаю, что там после смерти, — есть ли что-нибудь или «ничто», невообразимая темнота. Но в глубине я знал, что я не умру, что это только сон. И действительно меня убивали, что-то болезненно обрывалось, но с чувством почти разочарования, что так ничего и не узнал, я видел новый сон.

Часто, когда я начинаю засыпать, передо мной вдруг возникают на мгновение парижские дома и церкви. Обычно я вижу только часть стены или портала и при этом недостаточно долго, чтобы рассмотреть какой-же это именно дом, или

какая церковь. Но я знаю, — это Париж и меня охватывает чувство любви. Даже, когда мне вспомнились закопчёные паровозным дымом стены домов на подъездах к Восточному вокзалу, я испытал чувство счастья. С каким волнением я смотрел на них, когда в первый раз приехал в Париж. Как давно это было, но ведь было, было, я проезжал там, гулял, жил. Пусть мое существование ничем не охранено от неизбежного уничтожения, но никакая сила не может сделать небывшим моего прошлого. Я засыпал с чувством успокоения.

Ночью шум голосов на лестнице разбудил меня так внезапно, что я запомнил снившийся мне сон не так, как когда днём вспоминаешь, а будто он продолжал мне сниться ещё несколько мгновений после того, как я проснулся. А снилось мне, что я лежу в моей комнате на постели и всё глубже и глубже дышу, так что моя грудь вздувается, как у голубя. И вот с легкостью воздушного шара я вдруг подымаюсь к потолку и сквозь окно вижу синее звездное небо. Окно закрыто, но я знаю, я сейчас мгновенно подымусь к звездам. Я ещё сказал себе — так летают на Марс.

Мне снилось, я читаю лекцию и замечаю, — каждый слушатель в зале это я сам, но в разные годы моей жизни и как раз, когда я особенно был недоволен самим собой.

Почему-то мне приснился сегодня покойный Михаил Бюргеров. Меня удивило, что он всё такой же спокойно-самоуверенный и осанистый, каким был при жизни. Показывая на окна подвала, он сказал, что это его новая квартира, там прохладно, сумрак, большие комнаты. Приглашал заходить.

Сегодня я не ходил на службу. Праздник. Днём я лежал на кровати, стараясь отдыхать. Вдруг, без всякой связи с моими мыслями, мне с удивительной живостью вспомнилось, как ещё задолго до войны, кажется в Лё Леванду, я вернулся с пляжа. Сквозь щели деревянных ставень — яркий свет южного дня. Там за окном словно стояла ослепительная стена. Стас-

кивая мокрые, с приставшим песком плавки, я чувствовал, что моё тело от долгого плавания стало солёным и по-тюленьи гладким, каким-то морским, каким и должно быть тело у человека.

Почти одновременно с тем далёким днём на Лазурном берегу мне вспомнился виденный прошлой ночью сон. Подставляя спину солнцу, мы с братом лежим далеко от берега, на высоком помосте на сваях, вбитых в морское дно. Так хорошо, такое счастье. Брат весёлый, здоровый. И он совсем взрослый, каким бы он был, если бы не умер за много лет перед тем.

Мне опять снился брат. Я пришёл и оказалось, что его нет. Когда он вернулся я спросил его: «где ты был?» Он сказал, что ездил в город к доктору. Я спросил: «ты теперь останешься?»

— О нет, я должен лечь в госпиталь, — ответил он решительно.

Я не знал, что он болен. Ещё утром он был совсем здоров, мы всё время были вместе, а теперь оказалось, что он болен и уже ездил в город к доктору. Я спросил его: «какая у тебя болезнь, как она называется?»

Он усмехнулся: «это больная болезнь, когда всё болит, руки болят, ноги болят, грудь болит, голова болит».

Он был немного выше меня, очень худой, бледный. Давно нестриженные волосы отрасли у него на затылке неровными косицами.

Я сказал ему: «ведь ты же болен, я помогу тебе отнести твои вещи на станцию».

— Нет, я сам, — сказал он, вскинув на плечо перетянутый ремнями плоский свёрток из бежевого одеяла.

Я вспомнил, как у него мало вещей и что он спал на полу в холодном сгнившем чулане. Мне стало стыдно, что по всегдашнему моему эгоизму я соглашался на это. Может быть, он потому и заболел. И вот теперь решил уехать и лечь в госпиталь.

Я спросил: «ты позвонил маме?»

— Может быть позвоню, а может быть нет, — сказал он резко, как говорят, когда не хотят давать объяснений. Но это не потому, что он сердился на меня.

Я отчётливо слышал, как чей то голос позвал меня: «Володя». Я проснулся, то-есть мне показалось, что я проснулся. Это мой отец позвал меня из соседней комнаты, где он спал. Он хотел узнать у меня, кто же кого победил. Перед тем мне снилось, что багдадский султан напал на какого-то индусского принца. Проснувшись теперь на самом деле, я сейчас же вспомнил: накануне я читал «Тысячу и одну ночь», у меня нет другой комнаты и моего отца нет в живых. Это какой-то звук из коридора я принял за его голос.

Я давно уже потерял надежду, что отец жив, но все говорил себе: а вдруг? Но недавно я получил письмо из Мюнхена от одного старого друга моего отца. Он писал, что виделся с каким-то Басановым, который был взят одновременно с моим отцом в Праге, в 45-ом году, а «теперь возвращён большевиками в Европу». Басанов сказал, что мой отец умер в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть.

Я знаю, сколько раз читал и слышал: — всем снятся такие сны об умерших. Верно отсюда и пошла древняя вера, что души умерших приходят ночью на землю. Мне было радостно, что мое чувство совпадает в этом с чувствами всех людей, всего человечества. Конечно, то, что все так чувствуют, ещё ничего не доказывало. Но всё-таки меня не оставляла неразумная надежда, — если человеческая душа так устроена, что не может примириться со смертью близких, то нет ли тут указания, залога?

Я решил записывать такие сны. Тогда я заметил, что почти всякий раз, когда я мог вспомнить виденное — во сне, оказывалось, что брат и отец, если не прямо участвовали, то молча присутствовали при всех снившихся мне событиях.

Я шёл по улице и встретил моего отца. Он был высокий, худощавый, в поношенном, с чужого плеча пальто. Или это

была шинель, какие носят пленные и ссыльные. Он немного походил на Максима Горького. Это верно потому, что он очень похудел и у него резко обозначились скулы. Увидев меня, он ласково улыбнулся. Меня удивило и обрадовало, что он так меня любит. А то мне всё казалось, что я в чём-то виноват перед ним и он на меня сердится. С тревогой и безумной надеждой я спросил его: «ну, как там тебе, не слишком скучно, не слишком страшно?»

Мы ехали в метро. На Данфер-Рошро мы должны были пересесть в поезд, который шёл за город, в сторону, где жил когда-то один мой друг. Его расстреляли немцы. Я уже занес было ногу в вагон, как вдруг вспомнил, что мне нужно ехать в противоположную сторону, на Порт дё Клиньянкур. Мой спутник уехал в том загородном поезде один. Случайно вспомнив днём этот сон, я увидел, что это был мой брат.

Когда я вошел, отец лежал на полу своей комнаты в гостинице, в странном положении. Как если бы перед тем он стоял на коленях, потом не разгибая ног повалился навзничь. Увидев, как он так падает, я подумал, ведь это трудно, нужна гибкость, а папа уже старый. Но тут я заметил, что в то время, когда он так падал, он был совсем молодой. Это был мой брат, только более взрослый, чем когда он умер.

Потом я вернулся к себе. Я жил в большой комнате в той же гостинице, но на другом далёком конце её. Нужно было даже перейти какой-то внутренний двор, окруженный полуразвалившимися постройками.

В моей комнате было много народу, все куда-то собирались, а я всё думал об отце. Мне начало казаться, что он может быть не умер, а только потерял сознание. Я вернулся в его комнату. Он лежал на полу всё в том же положении. Я нагнулся над ним подложить ему под голову подушку, которую я взял с его постели. Теперь я увидел, что на самом деле его ноги были вытянуты наискось под кроватью, а под головой у него лежало несколько книг — маленькие томики в картонных переплетах. Приподняв его голову и подкладывая

подушку, я поцеловал его в щёку, говоря «папочка милый, я так тебя люблю». Я даже в детстве не называл его папочкой и уж никогда бы не сказал «папочка милый». Но это так одна маленькая девочка говорила и я подумал, что если я скажу, как она, это лучше выразит охватившее меня чувство к отцу.

Мне стало радостно, что я способен на такой порыв любви и жалости, значит, у меня всё-таки есть душа. Когда я его поцеловал, отец сейчас же стал дышать, очнулся и улыбаясь посмотрел на меня. Меня поразило как легко, как сразу произошло это возвращение к жизни. Он сказал мне, но как-то без слов, что он умер, потому, что не знал, что я его так люблю, а теперь когда знает опять будет жить.

Вернувшись к себе, я всё думал, почему, хотя мы живём в одной гостинице, я никогда его не встречаю. Правда, гостиница была такая большая, несколько главных зданий и бесконечные пристройки. И отец верно всюду бывает со своими друзьями, людьми его возраста. Ему с ними интересно и приятно. Они вместе завтракают, вместе прогуливаются, вместе ходят в театр и на собрания. Хорошо воспитанные, по-старомодному одетые мужчины и дамы. Я даже преувеличил: я видел их в костюмах чуть ли не тургеневского времени. Жизнь моего отца в их обществе подробно мне представлялась, словно я читал о ней в многотомном романе.

Мне было интересно, что бы отец подумал, если бы увидел меня теперь. Ведь мне самому уже давно за пятьдесят. Понравилось бы ему, какое я занял теперь положение. Такое же как у него прежде. Я так же остроумен как он, так же хорошо умею рассказывать, все с таким же интересом и уважением меня слушают. Я знал, что на самом деле это не так, что это только в этом сне я похож на моего отца, и всё-таки подумал, а вдруг бы он мне позавидовал, что я как бы занял его место.

Потом все собрались ехать на какие-то состязания. На дальнем поле наша команда играла против неприятельской. Ехали в почтовых каретах. Сидели даже на империалах, как в Париже в день «драг». Первая карета уже тронулась. Какой-

то молодой человек, — я помню, в гимназии, в Чехии, он был на класс младше меня, — соскочил с козел, стремительно подбежал ко мне сказать, что уже едут. Но я решил поехать со следующей партией. Меня беспокоило, что я опять давно не видел отца. Вдруг всё-таки что-то случилось с ним и он не поедет? Нужно пойти взглянуть.

Я помнил, что его комната в главном здании. Но в этом отеле было столько коридоров, переходов, комнат. Я уже чувствовал с беспокойством, уже знал, что не найду дороги.

Мы стоим в церкви на панихиде. Я не чувствую горя. Я знаю отец умер, но не могу вообразить его смерти. Он умер так далеко и я не знаю о его смерти ничего достоверного. Но когда нужно было подойти проститься с покойником, я вдруг понял: это действительно тело моего отца, его сюда привезли. Сейчас я увижу в гробу его мёртвую голову. Я почувствовал ужас. Вернее, я заставил себя содрогнуться от ужаса и горя, вспомнив, что так принято на панихидах и чтобы доказать себе и другим, что я всё-таки не совсем бесчувственный. У меня стала судорожно кривиться левая сторона лица, к глазам подступили слезы. Я взглянул на Катю, или это была Мария, проверить видит ли она, как я сильно чувствую горе. Ещё во сне, не просыпаясь, я подумал, что такими горячими слезами я плакал в последний раз, когда умер Юра.

Брат заболел в Чехии, где мы учились в русской гимназии. Ему становилось всё хуже. Папу вызвали тогда из Константинополя. По дороге в наш гимназический лазарет, где лежал Юра, отец спросил меня почему я такой угрюмый. Я в первый раз услышал, что я угрюмый. Не зная, что ответить, я сказал: «это потому, что Юра болен». Старшая сестра милосердия встретила нас у входа в лазарет. По тому, как она посмотрела папе в лицо и молча поцеловала его в губы, я понял, что брату очень плохо.

В тот день хоронили другого мальчика. У него тоже был минингит, как у брата. Говорили — это эпидемия. Отец этого мальчика, известный генерал, опоздал на похороны, его поезд

где-то задержался. Меня поразило выражение отчаяния на лице папы, когда он шел за гробом, и как он не стесняясь громко при всех всхлипывал. А ведь он никогда этого мальчика прежде не видел. Я всё ещё не понимал.

На следующий день меня позвали проститься с братом. Перед тем меня долго к нему не пускали, боялись заразы. Брат смотрел на меня не своими обычными добрыми и бесхитростными глазами, а глубоко запавшими, горячечными. Я не понимал узнаёт ли он меня. Мне не приходило в голову, что брат может меня не узнать. И он не мог говорить. Этого я тоже не ожидал. Он обессиленно отвернулся с выражением, в котором мне почувствовалась жалоба на что-то, — я не знал как назвать, — что не давало его сознанию удержаться в жизни.

Потом меня послали принести воскресную одежду брата. Выходя из лазарета я встретил ученицу старшего класса, одну из многих, которые мне нравились. Я с тщеславным удовольствием почувствовал на себе её любопытный взгляд. Мне было приятно, что она смотрит на меня, как на участника события, печального, но важного и торжественного. Я почувствовал себя почти героем.

Придя в дортуар, я начал, присев на корточки, вынимать из тумбочки вещи брата. Все были в классе на уроках. Только один ученик по прозвищу Лорд, почему-то остался. Он подошел ко мне и стал распрашивать. Подражая тому, как папа об этом рассказывал, я рассказал ему, что генерал, отец мальчика, не успел приехать. Лорд с досадой воскликнул, что вот так всегда бывает, генерал не застанет сына в живых, а мой отец приехал, хотя это не так было к спеху, так как мой брат не так опасно болен.

Тогда я сказал: «нет, он тоже умер», и вдруг слёзы хлынули у меня из глаз и я не мог удержаться и плакал навзрыд. Лорд стоял надо мной с неприятной улыбкой замешательства.

Сколько я себя помню, брат всегда был со мной, с самого начала. Я не мог представить себя без него. И я никого так не любил. Он был только на год старше меня, но гораздо вы-

ше и сильнее. Это не мешало полному равенству. Мы никогда не ссорились. Он всегда мне уступал. Нам было весело вдвоём. Мы вместе играли и читали одни и те же книги. У нас была общая комната, нас даже одевали одинаково. Мне в голову не приходило, что брат мой мог думать и чувствовать по другому, чем я. Мы были с ним, как бы одно, но двойное существо, — «мы, мали», — с общими чувствами, восхищениями и воспоминаниями.

Вот мы возвращаемся с Балтийского моря. Мы с братом смотрим в окно. Я думаю: почему телеграфные столбы так быстро мелькают, в то время, как поля и перелески поворачиваются, как плавная карусель, а дальняя полоска леса всё как бы выбегает вперед. За этой полоской среди голубых холмов горит голубой купол. Сквозь разверстые дымные облака на него падает с неба косой столб света. Его долго было видно. Гувернантка сказала, что это знаменитый монастырь, куда приходят «паломники» со всех концов России. Значит и сейчас они там молятся. Мне неясно казалось, что этот купол так ярко и грозно пылает, — как звезда, как маяк, — не от солнечных лучей, а изнутри, от горячих молений собравшихся там богомольцев. И мне чудилось, что этот монастырь с неугасимо горевшим куполом и вся даль вокруг него были чем-то таинственно и торжественно ознаменованы.

Замедляя ход, поезд проезжает мимо какого-то полустанка. Домик с чахлым садиком, дерево, шлагбаум. Вот от домика побежал за поездом толстопузый белоголовый мальчик в одной развевающейся красной рубашке. С нахмуренным и решительным видом: «ещё посмотрим кто кого перегонит», он быстро перебирает по пыльной дороге босыми ножёнками, но кажется, что почти не двигается. Около него, заливаясь отчаянным лаем, прыгает косматая собака.

Но поезд идет все быстрее и быстрее, дорога, по которой бежал мальчик, стала отходить в сторону, и, как я не выгибал шею, мальчик и собака исчезли из виду и срезанный косогор, подымаясь всё выше, заслонил окно.

Этот мальчик необыкновенно нас поразил. Мы годами потом с восхищением вспоминали, как он бежал в своей крас-

ной рубашёнке. «Роковая рубапоня», — говорил брат или я и мы улыбаясь переглядывались с понимающим видом, как переглядываются посвящённые в какое-то важное и радостное знание, скрытое от всех остальных.

Таких общих воспоминаний у нас было много. Но со смертью брата они наполовину перестали существовать и я их постепенно забыл. И даже особые слова у нас были, понятные только нам.

Разбирая недавно старые бумаги и фотографии, я перечитал письмо, написанное мною брату за несколько месяцев до его смерти. Он почему-то сохранил это письмо и теперь оно у меня. Брату тогда только что сделали в Праге операцию. У него была грыжа. Мне было в то время почти уже шестнадцать лет, а я всё ещё писал ему на нашем детском языке: «Дорогой Юк, милый мой единственный браточек. Скоро ли ты ко мне приедешь, а то я совсем зачах с тоски. Почто я Вуком уродился, почто я Юку не взлюбился? зато теперь погиб, погиб. Пошёл в страну я требушков...» Требушков? Я вдруг вспомнил. У нас была игра. Когда гувернантка, потушив свет, уходила к себе в комнату, мы шопотом рассказывали друг другу о приключениях особых круглых, пушистых существ. Их то мы и называли требушками. Они жили в своей особой стране, нашей стране. Мы тоже были требушки. Но я не уверен, откуда взялось у нас это слово.

В Булине мы снимали дачу у рижского немца или латыша Густава Генриховича. У него была собака, рыжий сеттер Кая. Она часто приходила в наш сад. Мы её очень любили. У неё была длинная, шелковистая шерсть и она была ласковая, но рассеянная, будто всё о чём-то другом думала. Помахивая хвостом, она равнодушно позволяла себя гладить, а сама всё поглядывала в сторону. Мы напрасно пробовали ее удержать. Без всякого усилия освобождаясь из наших рук, она уходила куда-то по своим таинственным делам, озабоченно обнюхивая перед собой землю. До сих пор помню, как мои ладони скользили по её неудержимо движущемуся прочь, узкому, ребристому туловищу. Всё равно, как если бы теперь я попытался удержать лошадь, обняв её руками.

У Густава Генриховича были ещё кролики. Однажды его старший сын Франц позвал нас на двор их дачи. Он привел нас к огороженному проволочной сеткой месту, где у них сидели кролики. Но теперь кроликов не было, а вместо них лежало несколько мерзостных лиловатых клёцок. Франц мрачно сказал, что это и были кролики, всё что от них осталось. Кая ночью подкопалась и съела их. Заметив наше недоумение Франц сказал: «Это их требуха». Потом, когда я смотрел на Каю, я испытывал странное чувство, в особенности, когда она облизывалась.

Неужели это от этого слова требуха, которое мы тогда услышали в первый раз и пошли наши «требушки»? Каким образом оно соединилось в нашем воображении не с этими мерзкими оглодками, а с пушистыми, славными «зайчиками», какими они были прежде?

Когда я рассказывал брату, я все ждал, что опять будет, как когда я в первый раз рассказывал. Я не помнил точно, что это было. Какая-то история о наших приключениях в стране требушков. Сначала я знал, что выдумываю, но вдруг случилось что-то, — мой рассказ стал жизнью. Я уже не выдумывал, а вместе с братом участвовал в этой волшебной жизни. Кажется мы умели летать и жили с папой в большом гнезде. Нам так хорошо было вместе, так радостно. Потом, когда я рассказывал брату или слушал, как он рассказывает, я всё ждал, что опять вернется это чувство восхищения, любви и счастья. Но я с недоумением видел, что с нашими рассказами больше не происходило чудесного превращения. Я даже не мог точно вспомнить что же тогда было? Может быть только приснилось мне? Теперь мне кажется вся моя жизнь потом была ожиданием, что это повторится.

Я сердился, что брат засыпает, не хочет больше играть. Без него наш мир требушков переставал существовать. Шопотом, чтобы не разбудить гувернантку, спавшую в соседней комнате, я настойчиво спрашивал: «Юк, ты уже спишь?». В ответ он слабо мычал сквозь сон. Я оставался один в темноте.

Странно днём я почти никогда не думаю о брате. Дома мы не говорили о его смерти. Это было слишком большое горе, чтобы можно было о нём говорить и думать. Так при мигрени стараешься лежать не шевелясь, чтобы не всколыхнуть боль. Даже когда почему-либо мне случалось вспоминать брата, я сейчас же заставлял себя думать о чём-нибудь другом. Это легко было: какой-то механизм самосохранения во мне действовал, заглушая мысли о его смерти. Впрочем никаких мыслей и не могло быть. Разум останавливался перед противоречием между продолжавшейся жизнью и несовместимым с жизнью ужасом уничтожения брата какой-то бессмысленной беспощадной силой. Если думать об этом, — нельзя жить.

И брат так мучился перед смертью. За что? Он был такой добрый, никому не делал зла.

Запретив себе говорить и думать о смерти брата, так как я его слишком любил, я постепенно начал его забывать. К старости любовь к нему умерла во мне, как умерли все мои прежние чувства. Могу писать теперь о его смерти с тупым равнодушием. Даже забочусь, чтобы художественно вышло.

И так же равнодушно я смотрю на маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб в венках, на лентах надписи: «дорогому Юрочке от 8-го класса» и ещё от каких-то классов, не разобрать. К длинным окоченевшим пальцам прислонён крест. Брат был не по летам высокий, а во время болезни еще вырос. Говорили, что в городе с трудом нашли достаточно большой гроб. На другой карточке мертвая голова брата с восковыми веками и с длинными будто подведенными ресницами. Заострившийся, незнакомый, не такой как при жизни нос. Папа тоже на это обратил внимание. Он всегда в шутку говорил, что у брата нос «сапожком», а в гробу у него был нос с горбинкой. И всё строгое лицо — чужое. Мы так близки были, я всегда думал, — мы одно, а ведь на самом деле я совсем его не знал.

Но когда я вижу брата и отца во сне, я чувствую такую же любовь к ним, как когда они были живы, и меня охватывает радость от их присутствия, хотя я почти всегда знаю,

что с ними случилось что-то непоправимое, сделавшее их не такими, как все другие люди.

Я никогда не говорил и не думал о брате, но впечатление, произведенное его смертью, продолжало жить во мне, хотя в то время я не только не мог выразить его словами, но даже вместить разумом. Много лет спустя, когда я впервые прочел у Карлейля в «Сартор Резартус», что небо и земля казались его герою огромными челюстями какого-то всепожирающего чудовища, я подумал, что это нелепое на первый взгляд сравнение ближе всего передаёт мое тогдашнее чувство.

Вскоре после похорон я поехал на побывку в Прагу, где поселились тогда мои родители. Я умолил их меня выписать. Гимназия с уроками, учителями и однообразным распорядком дня невыносимо мне наскучила. Мне что-то необыкновенно счастливое и радостное представлялось, когда я думал об этой поездке. Но в Праге на меня вдруг нашла тоска. Даже ещё скучнее показалось, чем в гимназии. Я не мог вспомнить чего я ждал, чего хотел. Но когда я вернулся в гимназию и увидел давно опостылевшие бараки и знакомые лица гимназистов и учителей, тоска не только не прошла, а ещё усилилась.

С тех пор припадки рассеянности находили на меня всё чаще, сопровождаясь чувством беспричинной грусти, беспокойства и сожаления. С годами это развилось в настоящий душевный недуг.

Сколько лет я был болен, сколько лет постоянно думал о моей болезни и всё-таки не мог её описать, не находил слов. Мысль останавливалась перед устрашающей пустотой. Я начинал чувствовать внутри себя такое же молчание, как в окружающих предметах, такое же отсутствие значения.

Я рассказал об этом знакомому, который занимался философией. «Я понимаю, — воскликнул он с неожиданным для меня раздражением, — чем мучились Толстой и Достоевский, какие вопросы их волновали, но никак не могу понять о чём тоскуют современные молодые люди».

Я растерянно молчал, не зная, что ответить. Ведь мучи-

тельность этого состояния отчасти в том и заключалась, что его невозможно было определить, в нём не было никакого мыслимого содержания.

Но именно может-быть потому, что я так мучился, я всё не терял надежды. Мне почему-то казалось, что мне откроется «загадка жизни».

Я прекрасно знал, — ни одному мудрецу, ни одному учёному она не открылась. Несколько тысячелетий напрасно бились. На что же я надеялся? Ведь я даже философией никогда по-настоящему не занимался, не мог сосредоточиться, не мог следить за сложными рассуждениями, и всегда так плохо себя чувствовал, так быстро уставал. И всё отвлекали вечные сладострастные мечтания. А потом пошли заботы, как жить, как зарабатывать деньги, — я ничего не умел делать. И даже, если мне иногда удавалось понять и запомнить какое-нибудь отвлечённое рассуждение, взглянув на небо, деревья, дома, я чувствовал несоизмеримость этого рассуждения с их молчаливым присутствием.

Но достигая наибольшего напряжения моя тоска соединялась со странным мечтанием. Что-то вдруг происходило с моими восприятиями. Мне мерещилось: — природа **смотрит** на меня с таким видом, будто хочет открыть мне что-то непостижимо присутствующее **по ту сторону** её. Мне казалось: ещё мгновение и я всё пойму, мои недоумения рассеются, и наступит какая-то небывалая блаженная радость. Правда, она никогда не наступала. Напрасно я старался удержать это чувство приближавшегося восхищения, вглядеться как оно зарождается в глубине моего сознания. Я ничего не находил. В головокружении пустоты оставалось только невыносимое чувство остановки жизни и неизвестности моего существования.

Но я не мог забыть этих мгновений. Пусть они были признаком ослабления во мне способности жить и действовать, по сравнению с этим необъяснимым ожиданием всё казалось неважным. Только если бы я мог сосредоточиться ещё немного...

Потом, когда я прочёл Пруста, я решил, что всё то не-

ясное, что чудилось мне в эти мгновения рассеянности — это и было предчувствием «найденного времени». Значит вовсе не нужно быть святым или мудрецом, чтобы с несомненностью почувствовать свою неуничтожимость. Конечно, Пруст был гениальным писателем. Он съумел это описать. Но ведь чувствовать так может каждый. Значит мои ожидания не были совсем бессмысленны.

Однажды на обеде у знакомых я разговорился об этом с известным писателем. Его все считали очень умным. Тонко и самодовольно усмехнувшись, он сказал: «когда Пруст описывал прием у мадам... ну, как её там? это у него хорошо, это у него от Толстого, когда у Анны Шерер гости, но когда он ест мадленку и ему что-то там мерещится, эти штучки мы знаем, нас на этом не проведёшь».

Заметив по моему лицу, что я с ним не согласен, он посмотрел на меня сердито и повернулся за одобрением к другому писателю, сидевшему с ним рядом. По прежним замечаниям этого другого писателя я думал, что он такой же поклонник Пруста, как я, но, к моему сожалению, он поспешно согласился с умным писателем. С засветившимися глазами, словно внезапно увидев что-то, чего раньше не мог рассмотреть, он сказал: «да, конечно, как это верно!»

— Ещё бы, — сказал умный писатель с прежней самодовольной усмешкой.

Но один мой приятель понял меня с полуслова. Мы учились с ним в той же русской гимназии в Чехии, но он был на класс младше и я его совсем не помнил. Познакомились мы только в Париже, на «русском монпарнассе». Не знаю почему я рассказал ему, как я ездил тогда в Прагу. Он с волнением воскликнул: «Я так хорошо это понимаю, я сам это испытал, — и беспричинную тоску и ожидание чего-то, и чувство, что нужно куда-то ехать, сам не знаешь зачем и куда, но обязательно нужно. Может быть, чтобы увидеть и вместить весь мир. Но я не в Прагу только, я по всей Европе поехал и никогда больше не возвращался в гимназию. Сколько приключений было! Вот когда я приехал в Вену. Выхожу с вокзала: ночь, незнакомый таинственный город, я никого не знаю и

денег почти совсем нет. Полная неизвестность, что будет. Представляете? Но так хорошо, такое повышенное чувство жизни...»

По мере того, как он рассказывал, глаза у него блестели всё оживлённее и на лице появлялось восхищенное выражение. Я подумал, что может быть совсем другое чувство, чем моё беспокойство, гнало его тогда из страны в страну.

Его звали Аля Мейриген, барон фон Мейриген. Потомок старинного рыцарского рода он прекрасно говорил по-французски, по-немецки и по-английски, был в родстве чуть ли не с половиной европейской аристократии, но считал себя только русским, писал по-русски рассказы и декадентские стихи и даже состоял в партии русских монархистов-легитимистов.

Мы гуляли с ним вечером по Променад де з'Англэ. Он был красивый, тоненький, изящный, совсем еще мальчик с виду, хотя тогда ему вероятно было уже около тридцати...

Он рассказал мне, что пишет повесть о пожилом господине, к которому каким-то чудесным образом вернулась молодость. «Подумайте, какое это счастье, проснуться утром и вздохнуть чистыми, не закопчёнными многолетним табачным дымом лёгкими», — сказал он с выражением зависти и восхищения, которого я тогда не понял.

Во время войны Аля умер от чахотки. Так странно думать, что его больше нет нигде на земле. Где-то на кладбище догнивает его тело, но что стало с тем восхищением перед миром, любовью и стихами, которое наполняло всё его существо. Словно он попал на землю с какой-то другой планеты, где в сердцах людей не было ни земных забот, ни земной злобы. Нехорошо, что я так редко его вспоминаю. Равнодушие к смерти встретившихся в жизни людей... всегда только мысли о себе... А ведь судьба настолько больше отпустила мне лет. Но ведь я не виноват, что он так рано умер. И эти лишние данные мне годы так нелепо и быстро прошли, действительно оглянуться не успел...

Стараясь описать этот давний разговор с Алей, я вдруг вспомнил приснившийся мне несколько дней тому назад сон.

Мы приехали в Ниццу на пляж Фаброн Суперьёр. Показывая на выступавшую в море круглую скалу мыса, я сказал Марии: «вот посмотри, через эту гору мы ходили купаться на соседний пляж». И действительно я увидел, как там над обрывом над морем идут гуськом молодые люди и девицы. Тропинка совсем узкая, — чтобы не упасть нужно держаться руками за выступы. Но им весело: они смеются, шутят. А я всё боялся оступиться и полететь вниз на камни. Ни за что бы теперь не пошёл.

Я вспомнил: это место, куда я приехал во сне называлось вовсе не Фаброн Суперьёр, а Калифорни. Аля там жил и мы с ним там купались на бесплатном пляже. А Фаброн Суперьёр это горная дорога из Ниццы в Монте-Карло. Она начиналась на другом конце города. Нет, то Корниш Суперьёр. Но во всяком случае на Калифорни никакой скалы не было. Эта скала вероятно попала в мой сон из воспоминания о каком-то другом пляже, может быть, Сан-Клер отдаленном от Лё Леванду холмом Кап Негр. Еще я вспомнил, — мне и прежде много раз снилось: я иду через гору на дальний пляж. Я знаю там ждёт меня счастье. Но я всё не могу дойти, и вот море отступает, мелеет, больше нельзя плыть.

Мне стало скучно вспоминать. Это верно старость. Я всё чаще замечаю в себе равнодушие ко многому, чем раньше восхищался. Ведь я так любил Средиземное море. Когда мы в первый раз приехали в Жуан-лё-Пен, меня будто в сердце что-то ударило. Уже перед Марселем, когда я увидел огромный пасмурный простор Этан дё Бер, я почувствовал волнение. Но я не мог понять море это или озеро, или лиман. А за Марселем временами показывалось в окне вагона уже настоящее тёмно-синее море, ослепительно сверкавшее на солнце. Перед тем я не был на море много лет и смотрел теперь с таким волнением, будто в первый раз видел.

Потом пошли уже дачные места, кипарисы, пинии, смоковницы кирпично-красная земля. В открытые окна веял жаркий южный воздух. Здесь небо начиналось не где-то за крышами дальних домов, как в городе, а сразу за окном. Но в этой нагретой солнцем светлой бездне было не страшно,

а радостно. На какой-то маленькой станции на перроне стояла молодая загорелая женщина с купальным халатом на бессмертно круглой, как у греческой статуи, руке. Я сказал себе, — если бы не бедность я вернулся бы на эту станцию и объехал бы все дачные места на побережьи, и в каждом бы остановился хотя бы на несколько дней. Это была всегда снившаяся мне страна, где жили счастливые люди.

Я не помню как мы приехали в Жуан-ле-Пен, как искали пансион подешевле. Но до смерти буду помнить молочно-голубое сияние моря, когда на следующий день я вышел утром на пляж. Майское солнце ещё не пекло, а блаженно грело. Ничего более прекрасного, желанного я не мог вообразить. В раю не могло быть лучше.

Но всё это так давно было. Сколько событий с тех пор произошло, сколько миллионов людей погибло. А я всё живу. Удивительно.

Когда началась война и меня как апатрида призвали во французскую армию, я почти с любопытством ждал первого боя. Между тем я не мог думать о войне без чувства тоскливого ужаса. Когда в книгах и старых журналах мне попадались фотографии, снятые на полях первой мировой войны, я повторял из Ходасевича: «проклятье вечное тебе четырнадцатый год». Миллионы убитых, миллионы убийц, разрушенные города. Чудовищный, нечеловеческий бред, чудовищная катастрофа. И теперь опять все повторится. И всё-таки я с безумной надеждой ждал, что страдания и близость смерти дадут мне силы увидеть наконец то, что чудилось мне в эти мгновения рассеянности.

И действительно в начале войны я сделал самую серьёзную в моей жизни попытку поверить. Это было когда я в первый раз попал в воздушную бомбардировку. Сначала мне было страшно, а потом вдруг я совсем перестал бояться и мне показалось, что за всем что происходит начинает проступать что-то **другое,** чего я всегда ждал...

Что-то похожее повторилось ещё раз, после того как в

Булонь-сюр-Мер я со всем гарнизоном попал в плен. Несколько дней нас гнали под палящим июньским солнцем по дорогам Бельгии. Мы проходили разрушенные, ещё горевшие города. Пить и есть почти совсем не давали. А перед тем две недели боев и отступлений, без отдыха, без сна. Никогда в жизни я не был так измучен. Тяжёлая усталость всё больше заглушала отчаянье от мысли, что всё, что я считал добром, потерпело поражение.

У всех нас был верно очень жалкий вид. Я понял это потому, как подтянутый немецкий офицер в фуражке с высокой тульей, пропуская нас иронически говорил: «Passez messieurs».

Особенно презрительное ударение он делал на слове messieurs. Он смотрел на нас со злорадным и холодножестоким выражением, не обещавшим ничего доброго. Но потом на дороге попался другой немецкий офицер, который всё повторял с расстроенным видом: «впереди много воды». Французское beaucoup d'eau он выговаривал «пооку то». Высокий, круглолицый, он напоминал мне какого-то русского интеллигента, особенно покойного Аркадия Аверченко, которого я знал в Праге.

Мы пришли в какую-то полуразрушенную деревню и остановились на площади. Никто точно не знал чего мы ждём. Говорили будто другую такую же колонну пленных. Сесть на землю не разрешали. Впереди, через ряд от меня, стоял высокий сухощавый человек в английской форме. В руке он держал за горлышко графинчик с водой. Ничего кроме этого графинчика у него не было, ни подсумка, ни шинели, ни одеяла. Я слышал, как на хорошем французском языке он рассудительно объяснял французам, что так как немцы озлоблены против англичан и обращаются с английскими пленными гораздо хуже, чем с французскими, он решил итти с французами. Почему-то мне казалось, что он верно не настоящий англичанин, а русский эмигрант. Но из-за усталости и застенчивости я его не спросил.

Время шло. Торжество солнечного жара усиливалось. Под высоким небом полуразрушенные островерхие дома и

наша длинная колонна на площади чем-то напоминали мне картины «Старого» Брегеля. Я видел всё с необыкновенной отчетливостью. Ничего удивительного тут не было в такой погожий день, — воздух был чудно прозрачен. Но мне что-то сверхъестественное представлялось в этой ясности, какое-то обещание, приглашение увидеть что-то, что должно было сейчас открыться. Перед тем мне всё мерещилось, что из-за угла длинного серого дома на краю площади уже показывается голова другой колонны. Но теперь я вдруг **вспомнил:** вовсе не этого ждут, а чего-то не имевшего ничего общего с войной: сейчас объяснится тайна жизни. Именно этого ждали. Опять, как когда я лежал под бомбами, за всем окружающим начинало проступать что-то сокровенное, к чему так давно стремилась моя душа. Преграда всегда мешавшая мне видеть исчезла. Я подумал, это потому так, что я скоро умру, может быть уже умираю. Но от этой мысли мне стало не страшно, а наоборот радостно.

Меня вывели из рассеянности крики немецких конвойных. Головы и плечи стоявших впереди заколыхались и двинулись.

Потом в плену это прошло. Страстное желание дожить до разгрома Гитлера завладело мною с такой силой, что метафизические вопросы больше не приходили мне в голову. Но когда после войны я вернулся в Париж и возобновилась моя прежняя жизнь отверженности, скуки и сожаления, на меня опять начало это находить: рассеянность и ожидание чего-то, как когда я лежал под бомбами.

Я не знал чему верить. Ведь собственно ничего тогда не произошло. Только какое-то недостоверное предчувствие. Но по сравнению с этим предчувствием всё мне теперь казалось скучным, неважным.

Говорят авитаминоз, недоедание, интоксикация, всё вообще, что нарушает обмен веществ, способствует появлению анормальных восприятий. Значит всё объяснялось моей тогдашней усталостью. Какая же цена тогда этому?

Я не знал, что возразить на эти доводы, подсказываемые здравым смыслом, пока не прочёл, как Ульям Джемс изучал состояние вызываемое вдыханием протоксида азота. Он писал,

что это состояние сопровождалось у него чувством напряжённой метафизической иллюминации. Истина открывалась ему «в бездонной глубине почти ослепляющей очевидности». Джемса упрекали в попытке постигнуть божественное при помощи физического опыта. Но по мнению Бергсона, для Джемса внутреннее откровение вовсе не было психологическим эквивалентом протоксида. Оно уже прежде существовало у него в душе, интоксикация же только устраняла преграду, мешавшую этому состоянию проявиться. Значит истощение и усталость не были «адэкватной причиной» испытанного мною тогда чувства, а только помогли ему дойти до моего внимания.

Мне самому никогда бы не пришло в голову так поставить вопрос. Верно и многие другие доводы против веры только потому мне кажутся неотразимыми, что у меня нет находчивости, нет способности сосредоточиться, чтобы увидеть глубже.

Несмотря на всегдашнее мое мечтание почувствовать очевидность, о которой писал Джемс, я никогда не пробовал вдыхать протоксид азота. Не хватало энергии, смелости. Хотя Джемс писал, что это безвредный опыт, какая-то нерешительность, лень меня одолевали. Я даже не знал что это такое протоксид азота. Но главное, меня больше убеждало, что были люди, которым эта очевидность открылась без протоксида азота. Как то французская монахиня, которая на вопрос почему Бог допускает зло ответила: «Не знаю. Я думаю, этот вопрос не может быть разрешен человеческим разумом. Но интуитивная невыразимая уверенность, что Бог нас любит и что Он здесь, рядом, устраняет все умственные сомнения. Радость этой уверенности сильнее смерти и страданий. Не знаю как, но я знаю, что над ужасным злом этого мира, есть царство правды, добра и красоты, подобное свету без тени. Я знаю, что эти мучительные вопросы там разрешены, не знаю как».

Не веря богословским рассуждениям, я верил, что радость, о которой говорила эта монахиня, не могла быть обманом. Чем больше меня давило сознание, что смерть делает все бессмысленным, тем больше я верил. Потому-то я и при-

давал такое значение тем мгновениям рассеянности, когда мне вдруг начинало казаться, что сейчас мне все откроется. Пусть я только убеждал себя в этом, пусть слишком неуловимо, слишком недостоверно было всё, что чудилось мне в эти мгновения. Всё таки благодаря им я мог представить, как может наступить это состояние уверенности. Правда, я никогда его не испытал. Но я не жалел об этом. Мне всё чаще приходила мысль, что если это царство добра действительно существует, оно должно **прорости** сквозь земную жизнь, для всех людей...

Владимир Варшавский

КОНЬ

«Конь казаку всего дороже
И ты, мой сын, им дорожи».
А. Туроверов (1858)

1

«Что, мой друг, не весел,
Что грустишь, моя краса?
Я в торбе тебе навесил
Золотистого овса.
Что не ешь его проворно,
А, мотая головой,
Вкусно пахнущие зерна
Рассыпаешь пред собой?
Иль меня ты, друг, не слышишь,
И заветный сахарок
Не берешь, а только дышишь
На протянутый кусок.
Не кусаешь, в шутку, руки,
Не балуешься со мной, —
Иль почуял день разлуки,
Мой товарищ дорогой?»

«Нет, хозяин, я не болен!
Рад служить я казаку;
Но развеять ты не волен
Лошадиную тоску.
Для меня давно не тайна,
Что сегодня ты принес
Лишь с похмелья и случайно
Этот сахар и овес.

Обо мне ты забываешь,
Подъезжая к кабаку,
Одного меня бросаешь,
Бросив повод на луку.
Долго жду тебя на вьюге
У заснеженных перил, —
Сколько раз мои подпруги
Отпустить ты позабыл?
А потом, хвативши водки,
Зря вихляясь на бока,
Ты меня к чужой молодке
Гонишь вскачь от кабака.
Запотелый круп дымится
В непогоде ледяной,
И смеется вся станица
Над тобой и надо мной».

2

Страшное дело. Черная ночь.
С ведьмой жила чернооkая дочь.
Дева была холоднее, чем лед, —
А под окошком всю ночь напролет,
Старая ведьма водила коня:
Конь мой, потом, не глядел на меня.

3

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой.
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою...
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо:
Покраснела чуть вода.
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Николай Туроверов

О ЖИВОТНЫХ В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

"IN ANIMA VILI"

Изучение природоописаний и чувства природы, после трудов А. Гумбольдта и В. Лапрада, вошло прочно в историю и теорию литературы древней и новой. Однако, описания животных, как части живой природы, почти не привлекли к себе внимания исследователей. В диссертации С. Сэллса[1] можно найти основную литературу по этому вопросу. Животные в древнерусской литературе и их изображение в Физиологах и Шестодневах (Шестодневцахъ) хорошо и подробно разобраны в двух смежных работах проф. Н. Дурново;[2] русская критика не раз писала, правда довольно поверхностно, о прекрасных описаниях животного мира у И. Крылова, в трудах С. Аксакова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Куприна, М. Пришвина и др. Действительно, как не сравнить, напр., «Холстомера» Толстого и «Изумруда» Куприна — их жизнь и смерть! Исключительно важна и Библия, ее изречения о быке, лошаке, коне, ослице, льве, олене, серне, корове, медведе, тигре, псе, воле, змее, орле, страусе, свинье,ките и шакале, столетиями влияли на каждую европейскую литературу, вместе с Аристотелем и другими античными писателями. В древне-русской письменности, в рукописях уже XI-XII вв. среди заставок,[3] заглавных букв, мотивов так наз. плетения, находим изображения коня,

---

[1] **Lytton A. Sells: Animal Poetry in French and English Litterature and the Greek Tradition. Bloomington, 1955.** См. там же о влиянии взглядов Аристотеля, Декарта, Гассенди и др. См. тоже **J. Bernhart: "Heilige und Tiere". 1937, pp. 52 ff.**

[2] «К истории сказ. о животных в стар. рус. литературе», стр. 45, 58, 116-117 сл.

[3] Ср. А. Некрасов: «Древне-русское изобразительное искусство». 1937. — А. Свирин: «Древн. миниатюра». 1950, стр. 35 сл. и Л. Черепнин: «Русская палеография». 1956, стр. 168 сл.

барса, журавля, орла, фазана, павлина, сокола, ворона, льва, львицы, медведя, собаки, кошки, волка, змеи, грифона, единорога и некоторых других зверей и птиц. Лошадь, конь находит для себя чудесные и живые эпитеты: дикий, борзый, иноходец, быстрый, великий, поводный, товарный, ездовый, бесовский и др. Звери, кони и птицы движутся, ржут, кричат, стрекочут, воют в «Слове о полку Игореве» и в русском былевом эпосе, в фольклорных повестях и сказках.

Рассматривая описания животных у писателей XIX века необходимо иметь в виду следующее: 1) следы фольклорно-языческого, народного подхода к «благодарным», вещим, или басенным животным, к их повадкам и характеру; 2) научно-философское, книжное направление, часто тоже полное «фантазий»; 3) библейско-житийное и сентиментально-агиографическое; 4) писательско-художническое. Все эти пункты следует иметь в виду, говоря о писателе девятнадцатого или двадцатого столетия.

В творчестве М. Лермонтова мне думается важно выделить четыре стороны в его подходе к изображению животного мира. 1) животные — поэтические символы; 2) они же — части дикой, свободно-романтической природы, предмет наблюдений и охоты; 3) друзья и слуги человека, средство передвижения; 4) подход, связанный с первым пунктом, звери, животные, птицы и т. п., как предмет для сравнений с мертвой природой и чувствами человека: змеятся реки, тропинки, облака; в груди героя «тоска-змея» и тому подобное. Исследуя животный и пернатый мир в произведениях поэта, я особенно подчеркиваю повторяемость, постоянность и излюбленность ряда образов, взятых Лермонтовым из живой природы.

Животный мир Лермонтова богат, красочно-разнообразен, весь в движении и звуке, в красноречивой страстности его бурного стиха и среброкованной прозы. В юношеской драме "Menschen und Leidenschaften" читаем: «Животные бессловесные счастливей нас: они не различают ни добра, ни зла; они не имеют вечности, они могут...» Его произведения говорят и о России и о Кавказе («Боярин Орша», «Вадим», «Мцыри» и др.). Поэт о зиме говорит, как «На заре лишь заяц крадется к норе, и прыгая назад, вперед, свой след запутанный кладет»; «Медведь сосет свою неистощимую лапу», крадется «красный зверь».[4] На Кавказе поэт слышал, как «шакал кричал и плакал, как дитя»; до его слуха, чутко-настороженного слуха писателя и охотника, доносится «отвратительный крик филина»,

[4] Волк, лиса, барсук, медведь и т. п.

а в небесах кричат орлы, щебечут ласточки, несутся станицы журавлей... Ночью послушник-Мцыри видит, как на лесной поляне

«Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливала серебром...»

Начинается отчаянно-жестокая схватка с барсом и барс начинает выть, как выли барсы, описанные ранее в «Аул Бастунджи» и как воет у Л. и река: «Терек воет дик и злобен».

Поток летит «свиреп и одинок, как тигр Америки суровой»; герой «шел безвестными тропами по следу вепрей и волков»; Гарун бежит «быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Так, одно за другим, сравнения из мира животных мелькают в прозе и стихах: «как тигр»; «как зверь, преследуем, гоним»; «как серна гор пуглив и дик»; «как орел он кинулся»; «смерть над ним летает коршуном»; «у волка есть берлога и гнездо у птицы», и т. п. В своей краткой статье я остановлюсь более подробно только на к о н е, п т и ц е и з м е е. Это и самые «ходкие» и самые важные животные в жизни и творчестве Лермонтова; однако, приведу и список всего «бестиария». Вот перечень живых существ матери-природы: агнец, барс, баран, буйвол, бык, бобёр, болонка, борзая, вепрь, верблюд, волк, волченок, волчица, газель, гиена, жеребец, заяц, зверь, «красный зверь», скромные зверьки, змея, змей, кабан, кобыла, конь, корова, крокодил, кролик, кошка, крыса, земляная крыса, козел, лошадь, лев, львица, лань, лисица, медведь, медвежонок, мышь, летучая мышь, олень, осел, пес, рысь, серна, сайгак, собака, телец, тигр, шакал, ягненочек. Птицы тоже довольно разнообразны: вран, ворон, ворона, галка, голубь, журавль, птицы ночи, иволга, индейка, индейский петух, ласточка, лебедь, коростель, касатка, кукушка, коршун, курица, орел, орлята, павлин, петух, попугай, соловей, сова, сокол, соколиха, утка, фазан, филин, чайка, ястреб. Не забыл Л. аспида, эхид-

ны, скорпиона, ящерицы, гидры, василиска, клопа, таракана, мошки, пчел, комара, не говоря о черве, который поспорит и со змеей в эйдологии и фразеологии поэта.

Когда Л. описывает встречу сурового отца и молодого сына («Вадим») он делает характерное отступление: «Они упали друг другу в объятия; они плакали от радости и от горя; и волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волченка; а Борис Петрович был человек, как вам известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка, по крайней мере, так утверждают натуралисты и философы».

Но особенно трогателен у Лермонтова крокодил. Еще в заметке 1830-го года он носился с идеей трагедии: «Сюжет трагедии. В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Атала)». Эта краткая запись — ключ к крокодилу в творчестве Л. Крокодил пришелся по вкусу нашему юному романтику. В "Menschen und Leidenschaften" читаем: «Меня ты не обманешь, крокодил!» (1830 г.). В 1831-ом году в драме «Странный человек» герой ее Владимир говорит о бесчеловечно жестокой помещице так: «Я бы раздавил ногами каждый сустав этого крокодила, этой женщины...» В 1834-5 гг. он не унимается: «На дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого прозрачного американского колодца» («Вадим»). В «Княгине Лиговской», в Петербурге опять всплывает крокодил около 1837 г. О некрасивой и неряшливой горничной поэт утверждает, что «такая .... подобна крокодилу на дне светлого американского колодца». Хотя Э. Дюшен, видимо, полагал, что некоторые из подобных фраз связаны с фразеологией Марлинского, но я так не думаю. Уже давно М. де-Вогюэ и сам Дюшен указывали на влияние шатобриановой «Атала», на крокодила в колодце. Последний раз это сделал вскользь и В. Виноградов.[5]

В сердцещипательной повести Шатобриана я нашел в трех местах крокодилов, но не в колодце, конечно, а в источниках. Я так и думал, что крокодилу не место в колодце. Крокодилы у Шатобриана не ядовиты, я этого выражения не нашел, но в одном месте сказано, что они, т. е. крокодилы, пахнут амброй! Долго думал я, почему так наш романтик увлекся крокодилом, снабдил его ядом и поместил в колодец, где ему нечего делать, но объяснить этого не мог!

---

[5] «Очерки по ист. рус. лит. яз. XVII-XIX вв.», Лейден, 1950, стр. 285-286.

КОНЬ

Сто двадцать лет тому назад лошадь=конь был основным средством и самым быстрым средством передвижения по матери-земле. Конь для Лермонтова-помещика, конь для Лермонтова-кавалериста есть нечто совершенно особое, близкое, необходимое; восхитительный слуга, верный друг, прекрасный любимец! Из всех животных диких и домашних поэт чаще всего[6] упоминает коня, и дважды делает лошадь героем своего повествования («Бэла», «Ашик-кериб»).

Как живописец Л. пером, карандашом, «итальянским карандашом», акварелью, маслом, изображал и писал коней и всадников, делал зарисовки и этюды шага, рыси, галопа, карьера лошади без седока и с седоком. Рисуя преимущественно верховых кровных лошадей, он их изображает на лоне природы, хотя есть рисунки и рысаков. Из несомненно принадлежащих поэту рисунков, около четырех процентов касаются коня. По определению одного лошадника-специалиста всё это почти кони или полнокровные аргамаки, карабахи и арабы, или чистокровные английские скакуны. Проза и поэзия Л. наполнена топотом, ржанием, фырканьем и храпом легконогих бешеных коней, когда при их быстром беге для всадника «туманные очерки предметов становятся всё яснее и яснее». Как недавно, и вместе с тем какая даль времен!!... Летали тогда «депеши с нарочным», шла «экстра почта» с далекого Кавказа к бабушке поэта; «мчалась курьерская тройка», двигалась по размытым дорогам «тяжелая почта», «закладывались коляски», «трогалась медлительная оказия», «скрыпучие колесы» месили грязь, слышался «звон колокольчика почтовой тройки», «ехали на перекладных»... Всё это прошло и быльем поросло, и всё воскрешается словом поэта. Недаром он сказал о себе: «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль... Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство не томило мысль, всё в минуту рассеется». Вы помните, что конь «быстрее лани», конь быстрее всех!

В весело-шутливых стихах Лермонтов нарисовал и самого себя и своего родственника «Монго» (1836):

---

[6] Конь упоминается на 205-6 страницах, птица на 168-170, змея — 78 раз.

«...Летят, склонившись над лукой
Два всадника лихим полетом.
Один высок и худощав,
Кобылу серую собрав,
То горячит нетерпеливо,
То сдержит вдруг одной рукой.
Мал и широк в плечах другой.
Храпя мотает длинной гривой
Под ним саврасый скакунок
Степей башкирских сын счастливый...»[7]

А вот молодой офицер рассматривает в раздумьи свои серебряные шпоры в 1834 г.

«На серебряные шпоры
Я в раздумии гляжу;
За тебя скакун мой скорый,
За бока твои дрожу.
Наши предки их не знали
И, гарцуя средь степей,
Толстой плеткой погоняли
Недоезженных коней...»

Конь! Нет для нашего поэта предмета или идеи, существа или чувства, к которому бы он ни применял столь многочисленные, разнообразные термины и живые эпитеты и сравнения, как именно к нему: «аргамак, бегун, белый, белогривый, бурный, борзый, буланый, быстрее мысли, товарищ быстроногой, бешеный, верховой, вольный, как ветер, веселый, вороной, горячий, гнедой, дикость гордая, добрый, донской, дикий, бесценной масти золотой, загнанный, запаленный, запряженный, измученный, игривый, питомец Карабаха, кипучий, красивый, курьерский, косматый, весь кипит, конь-картина, кляча, легкий, лихой, летит стремглав, лучший, могучий, нетерпеливый, некованный, неутомимый, непривычный, оседланный, как птица, быстрый, как плясун по канату, почтовый, рысак, рвущийся из-под седла, резвый, ретивый, светлосерый, саврасый, славный, степной, сытый, словно серна, скакун, скакунок, уносный, усталый, черкесский, черный, чистый, чистый шаллох,[8] ще-

[7] Ср. в письме поэта к бабушке: «Лошади мои вышли, башкирки так сносны, что чудо, до Петербурга скачу (из Царск. Села) — а приеду, они и не вспотели».

[8] Род кабардинскоарабской ветви.

котливый. Конь то «ударится скакать», то «присядет на хвост», то «сбивается на рысь», «мчится» и т. п. Всадник «толкает лошадь», «жмет», «держит, ведет в поводу», «собирает лошадь» — всё кавалерийские и ездовые термины. Мало того, писатель сравнивает породистость человека с лощадью. При описании Печорина автор замечает: «Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади». Или в другом месте: «В ней (женщине) было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело...» «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади». Слова о Печорине и его посадке относятся к самому Лермонтову: «Я долго изучал горскую посадку; ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад».

В «Кн. Лиговская» Лермонтов вспоминает русских дворовых кучеров и верно и остроумно замечает: «У кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька». Сам поэт покупает дорогих коней. В письме к бабушке — Е. А. Арсеньевой — он сообщает: «Я на-днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, а цена эта не велика». Совсем незадолго до смерти он пишет приятелю (в 1841 г.): «Итак, не продавай удивительного лова,[9] ни кровати, ни седел...» И в то же время его цепкий глаз искреннего лошадника останавливается и на бедных извозчиках, что «на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком...» В драме «Странный человек» главный герой сравнивает даже свою душу и ее состояние с лошадью: «Намедни я поехал верхом; лошадь не хотела идти в ворота; я ее пришпорил, она бросилась, и чуть-чуть я не ударился головой об столб. Так и с душой...»

Лошадь, отталкиваясь в быстром беге от земли, создает у всадника впечатление как бы полета:

1832 г.

«Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,

[9] Лов = легкий конь черкесской породы.

Как ветер волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, удариви ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытьи...»

Теперь я позволю себе привести особенно важные стихи Лермонтова о коне, а затем перейду к прозе и роли лошади в тематике писателя. В стихах конь почти всегда прекрасен, горяч и изображен в движении, как ветер волен и как друг надежен:

«Измаил-Бей»

«К луке припал, коня толкнул.
Одно мгновенье на кургане
Он черной птицею мелькнул,
И скоро скрылся весь в тумане.
Чрез камни конь его несет...
Он бьет и дергает коня,
И конь летит, как ветер степи;
Надулись ноздри, блещет взор...»

«Демон»

«Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит...
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала...»

В «восточном сказании» — «Три пальмы» — описан конь опять в быстром и прерывистом движении: «...Араб горячил вороного коня. И конь на дыбы поднимался порой, и прыгал,

как барс, пораженный стрелой...» В стихотворении «Узник» конь «скачет весел и игрив, хвост по ветру распустив»; в «Валерик» «конь светлосерый весь кипит», и т. п. Романтическое увлечение конем сливалось в творчестве Лермонтова с его пристрастием к романтикам (Шиллер, Клингер, Гюго, Шатобриан, Байрон, Марлинский и др.). На влияние иноземного романтизма на нашего поэта указывал и Э. Дюшен и до него М. де-Вогюэ, особенно на «Прощание аравитянки» В. Гюго. Дважды Лермонтов рисует коня очень сходными словами; сперва в «Измаил-Бее», а потом в «Аул Бастунджи»:

«Твой конь прекрасен; не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком,
В нем дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Как камень, сглаженный потоком».

«Горяч и статен конь твой вороной!
Как красный угль его сверкает око!
Нога стройна, косматый хвост трубой;
И лоснится хребет его высокой,
Как черный камень, сглаженный волной.
Как саранча, легко в степи широкой
Порхает он под легким седоком,
И голос твой давно ему знаком».

Лошадь в прозе Л. не только спутник, но и герой повествования. «Весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика».

В рассказе «Бэла» конь Карагез играет особую роль, он в центре интриги. Юный Азамат пытается купить за что угодно эту лошадь у шапсуга Казбича. Юноша предлагает половину табуна, винтовку и гурду-шашку отца и наконец родную сестру — красавицу Бэлу. Он влюблен, он бредит Карагезом: «В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостылело... ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами... я умру, Казбич, если ты не продашь его!..» Долго, дол-

го молчал Казбич; наконец, вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса:

«Много красавиц в аулах у нас,[10]
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит и он не обманет».

Любопытно еще отметить, что как Г. А. Печорин, ради пластичности образа, описан «с трех сторон» — Максим Максимычем, автором и в дневнике Печорина, так и здесь Лермонтов опять поступает с Карагезом. Его описывает не только Азамат, а и Максим Максимыч, утверждая: «Лошадь его (Казбича) славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги-струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает.[11] Уж такая разбойничья лошадь!» Так, на первый взгляд, в примитивной речи Максим Максимыча («выдумать невозможно»), дано чудесное описание коня, его статей, а этому описанию предпослано искусное введение — прославление лошади. Далее рассказ самого Казбича о Карагезе, о его верности и силе, о том как Казбич рисковал головой ради спасения своего коня, дополняет образ лошади, нарисованный рукою мастера и лошадника. В дальнейшем кража этого коня определила и печальную судьбу несчастной Бэлы.

Еще раз Л. ставит в центр своего повествования коня, на сей раз волшебного[12] коня св. Георгия, в турецко-кавказской

[10] Как известно, это обработка Л, песни из поэмы «Измаил-Бей», написанной в свою очередь на основе «Ты дума моя»... из «Собрания русских песен» М. Чулкова (кн. III, 1774 г.). В «Герое нашего времени» поэт в примечании говорит, что он «переложил в стихи» прозаический рассказ Казбича, что является поэтической неправдой.

[11] Противоречие! Неск. ниже сказано: «Привязав лошадь (Карагеза) у забора он вошел...»

[12] Св. Георгий отождествлен в этом варианте с мусульманским пророком Хадрилиазом.

сказке «Ашик-кериб». В этой легенде рассказывается о чудесно-волшебном коне, переносящем в один миг героя-певца за сотни верст. Белый конь этот «быстрее мысли». Текст записи сказки не вполне отделан поэтом и видны следы спешности записи и неувязок в ее тексте, но роль коня очень ярка и привлекательна.

ПТИЦА

На втором месте после лошади — птица. Ее сладкогласное пение, трели, щелкание, ее вольный быстрый полет в высь, в лазурь, ее любовь к свободе и передвижению, привлекали и всегда восторгали поэта-романтика. Птицы да облака в небесах влекли к себе воображение Л., они предмет грустной радости и тоски поэта по свободе. Птицы используются очень часто и для поэтических сравнений, аллегорий и метафор. Чтоб не перегружать читателя матерьялом, я приведу лишь наиболее характерное в этой области: «легче птички», «невинен как голубь», «как птица вольности резва», «как птичка в клетке сердце запрыгает», облачка «как будто белый караван залетных птиц», лодка «как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти», «и дикий коршун тут сидит, как дух лесов», «парус подобный крылу морской чайки», «облако, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун ожидающий добычу», «глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея,[13] пробуждала и терзала его сердце». Другую сторону поэтики Л. представляет распространенное сравнение в стихах типа аллегории:

В «Измаил-Бей» читаем:

«Так, посреди чужих степей
Подруг внимательных не зная,
Прекрасный путник, птичка рая
Сидит на дереве сухом, —
Блестя лазоревым крылом;
Пускай ревет, бушует вьюга...
Она поет лишь об одном,
Она поет о солнце юга».

Эти стихи сравнивают вдохновение поэта с райской птицей и находятся в посвящении поэмы. Поэма скорее всего по-

[13] Поэтическая вольность у Прометея — сына Япеты и Климены орёл клевал печень.

священа В. Лопухиной. В этой наивно-юношеской строфе удивляет бомбаст и мысль о некоей райской птице, поющей под вьюгой. Много сильнее и реальнее образы реальных птиц с их верно подмеченной повадкой, нравом и движением:

«Боярин Орша»

«Заботой резвою полна
Летала ласточка — то вниз,
То вверх под каменный карниз
Кидалась с дивной быстротой
И в щели пряталась сырой;
То взвившись на небо стрелой,
Тонула в пламенных лучах».

«Сашка»

«...И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают, верхом, низом
Кружатся, вьются, чуждые людей...»

А как изумительно и как-то грустно прекрасен конец «Трех пальм»! Раскаленная ширь беспощадных сыпучих песков. Одиночество. Гибель. Пустыня...

«...И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним».

Прекрасна, и верно подмеченная деталь — хохлатость коршуна, его нелюдимо-злой нрав. Всё входит в картину, всё подходит к самой звукописи этой величаво-суровой концовки баллады о «Трех пальмах».

И в прозе птица, ее образ, непрерывно поминается поэтом: «Его сердце закаленное противу всех земных несчастий в эту минуту сильно забилось, как орел в железной клетке при виде кровавой пищи».[14] Иногда сравнение с птицей разрастается в картину, где образы слагаются в целую симфонию: «Метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; толь-

[14] Ср. у Пушкина орёл в неволе «кровавую пищу клюет...»

ко её дикие напевы были печальнее, заунывнее. — И ты, изгнанница, думал я, плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть, где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки». И невольно наша мысль, под музыку этой прозы, несется туда, к родным степям, к милым русскому сердцу великим, грустным просторам Родной Земли.

Исследование о птице в творчестве Лермонтова мне хочется заключить евангельскими образами, почерпнутыми поэтом в Новом Завете. Поэт не раз цитирует оба Завета и хотя особого влияния Библия на его поэтику, лексику и философию не оказала, но всё же «Мцыри», «Демон», «Menschen und Leidenschaften» и ряд стихотворений связаны с Вечной книгой. В повести «Вадим» перед героем её Юрием «начал развиваться длинный свиток воспоминаний...[15] Он мог исчислить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни.[16] Но, увы! эти чувства не принесли плода; одни, как семена притчи, были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно». Упомянутые птицы, но конечно не хищные, взяты из Евангелия (Мат. 13, 3-13; Марк. 4, 2-20; Лук. 8, 4-15). Лермонтов несомненно использовал евангелиста Луку. Только у последнего находим слова: «потоптано», «поклевали» и «камень». У св. Марка — «каменистое место» и нет топтавших семена, равно и у св. Матфея. Приводя по памяти притчу по св. Луке, поэт слегка и совсем неудачно, изменяет ее и дополняет: слова о странниках, х и щ н ы х птицах, «сгнили». Но в основном притча приводится довольно точно. Лермонтов вспомнил прежде всего птиц! Не таков порядок образов в Евангелии, но птицы первые прилетели к его воображению!

ЗМЕЯ

Трудно объяснимо, а многим и непонятно, пристрастие поэта к образу змеи, к животному пресмыкающемуся, холодному, хищному. А между тем и в литературе новейшего вре-

---

[15] Ср. у Пушкина «Воспоминание... предо мной свой длинный развивает свиток»...

[16] См. у Гоголя в «Мертвых душах» (Плюшкин) развивается та же мысль о дороге и растерянных на жизненном пути-дороге лучших чувствах.

мени встречаем писателей еще более зачарованных змеями. У югославского писателя В. Назора («Приповиести из диетиньства») есть удивительный рассказ о своей любви и дружбе с красавицей-змеей. Кое-что в этой повести объяснило мне странное пристрастие к ползучим гадам. Обычно — от ассировавилонян и евреев до римлян — змея — причина смерти, грехопадения, страха. Но, вот не для всех! Лермонтову змея нравится, влечет к себе и вместе с тем отталкивает. Змея схожа с ползучим червем и порою оба символа сливаются в выспренно-романтической фразеологии поэта. Некая дева говорит: «Моя любовь сожжет этого червя, который гнездится в ней (духовной ране)». В последней редакции «Демона» читаем: «И грусть на дне старинной раны зашевелилася, как змей». В драме «Странный человек» говорится о сердце, в котором живет червь, пожирающий малейшие искры удовольствия». Герой ее кричит: «Я не думаю, что последний вопль погибающего червя мог Тебя порадовать». В юношеской драме «Испанцы» — «...Ревность в грудь ее, как червь закралась». В повести «Вадим» сказано: «Он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный». Поэт видит и сам свой собственный труп: «Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался в безобразный череп». В этом пристрастии к червям, в бомбасте исступленных сравнений, кроме влияния Марлинского, есть и след общеромантической пустозвонной фразеологии. Так, напр., Н. Полевой в своих «Записках» примечает: «Я как-будто забыл о делах, этих мерзких червях, которые точат нас заживо... Мне тошно и отвратительно среди этого клубка глистов». В. Виноградов приводит письмо к Пушкину некоего Н. Иванова (1835 г.): с телом истомленным «адской болезнью, которая как червь, по капле в день сосет кровь из его сердца».

Еще молодым юнкером в сочинении «Панорама Москвы», Лермонтов рисует горы, что «глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристой чешуей...» В других юношеских произведениях, напр., 1835 г. он пишет: «На груди моей змея так много дней была согрета». Или: «Опасней жала змеи, насмешка вечная блуждала». В драмах постоянны сравнения такого рода: «Я вскормил змею в дому моем»; «дай тысячу мне жал змеиных»; «Дарья — преопасная змея»; «тигр, змея коварства»; «здесь веселиться среди змей и, пируя за столом, думать, что каждое роскошное блюдо куплено на счет кровавой слезы отца моего...»

В стихах и прозе образ змеи, то живой, то метафорической преследует поэта: печаль «то ластится, как змей, то жжет и плещет будто пламень». «И глубоко внизу чернея, как трещина, жилище змея, вился излучистый Дарьял». «Меж вас змея-раздор шипит». «Она, как змея скользнула между моими руками». «Она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку». «Туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда». «Арагва, обнявшись с другой безимянной речкой... тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею». «Только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю». «Воспоминание! ты, пробужденная змея». «Змеи, порождения ехидны, как убежите от огня и суда геенны».[17] «О, змеи, змеи! еслиб я знал, я бы раздавил вас!» «Холодное слово уста оскверняет твои, как листки у цветка молодого ядовитое жало змеи». «Ползут, как змеи облака...» Вид играющей змеи полонил сердце поэта и он годами разрабатывает эту картину и вносит её в ряд своих произведений:

1832 г.

«И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною:
Так сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты после бою
Они на поле роковом)[18]
В кустах найденная луною,
Блистает в сумраке ночном».

1834 г.

«Пустынная змея
Из-под камней, резвяся выползает;
На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом, как блистает
Разбитый меч, оставленный бойцом
В густой траве на поле роковом».

---

[17] Евангелие от Мат. 23, 33.

[18] Ср. у Пушкина («Полтава») «Битвы поле роковое».

1839 г.

«Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя
Сверкая желтою спиной,
Как-будто надписью златой
Покрытый до низу клинок,
Браздя рассыпчатый песок
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах».

1841 г.

«И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!»

Рассматривая все четыре изображения мы видим, что в первых двух, более ранних, отсутствует характеристика змеи, а даны-показаны лишь ее действия и вид, тогда как позднее прибавлены эпитеты «пустынная» и «осторожная». Картина становится всё живей, всё насыщенней. Излишние отступления удаляются, — живая змея перед нами! Остается только неизменным сравнение змеи с оружием, ее блеск и игра. Я не знаю лучшего описания змеи во всей русской литературе.

В этой статье я опускаю вопрос о влиянии И. Крылова и Державина на ономатопэйю у Лермонтова и связь его эйдологии с эйдологией некоторых иноземных романтиков. Эта статья — только часть моей работы «Природа и человек у наших классиков».

Р. Плетнев

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Ну вот, — я никому не нужен;
Прошла зима, пришла весна.
Но не сверкнет уж *ряд жемчужин*
Как прежде в сумерках окна.

И не появятся, как раньше,
В уставшей бредить голове,
Мечты о будущем реванше,
О встрече в будущей Москве.

...Безумствует апрельский вечер,
Сады цветут наперебой.
Ну вот, — не за горами встреча
Последняя: с самим собой.

2

Близится вечер. Ну, что ж, господа,
Жизнь прожита, изжита навсегда.
Много, конечно, случиться б могло,
Да не случилось, не произошло.
Много надежд улетело в трубу.
Глупо теперь всё валить на судьбу.
Но может быть среди радужной тьмы
Плохо историю поняли мы?
Не разглядели?..
Ну, что же, господа,
Бог даст и так скоротаем года.
Наши, теперь уж не многия лета,
В апофеозе вечернего света.

К. Померанцев

ПЕРЕДЕЛКА ПИСЕМ ДОСТОЕВСКОГО

В связи с исполнившемся в 1956 году семидесятипятилетием со дня смерти Ф. М. Достоевского, после перерыва в 25 лет, в 1959 г. вышел четвертый и последний том его «Писем».[2] Для исследователей творчества Достоевского из всей юбилейной литературы этот том наиболее важен, так как письма, собранные в нем, раскрывают характер и мысли великого писателя, как в период наивысшего развития его художественного таланта («Братья Карамазовы»), так и на закате его жизни (1878-1881).

Советские партийные критики считают этот период творчества Достоевского «самым реакционным». И поэтому естественно, что многие из достоевсковедов сомневались, что этот том «Писем» когда-нибудь увидит свет. Уже поэтому стоит горячо приветствовать его появление. Причем надо отметить и то, что редактором этого тома был не кто иной, как заслуженный достоевсковед А. С. Долинин, тот самый, который редактировал и три предыдущие тома. А это должно было явиться своего рода гарантией не только стилистической и технической целостности работы, но — что гораздо важнее — и точности воспроизведения текстов.

Правда, трудно было понять необычайную оттяжку появления этого тома: он должен был выйти в 1957 г., а вышел только в начале 1959 г. Еще удивительнее указание, напечатанное в конце этого тома: «Сдано в набор 15/IX 1956 г. Подписано к печати 6/I 1959 г.». Конечно, можно предположить, что это явилось результатом тщательной подготовки весьма сложного текста и стремления избежать в нем даже малейших неточностей. Но теперь, по выходе книги, невольно закрадывает-

---

[1] По-английски эта статья появилась в "The American Slavic and East European Review". V. XX. Автор настоящей статьи, Д. Гольдштейн, подготовляет докторскую диссертацию на тему «Достоевский и евреи». РЕД.

[2] Ф. И. Достоевский. «Письма: 1878-1881», под редакцией и с примечаниями А. С. Долинина. Гослитиздат, Москва, 1959.

ся подозрение, что всё это долгое время было использовано совсем для других, и гораздо менее похвальных целей.

Как и три предыдущие тома, том IV предназначен только для узкого круга специалистов, о чем свидетельствует и его тираж в 5.000 экземпляров. Во вступительной статье редактор указывает, что «основные приемы воспроизведения текстов в данном томе те же, что в предыдущих томах». Но нас, конечно, интересует основной вопрос: точны ли воспроизведения текстов? Вот что по этому поводу пишет Долинин в своем редакторском предисловии, сравнивая «Полное собрание писем» с первым сводом писем, вышедшем под редакцией Страхова и Миллера (стр. XIX): «Н. Страхов и другие редакторы первого свода писем... подбирали письма намеренно односторонне, подвергали их обработке в соответствии со своими общественно-политическими воззрениями или личными задачами и целями... Нашей первой задачей было точное воспроизведение текстов». (подчеркнуто мною, Д. Г.).

Но несмотря на эти заверения, к нашему глубокому сожалению, приходится констатировать, что тогда, как первые три тома верны подлинникам, с IV томом дело обстоит совсем иначе.

Внимательное прочтение писем этого тома обнаруживает (и только в одной области — отношение Достоевского к евреям) искажение оригинального текста, главным образом, методом пропусков. Из девяти писем, в которых мы установили расхождения с оригиналом, четыре (№№ I, III, IV, VII), как будет видно ниже, подверглись существенным искажениям (пропуски — от 12 до 19 строчек). В остальных — пропуски меньше, но зато эти пропуски очень важны, и есть один случай произвольной замены одного слова другим, более мягким (№ II). Во всех случаях, кроме трех, пропуски «указываются» тремя точками, но это совершенно ничего не говорит читателю, потому что сам Достоевский часто употребляет троеточие. Долинин же нигде не указывает на троеточие, как на редакторский пропуск.

Эти установленные искажения писем заставляют нас сделать соответствующий вывод: стало быть, была тайная и преднамеренная попытка что-то скрыть от исследователя; в данном случае — отношение Достоевского к евреям. Ибо поскольку возможно было установить, из этого свода более чем трехсот писем был изъят исключительно материал, содержащий пренебрежительные, недружелюбные или оскорбительные заме-

чання по отношению к евреям (в этом случае был изъят и второстепенный материал, не касающийся евреев, но синтаксически неотделимый от основного текста).

За исключением одного очень важного письма от августа 1878 года к Пуцыковичу, редактору «Гражданина», остальные восемь писем, искаженные в томе IV, были написаны Достоевским в июле-августе 1879 года из Берлина и Эмса. Из них семь адресованы жене, Анне Григорьевне, и одно К. П. Победоносцеву, прокурору Святейшего Синода. Как известно, в 1878-1879 гг. Достоевский работал над «Братьями Карамазовыми». Заметим, что нельзя полностью понять антисемитские элементы в этом романе, не ознакомившись со внутренним миром и мыслями Достоевского, которые так ярко выражаются в его письмах этого периода. Из вариантов писем четвертого тома исчезли бесследно все замечания об евреях и, следовательно, ключ к пониманию отдельных эпизодов романа.

Первая задача этой статьи — восстановить для исследователя те места из оригинальных писем Достоевского, которые вычеркнуты чьей-то «ревнивой рукой». Эта задача осуществима только благодаря тому, что эти письма были ранее опубликованы в трех книгах: 1. «Московский Сборник», под ред. С. Шарапова, Москва, 1887,[3] стр. 6-15, где были впервые опубликованы несколько писем Достоевского к Пуцыковичу; 2. «Красный Архив», Москва-Петроград, том II, 1922, стр. 240-255, где впервые были опубликованы 6 писем Достоевского к Победоносцеву; 3. «Письма Ф. М. Достоевского к жене», под ред. В. Ф. Переверзева, Москва-Ленинград, Госиздат, 1926.

В письмах, которые мы приведем, всё вычеркнутое в четвертом томе берется в прямые скобки [ ]. Круглые скобки ( ) принадлежат везде Достоевскому. Под каждым письмом нами указаны номер письма и страницы п е р в о г о издания, а в круглых скобках даются номер письма и страницы в томе IV.

I

В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ

Старая Русса, 29 августа 1878 г.

...Ваш анекдот о том, как Вы послали Мезенцеву анонимное письмо Одесских социалистов, грозивших Вам смертию за то, что Вы против социализма пишете — верх оригиналь-

[3] В томе IV ошибочно указан год «1888».

ности. Вам ничего ровно не ответили и письмо Ваше кануло в вечность — так, так! [Кстати: убедятся ли они наконец, сколько в этой нигилятине орудует (по моему наблюдению) жидков, а может и Поляков. Сколько разных жидков было еще на Казанской площади, затем жидки по Одесской истории. Одесса, город жидов, оказывается центром нашего воюющего социализма. В Европе то-же явление: жиды страшно участвуют в социализме, я уже о Лассалях, Карлах Марксах и не говорю. И понятно: жиду весь выигрыш от всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то он status in statu, составляет свою общину, которая никогда не потрясется, а лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды.] — Статьи нашей печати об убийстве Мезенцева — верх глупости....

[Московский сборник, № II, 8 (№ 642, 36)]

II

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Берлин 22 Июля (3 Августа) 1879

...Когда пересели на немецкую дорогу рекомендовался мне один [жидок][4] доктор, из Петербурга, лет 50 (друг Тицнера, служит в Максимил. лечебнице, едет в Висбаден от ревматизма) — очень меня развлекал дорогою и служил мне переводчиком с немцами....

[П е р е в е р з е в, № 133, 245 (№ 671, 70)]

III

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 28 Июля (9 Августа) 1879

...Вещи здесь страшно дороги, ничего нельзя купить [все жиды]. Купил бумаги (писчей) и перьев гадчайших, заплатил чортову кучу, точно мы где нибудь на необитаемом острове. [Здесь все жиды. Даже в наехавшей публике чуть не одна

[4] В оригинальной версии о д и н ж и д о к д о к т о р, а в версии 4-го тома о д и н [е в р е й] д о к т о р, причем слово е в р е й взято в угловые скобки, которые обозначают вставку от редактора.

треть разбогатевших жидов со всех концов мира. Из русских хоть есть имен тридцать (по Кур-листу), но все имена неизвестные, какой-то Семенов из Петербурга, какой-то князь Мещерский (но не наш). Кажется здесь Чичерин. Есть несколько княгинь и графинь с семействами (Долгорукая, Оболенская, Радзивил) — но все это незнакомые. Затем все остальные русские имена, в большинстве, из богатых русских жидов. Рядом с моим № в d'Alger, дверь об дверь, живут два богатых жида, мать и ее сын, 25-летний жиденок — и отравляют мне жизнь: с утра до ночи говорят друг с другом, громко, долго, беспрерывно, ни читать ни писать не дают. Ведь уж кажется она его 25 лет как родила, могла бы с ним наговориться в этот срок, так вот нет-же говорят день и ночь, и не как люди, а по целым страницам (по немецки или по жидовски) точно книгу читают: и все это с сквернейшей жидовской интонацией, так что при моем раздражительном состоянии это меня всего измучило. Главное не церемонятся, говорят почти кричат, точно они одни в отеле.] Принялся вчера за работу...

[Переверзев, № 136, 251-2 (№ 675, 78)]

IV

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 30 Июля (11 Августа) 1879

...Продавец купец [(подлец жид)] говорит мне: а вы спрашивали про ваш зонтик в полиции? — Да где ж в Курзале полиция? — А там есть отделение. А я и не знал. Пошел, спросил и мне тотчас же возвращают потерянный зонтик, давно уже прибрали. Какова досада! Я предлагал 2 марки мерзавцу купцу, чтоб взял назад зонтик и возвратил назад 12 марок, не согласился. Решительно несчастье, только деньги выходят. [3-е приключение с жидами моими соседями в Hôtel d'Alger. Четверо суток как я сидел и терпел их разговоры за дверью (мать и сын), разговаривают страницами, целые томы разговора, беспрерывно, без малейшего промежутка, а главное — не то что кричат, а визжат, как в кагале, как в молельной, не обращая ни малейшего внимания что они не одни в доме. Хоть они и русские (богатые) жиды, но откуда то из Зап. края, из Ковно. Так как уже было 10 часов и пора была спать, я и крикнул, л о ж а с ь в п о с т е л ь: «Ах эти проклятые жиды, когда же дадут спать!» На другой день входит ко мне хозяйка, M-me Bach и говорит что ее жиды призывали и объявили ей что мною

обижены, что я назвал их ж и д а м и и что съедут с квартиры. Я ответил хозяйке, что и сам хотел съехать, потому что замучили меня ее жиды: ни прочесть, ни написать, ни размыслить ни о чем нельзя. Хозяйка испугалась моей угрозы ужасно и сказала что лучше она жидов выгонит, но предложила мне переехать на верх, там через неделю очистится у ней прекрасная квартира. Я знаю эту квартиру, действительно хорошая и к тому же двумя талерами в неделю дешевле. Я согласился, жиды же хоть и не перестали говорить и продолжают говорить громко, но зато перестали кричать и мне пока сносно.] Ну вот мои приключения....

[П е р е в е р з е в, № 137, 254 (№ 679, 82)]

V

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 4 (16) Августа 1879

...Мне, Аня, здесь невыносимо тяжело и гадко, почти не легче и не гаже каторги, которую я испытал. Без п р е у в е л и ч е н и я говорю. Один, ни лица знакомого, [напротив все такие гадкие жидовские рожи]. Хоть и редко, но слышен иногда русский говор, но кто эти русские — никто не знает, все из окраин России.... Лиличка пишет премило, все письма ее берегу и всегда поцелую. [Жиды меньше меня беспокоят, но кажется я наверно переселюсь наверх в другую квартиру.] Все боюсь припадка....

[П е р е в е р з е в, № 139, 258-9 (№ 681, 86-7)]

VI

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 7 (19) Августа 1879

...Кажется здесь уже начинают разъезжаться. [Жиды мои соседи выезжают на будущей неделе и я квартиру не переменяю.] Музыка здесь хотя и хороша...

[П е р е в е р з е в, № 140, 262 (№ 682, 90)]

VII

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ

Эмс, 9 (21) Августа 1879

...Нынешний же приезд самый ужасный: многотысячная толпа всякого сброду со всей Европы (Русских мало, и все какие-то неизвестные из окраин России) на самом тесном пространстве (ущелье), не с кем ни одного слова сказать, и главное — все чужое, все совсем чужое — это невыносимо. И так вплоть до нашего сентября, т. е. целых 5 недель. [И заметьте: буквально на половину жидов. Еще в Берлине я заметил проездом Пуцыковичу, что по моему взгляду Германия, Берлин по крайней мере, жидовится. И вот здесь в «Моск. Ведомостях», прочел выдержку из одной только что появившейся в Германии брошюры: «где же тут жид?» Это ответ одного жида же одному немцу, осмелившемуся написать, что Германия жидовится ужасно во всех отношениях. «Нет жида», отвечает брошюра, и везде немец, но если нет жида, то везде влияние еврея, ибо, дескать, еврейский дух и национальность выше германской, и действительно привили к Германии «д у х с п е к у л я т и в н о г о р е а л и з м а» и проч., и проч. Таким образом, мой взгляд оказался верным; немцы и жиды сами об этом свидетельствуют. Но помимо спекулятивного реализма, который и к нам рвется], Вы не поверите как здесь все бесчестно, т. е. в торговле по крайней мере....

[К р а с н ы й а р х и в,] № 2, 244 (№ 686, 94)]

VIII

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 10 (22) Августа 1879

...Эту каторгу почти уже нельзя выносить больше, каждый раз как я прежде бывал в Эмсе, всегда находились какие нибудь знакомые русские — нынче никого и все подлейшие [жидовские и английские] рожи и все молчание и уединение.... А рожи и морды на ваннах, особенно женские, [а жиды и жидовки,] а толпа, а давка — чорт знает что такое!..

[П е р е в е р з е в, № 141, 263-4 (№ 687, 95-6)]

IX

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 16 (28) Августа 1879

...Но только никогда в России не было таких мошенников купцов какие теперь в Германии. [Все жиды, всем завладели жиды и мошенничают без предела, буквально мошенничают.] Пишешь, что очень думаешь о моем здоровье....

[Переверзев, № 144, 270 (№ 691, 102)]

Основываясь только на пропусках в приведенных девяти письмах, было бы слишком смело заключить, что большинство писем четвертого тома подверглись тоже каким-то изменениям. Почти половина трехсот писем в этом своде публикуется впервые; при невозможности доступа к рукописям их, конечно, нельзя проверить. Другая часть писем была опубликована, но эти письма рассеяны по малодоступным (особенно на Западе) газетам, журналам и сборникам. Тем не менее, нам все-таки удалось сверить тексты большинства из этих писем с более ранними публикациями и, за исключением девяти отмеченных выше, мы не нашли в них никаких изменений или пропусков. Таким образом, надо признать четвертый том ценнейшим и достоверным вкладом в область достоевсковедения.

Но как же оправдать такое явное отступление от требований академической честности по отношению к девяти письмам? Невольно поднимается вопрос: несет ли в советских условиях ответственность А. С. Долинин как редактор? Здесь стоит вспомнить, что Долинин сам писал в предисловии к первому тому писем (1928, стр. 12) и что он повторяет в предисловии к четвертому тому о своде писем Страхова и Миллера (1883): «А над теми (письмами), которые там помещены, старательно работала чья-то ревнивая рука: в надежде... скрыть не только от современников, но и от далеких поколений, строки, абзацы и целые страницы, почему-то и кому-то казавшиеся нарушающими общий фон портретный Достоевского, или, может быть, — обидными в каком-нибудь отношении».

Можно ли предположить, что тот же самый Долинин по своей воле, сознательно — не принуждаемый партийными инстанциями — допустил такую фальсификацию? Кто в ней действительно виноват? И почему была сделана эта переделка писем Достоевского? Мы можем только строить предположения. И как ни неприятно и ни парадоксально наше предположение,

но мы осмеливаемся думать, что только Долинину — и никому другому — можно приписать эту переделку писем.

Мы отклоняем другое, с первого взгляда, может быть, кажущееся правдоподобным, объяснение, что письма, мол, переделаны в связи с тенденцией частичной реабилитации Достоевского в Советском Союзе. Из писем Достоевского вычеркнуты, мол, места, которые показывают читателям отрицательные стороны мировоззрения писателя, и эти места могут оскорбить его память.

Такое объяснение не представляется нам убедительным по двум причинам. Во-первых, том IV предназначается только для узкого круга специалистов. И как таковой, он не может иметь влияния на широкую читательскую массу. Во-вторых, это объяснение не отвечает на такой существенный вопрос: почему исключены только антиеврейские места, в то время как даже резкие нападки Достоевского на социализм и коммунизм оставлены? В конце концов, в письмах есть гораздо больше материала, несовместимого со взглядами партийных критиков, чем враждебное отношение Достоевского к евреям.

Мне кажется, что удовлетворительное объяснение мы должны искать совсем в другой области — в идеях самого Долинина. Никакой другой ученый (за исключением Леонида Гроссмана) не внес такой ценный вклад в изучение Достоевского, как Долинин. Даже в самые черные дни советской реакции он настойчиво защищал писателя от нападок партийных критиков, причем сам подвергался неустанным атакам и долгое время был приведен к молчанию и бездеятельности.

Нам кажется, что в его решительной и смелой защите писателя (может быть, даже как-то идеализируя Достоевского), Долинин постепенно отошел от научной объективности и стал жертвой своих собственных взглядов. Вопреки многим доказательствам противоположного, Долинин утверждает, например, что с 1874 года «начинается 'перерождение убеждений' Достоевского, новый поворотный пункт, противоположный предыдущему периоду 'Бесов' и 'Гражданина' и что он вернулся к юношеским идеалам (утопический социализм, Белинский, Некрасов), которым остался верен до конца своей жизни».[5]

За исключением Гроссмана, Штейнберга и Горнфельда — и до некоторой степени Горького и Заславского — литературные критики, и в России и в СССР, мало занимались вопросом

[5] Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования, под ред. А. С. Долинина. Ленинград, изд. Академии наук СССР, 1935, стр. 49.

отношения Достоевского к евреям. Само собою разумеется, другие стороны его творчества имеют гораздо большее значение и интерес. Но одно дело ничего об этом не говорить, а совсем другое дело отрицать существование этого вопроса у Достоевского. Во всех работах Долинина мы нашли только одну заметку об антисемитизме Достоевского, который он отвергает.[6]

Вполне возможно, что Долинин на склоне лет (он родился в 1885 г.) считал четвертый том «Писем» завершением труда всей своей жизни, посвященной работе над творчеством Достоевского и, может быть, последним вкладом в дело изучения Достоевского. Отрицательные высказывания Достоевского о социализме и коммунизме могли не очень беспокоить Долинина. Но иначе обстоит дело с отношением Достоевского к евреям. Эта неприятная нота «обидна» для памяти великого писателя, она нарушает общий портрет Достоевского, который в глазах Долинина непорочен. И не пощадив себя как редактора, Долинин, повидимому, полагал, что будущие поколения мало «пострадают» от этих переделок писем, а Достоевский только выиграет от вычеркивания мест, дисгармонирующих с образом великого художника и мыслителя. Заметим, кстати, что А. С. Долинин — еврей, настоящая фамилия его Искоз.

Правильно или неправильно наше предположение, мы, вероятно, никогда об этом не узнаем. Хотя в интересах русской литературы вопрос о причинах переделок писем Достоевского требует, конечно, ответа.

Д. Гольдштейн

---

[6] «Мережковские и Розановы создали себе Достоевского, своего, по своему образу и подобию, использовали его, как орудие классовой борьбы, действительно защищая мракобесие, антисемитизм, поповщину». Там же, стр. 24.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Неволя ты, невольница,
Разлука ты, разлучница,
Чужая сторона!
Так еженочно мучиться
У лунного окна.

Царапается, колется
Бесовская бессонница,
Бессонница-тоска.
Хоть на луну завой,
Хоть закричи совой,
Взлети до потолка!

Но нет, постой, постой,
Постой и помолчи —
«В муку всё перемелется»,
Как говорил Толстой,
(Не му́ка, а мука́
Та, что нужна для хлеба)
Ты видишь там, в ночи,
В апофеозе неба,
Скрестились, как мечи,
Победные лучи.

За лунною оконницей,
За городской околицей
Несутся тучи конницей
В июньском небе вскачь,
В победоносном шелесте,
В победоносной прелести
Всех будущих удач.

Труби в трубу трубач!

2

Сон без начала и конца,
Сон в центре звездного кольца,
Сон раскаленный до бела.
В сияньи тонет голова,
Сияньем кружатся слова.

Из лука воина-стрельца
Летит крылатая стрела,
Летит и ранит Льва —
Льва или Солнце?

Стон львино-солнечной тоски,
Сон раскололся на куски.
Но нет. Сон цел.

Осколки сна, как голубки,
Влетают в круглое оконце
Высокой тесной голубятни.
И сон становится понятней,
Насквозь, как море голубой,
И можно быть самой собой
Пока я сплю, пока сон цел,
Пока божественный прицел
Стрелу приводит прямо в цель,
И Пана пьяная свирель
Тревожит легконогих нимф,
(Пан здесь! О, встретиться бы с ним!)
И пенное морское чудище
Из скользких ритмов, хрупких рифм
Коралловый возводит риф,
Русалочий слагает миф.

Ни с Паном, нет, ни с пенным чудищем,
Ни с человеком, ни со зверем

Всем огорченьям, всем потерям
Наперекор
Веду
Я с небом разговор
О будущем
В раю.

3

Волшебная, воздушная весна.
На глади золотисто-голубой
Луна,
Как лотус на воде.
Звезда поет, звезда летит к звезде...
Не всё-ль равно весна или зима?
О, Господи, что делать мне с собой,
Чтоб не сойти с ума?..

Совсем не то. Не то, не то
И не о том.
Тревожно спит усталый дом,
Кряхтящим, стариковским сном.
На вешалке висит мое пальто.
Не помню кто,
Не помню где
Сравнил висящее пальто
С повешанным.
Но надо быть слегка помешанным
Для этакого вот сравненья.
Ах, вспомнила. Ведь это я сама
В моем стихотворении
С названием «Ночь в вагоне».
Там всё качание, движение,
Там о кукушке и вороне
И о заливчатой погоне

За призрачным оленем,
Там волны вдохновения с волнением,
С тоскою железнодорожной
Смешаны.

Там о веронской пересадке
И о моей потерянной перчатке —
Ее искать придется мне
Во тьме острожной
И огне,
В аду.
Как предсказал мне критик и поэт.

Но нет
Не ада я, а рая жду:
Я твердо верю, что в раю
Я обрету страну мою,
Я на земле везде была изгнанницей,
Бездомной босоножкой-странницей,
Ходившей — весело — по мукам.

Ирина Одоевцева

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

В своей юности мой отец принадлежал к революционной партии «Народная Воля» и состоял в ее террористической организации, совершившей убийство Александра II, 1-го марта 1881 года. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал и потому избег виселицы. Он пробыл один год и восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговоренный к каторжным работам, был сослан, этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку, в город Петропавловск (совпадение). Туда приехала к нему его жена, и далекий Петропавловск стал моей родиной.

Вскоре отец был помилован и смог постепенно, на собственные средства вернуться в европейскую Россию: сначала, в январе 1893 года — в Самару, где мы прожили года два, и — наконец — в Петербург.

В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичем Ульяновым, а также — с мужем его сестры, Марком Елизаровым. 1893-й год был исторической датой в биографии Ленина: он написал тогда, в Самаре же, статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», которая была первой его статьей, или — во всяком случае — первой из сохранившихся ленинских статей.

В августе того же года Ленин покинул Самару, и между ним и моим отцом завязалась переписка. В письменном столе отцовского кабинета долгие годы бережно хранились ленинские письма.

С течением времени в Петербурге, работая в одном из крупнейших страховых и транспортных обществ, отец, заняв вскоре пост директора, достиг зажиточного положения и обзавелся прекрасным имением в финляндском местечке Куок-

кала, где наша семья проводила летние месяцы в течение восемнадцати лет (1899-1917).

Перовская, Кибальчич, Михайлов, Желябов и Рысаков были, как известно, повешены. Два года спустя была арестована еще одна подруга моего отца, Вера Фигнер, принадлежавшая к той же революционной партии. Еще через год, за террористическую деятельность Фигнер была присуждена к смертной казни, но эту кару ей заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости.

В нашей квартире, в Петербурге, в кабинете моего отца неизменно висела под стеклом романтическая фотография юной красавицы, Веры Фигнер, с ее собственноручной надписью: «Дорогому Павлуше — Вера Фигнер». Революция 1905 года и последовавшие за ней демократические реформы (парламентский строй и пр.) освободили эту узницу, и так как дружеские отношения между моим отцом и Фигнер оказались, несмотря на двадцатипятилетний перерыв, ненарушенными, то Вера Николаевна сразу же из своей одиночной камеры переехала к нам в Куоккала. В имении было два дома: в одном жила наша семья, другой дом сдавался в наем. В этот год, ввиду всевозможных тревожных событий, второй дом временно пустовал, и в нем поселилась Фигнер. Она еще страдала человекобоязнью (что было последствием столь длительного одиночного заключения) и жила у нас, как отшельница, никогда не выходя одна из дома даже в окружавший его сад. Лишь по вечерам, когда мой отец возвращался «со службы» из Петербурга, она совершала с ним небольшую прогулку по нашему участку, останавливаясь перед цветочными клумбами; пробираясь сквозь высокую нескошеную траву луга, уже покрытого росой; бродила среди длинных огородных грядок, о которых отец любовно заботился, среди кустов малины, смородины и крыжовника, и отдыхала на скамейке в небольшом нашем нарочно запущенном лесу.

Я не забуду, как во время одной из таких прогулок Фигнер неожиданно вздрогнула и вскрикнула: ее обожгла крапива. Мой отец предложил Фигнер тотчас вернуться домой и помазать ногу какой-то помадой.

— Боже сохрани! Ни за что! — ответила Фигнер и, обернувшись на крапивный куст, умиленно добавила: — Даже и крапива сохранилась!

Пребывание в Куоккала Фигнер считала своим воскресением, возвратом к жизни.

Отец часто приводил меня с собой. В. Н. Фигнер называла меня Юриком. Гимназист пятого класса, я был уже замешан в гимназическом революционном движении, выступал с речами на «нелегальных» гимназических «сходках», участвовал в уличных демонстрациях, прятался от казаков в подворотни, видел кровь на мостовой и на тротуарах потерянные калоши и зонтики, состоял в школьном «совете старост».

— Привел юнца под благословение, — пошутил отец, представляя меня впервые В. Н. Фигнер.

Я смущенно и восторженно смотрел на нее. Мне казалось тогда, что лицам революционеров и, тем более, народников и террористов, свойственны особенная чистота и ясность форм.

— Я слышала, что вы уже тоже революционер? — улыбнулась Фигнер, — революции «все возрасты покорны».

Она расспрашивала меня о волнениях в средней школе, о наших революционных организациях, об основах школьной реформы, потом говорила о необходимости борьбы, о счастьи борьбы, о страданиях народа и вдруг, вздохнув и грустно усмехнувшись, сказала:

— Смеется хорошо тот, кто знает цену слезам.

Две-три недели пребывания у нас В. Н. Фигнер казались мне необычайно торжественными и значительными. Возвращаясь домой после своих вечерних прогулок с Фигнер, отец рассказывал, какая она умница, какая светлая женщина, какой мудростью, верой и добротой веет от ее слов, но однажды с горечью признался, что их пути всё же разошлись, и что она, по его мнению, уже не понимает эволюции реальной жизни.

*

В том же местечке Куоккала, верстах в трех от нашего имения, временно поселился также другой шлиссельбургский узник, народоволец Морозов (к которому мы ходили с отцом по бесконечной извилистой лесной дороге), и — в тот же год (1906) — переехал в Куоккала, скрываясь от петербургской полиции, В. И. Ленин, поселившийся на даче «Ваза». Он неоднократно заходил в наш дом навещать моего отца и В. Н. Фигнер. Таким образом, я впервые познакомился с Лениным в нашем собственном саду. Я, разумеется, уже знал, кем был Ленин, но ни он, ни его жена, Надежда Константиновна Крупская, меня тогда еще не интересовали.

Ленин был небольшого роста, бесцветное лицо с хитровато-прищуренными глазами. Типичный облик мелкого меща-

нина, хотя Ленин (Ульянов) и был дворянин. От моих куоккальских встреч с Лениным в моей памяти не сохранилось ни одной фразы, кроме следующей: раскачиваясь в саду на деревенских досчатых качелях, Ленин, посмеиваясь, произнес:

— Какое вредное развлечение: вперед — назад, вперед — назад! Гораздо полезнее было бы «вперед — вперед! Всегда — вперед!»

Все смеялись вместе с Лениным...

В Куоккала я видел и будущего кровавого советского прокурора, Николая Васильевича Крыленко, расстрелянного в свою очередь Сталиным. Молодой Крыленко выступил с «зажигательной» речью на «летучем» митинге, на вокзальной площади, и сразу же укатил куда-то на паровозе.

*

После отъезда В. Н. Фигнер из Куокалла я встретил ее снова в Париже, через пять лет. Я приехал в Париж в 1911 году заниматься живописью и, естественно, вошел в жизнь международной монпарнасской художественной богемы, творчество которой получило приблизительно в те же годы, обобщающее название «Парижской школы», цветущей по сей день. В этой среде было немало выходцев из России. Кое-кто из них соприкасался с кругами довольно многочисленной русской политической эмиграции. Благодаря этому я познакомился и подружился с Георгием Степановичем Хрусталевым-Носарем, бывшим председателем петербургского Совета Рабочих Депутатов в годы первой революции (1905). Роль Хрусталева-Носаря была в той революции значительной, и его прозвали даже «вторым премьером». Как известно, премьером (председателем Совета министров) тогда был граф С. Ю. Витте. Мне запомнился посвященный им обоим шутливый куплет, бывший популярным среди петербургской публики:

Премьеров стал у Росса
Богатый инвентарь:
Один премьер — без носа,
Другой премьер — Носарь.

У графа Витте нос был скомканный и в профиль был незаметен, как у гоголевского майора Ковалева.

Вернувшись на родину в 1918 году, Хрусталев-Носарь был в том же году растрелян советской властью.

В Париже он часто заходил ко мне на улочку Кампань Премьер, а я навещал его на авеню Гоблэн. Он сказал мне однажды, что на-днях состоится вечер русских эмигрантов (с танцами) и пригласил меня пойти туда с ним. На вечеринке я увидел Веру Фигнер. Она меня, однако, не узнала, и когда я назвал себя, спросила с радостным удивлением:

— Юрик? Павлушин сын? Боже мой, как возмужал!

Она поцеловала меня в обе щеки и подвела к человеку мелкобуржуазного типа, с усами, с бородкой и хитроватой улыбкой, в котором я тотчас узнал Ленина.

— Владимир Ильич, — обратилась Фигнер к нему, — позвольте вам представить: новое поколение нашей эмиграции.

Ленин улыбнулся и, пожав мне руку, спросил. в связи с какими событиями «молодой человек» эмигрировал?

— Я не эмигрант, — ответил я, — я легально приехал в Париж для занятия живописью.

— А я думала... — произнесла Фигнер, ее лицо вдруг стало грустным, и она умолкла, даже не назвав Ленину моего имени.

Ленин меня, конечно, тоже не узнал, и я сразу отошел от него.

Так состоялась моя вторая встреча с Лениным. На том же вечере я познакомился с Анатолием Луначарским, с Владимиром Антоновым-Овсеенко и с Л. Мартовым (Юлий Осипович Цедербаум). Ни Фигнер, ни Ленин, ни его жена Крупская, ни Мартов, ни Хрусталев-Носарь на этом вечере, как и следовало ожидать, не танцовали. Танцовали Луначарский (модное тогда танго) и Антонов-Овсеенко (что-то вроде польки).

С Мартовым я нередко встречался потом в довольно легкомысленном кафе «Таверн дю Пантеон», на углу бульвара Сэн-Мишель и улицы Суффло, в подвальном помещении. Там играл очень хорошо слаженный оркестрик, выступали кабаретные певички и певцы, и посетители танцовали. Мартов, вечно перегруженный работой, почти каждый вечер сидел там у столика, за чашкой кофе и рюмкой коньяка и писал бесчисленные страницы политических статей. Но за его столиком непременно сидели также две или три местные девицы, которых он угощал коньяком и ликерами и с которыми был в очень дружеских отношениях. Девицы звали Мартова "Monsieur Mars".

*

3-го апреля 1917 года я был на Финляндском вокзале, в Петербурге, в момент приезда Ленина из-заграницы. Я видел, как сквозь бурлящую толпу Ленин выбрался на площадь перед вокзалом, вскарабкался на броневую машину и, протянув руку к «народным массам», обратился к ним со своей первой речью.

Толпа ждала именно Ленина. Но — не я. «Историческая» речь Ленина, произнесенная с крыши военного танка, меня мало интересовала. Я пришел на вокзал встретить не Ленина, а Бориса Савинкова (автора «Коня Бледного»), который должен был приехать с тем же поездом.

Так проскользнула моя третья встреча с Лениным.

Вскоре мне удалось несколько раз увидеть Ленина на балконе особняка балерины Кшесинской, ставшего штаб-квартирой большевиков. Вокруг балкона собиралась разношерстная толпа, перед которой Ленин и неизвестные мне тогда его соратники беспрерывно произносили пропагандные речи.

*

Когда 18 июня 1917 года произошло первое большевистское вооруженное восстание против Временного Правительства, мой отец, возмущенный, вынул из своего архива письма Ленина, разорвал их и, на моих глазах, бросил в зажженную печь. Эта вспышка негодования осталась Ленину неизвестной.

*

В середине сентября 1917 года забежала ко мне одна моя приятельница, студентка медицинского института, ярая большевичка, работавшая в секретариате при Смольном институте для благородных девиц, в то время уже занятом Советом рабочих и солдатских депутатов и центральными органами большевистской партии.

В дореволюционное время инспектриссой Смольного была моя тетка, сестра моего отца, вышедшая замуж за Николая Воронихина, личного врача императора Александра III-го. Доктор Воронихин был внуком знаменитого зодчего и живописца, Андрея Никифоровича Воронихина, украсившего Санкт-Петербург Казанским собором, зданием Горного института, до-

мом Казначейства, построившего дворцы в Петергофе, в Гатчине, в Стрельне, колоннады и каскад в Петергофе и изумительную строгановскую дачу на Большой Невке. В квартире моей тетки я всегда заглядывался на замечательный автопортрет Воронихина.

Семья Николая Воронихина была тесно связана с нами, и его дети, Кока и Маруся, были завсегдатаями нашего дома. После смерти их отца, Кока — тогда гимназист восьмого класса — переселился к нам. Маруся же, еще подросток, будучи воспитанницей Смольного института, жила в его здании и вместе со своей матерью нередко приглашала меня, по-родственному, в институт на торжественные ученические балы, куда я отправлялся в гимназическом «мундире» танцовать вальс и па-де-катр с «благородными девицами», облеченными в очень красивую институтскую форму, а также пить фруктовый сироп, закусывая нежнейшими пирожными. Здание Смольного института, его коридоры и залы стали, благодаря этому, для меня хорошо знакомыми и оказались очень мало похожими на их будущую реконструкцию в известном французском фильме Мориса Турнера «Катя», с прелестной Даниэль Дарье в заглавной роли.

Движимый любопытством, я несколько раз побывал в период октябрьской революции («десять дней, которые потрясли мир», по выражению Джона Рида), в Смольном институте. Окруженный броневиками и пулеметами, он был еще более неузнаваем, чем в упомянутом фильме. Вместо грациознейшей Даниэль (а таких было очень много в институте до февральской революции) — горластые рабочие и солдатские (вернее, дезертирские) депутаты, в засаленных тужурках и рваных шинелях, с сорванными погонами, не только топтали по всем этажам валенками и сапогами почерневший паркет, дымя махоркой и пачкая стены, но часто храпели на полу, зарывшись в тряпки своих одежд. Возле двери, ведущей в кабинет Ленина, постоянно стояли то один, то два, то целый десяток вооруженных красногвардейцев. На двери оставалась прибитой металлическая дощечка с надписью:

«Классная дама».

Прибежавшая ко мне из Смольного приятельница в радостном возбуждении передала мне копию письма, присланного Лениным в ЦК партии из Финляндии, где ему пришлось в то время скрываться.

Вот этот, исключительный по неожиданности формы и мотивировки, текст:

«Надо на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере, в Москве, завоевание власти, свержение правительства. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: восстание есть искусство.

К числу наиболее злостных и распространенных извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как к искусству, есть бланкизм.

Обвинение в бланкизме марксистов за отношение к восстанию как к искусству! Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться, как к искусству...

Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается марксизм от бланкизма.

Но раз налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к искусству, значит изменить марксизму и изменить революции.

Переживаемый нами момент надо признать именно таким, когда обязательно для партии признать восстание поставленным ходом объективных событий в порядок дня и отнестись к восстанию, как к искусству.

За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и к озверению...

Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.

Мы должны доказать, что мы не на словах только признаем мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию, как к искусству. А чтобы отнестись к восстанию, как к искусству, мы, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить

Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания в центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.

Это всё примерно, конечно, лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не отнесясь к восстанию, как к искусству».

Прочитав это наставление, я рассмеялся. Моя приятельница испуганно взглянула на меня.

— Я никогда не предполагал, что Ленин — такой глубокий теоретик искусства, — пояснил я, смеясь.

Не более, чем через год после октябрьского переворота, моя приятельница, бывшая ярой большевичкой, но родители которой пали жертвой уличного самосуда, прокляла революцию и навсегда эмигрировала из советской России.

В ночь на 26-ое октября 1917 года, после взятия Зимнего дворца и ареста членов Временного Правительства, я снова пробрался в Смольный, где до 5 часов утра заседал съезд Советов. На трибуне появился Ленин, вернувшийся из своего подполья. Встреченный неудержимыми рукоплесканиями, он, выждав минуту, взмахнул рукой и произнес:

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась. Отныне у нас будет наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Очередные задачи: немедленная ликвидация войны, немедленное уничтожение помещичьей собственности на землю, установление контроля над производством. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит всё и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Снова раздались бурные аплодисменты, крики: Ленин! Ленин! Ленин! и, еще не совсем уверенно, разразилось в переполненном до отказа зале пение Интернационала, как гимна.

Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор не расслышанной, непонятой или умышленно забытой в Западной Европе, в Америке, во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза с той ночи и по сегодня является законом и неизменной целью: всемирная социалистическая революция. Судьба России, как таковой, Ленина больше не интересовала. Россия стала для него (и для его последователей) только частностью. Подобное непонимание или забывчивость приносят с каждым днем всё новые и новые победы международному коммунизму, то есть — расширению всечеловеческого рабства.

*

Александр Ильич Ульянов, брат Ленина, активный народоволец, был в 1887 году казнен в Шлиссельбургской крепости за участие в покушении на жизнь Александра III. Я помню, как через несколько дней после октябрьской революции, один из друзей моего отца, сидевший у нас в гостях, сказал, говоря о Ленине:

— К сожалению, не того брата повесили.

В те же дни я случайно подслушал на улице, в углублении какого-то подъезда, такой шопот:

— Ленин? Отъявленный капиталист!

— То есть как?

— Да очень просто: он только на «Капитал» и ссылается!

*

В ноябре того же года к моему отцу приехал от имени Ленина Марк Елизаров с предложением занять пост народного комиссара по социальному страхованию. Ленин предложил этот пост моему отцу, зная, что он был большим специалистом по вопросам страхования. Отец ответил категорическим отказом, заявив, что он является противником произведенного вооруженного переворота, свергнувшего демократический строй, противником всяческой диктатуры — личной или классовой

(в данном случае диктатуры «пролетариата»), и что он не желает вступать ни в какое сотрудничество с ленинской партией и его правительством.

Отправившись через день в банк, чтобы взять некоторую сумму денег на недельные расходы, отец узнал, что его текущий счет был целиком конфискован большевистской властью и что страховое общество, которым он управлял, уничтожено. Отец вернулся домой нищим. В 1920 году он умер. Когда весть о его смерти дошла до Ленина, моей матери была неожиданно назначена неплохая пожизненная пенсия, как «вдове революционера».

Был ли это у Ленина просто акт политического лицемерия или жест, вызванный желанием очистить свою совесть, я не берусь судить. Второе предположение так же возможно, как и первое.

«Мы знаем Владимира Ильича Ленина, какой это был железный большевик... Но мы видим, по рассказу Лядова (М. Лядов, «Мои встречи с Лениным», 1924), как Владимир Ильич в Женеве был на спектакле «Дама с камелиями», и когда Лядов обернулся к Владимиру Ильичу, то увидел, как он платочком вытирал слезы». (Стенограмма «беседы» В. Мейерхольда с самодеятельными художественными коллективами завода «Шарикоподшипник», 27 мая 1936 года, в Москве).

*

В первых числах октября 1918 года я был назначен московским Советом председателем «флажной комиссии» и стал ответственным за «костюмировку», за декорирование советской столицы по случаю грандиозных торжеств первой годовщины октябрьской революции. В течение трех недель я делал бесчисленные карандашные и акварельные наброски, по которым должны были украшаться улицы, площади, фасады; я должен был также контролировать проекты других художников, выбранных для участия в работах моей «комиссии», наблюдать и обеспечивать успешное исполнение гигантских декораций Москвы и ее предместий. Персонал и декорационные мастерские московских театров были целиком предоставлены в мое распоряжение. Десятки портных были «мобилизованы» для шитья многих тысяч аршин красной материи и холстов для живописи.

При этой «комиссии» имелась также «подкомиссия для распределения лозунгов». Среди лозунгов, намеченных Централь-

ным Комитетом партии, была хорошо известная престарелая цитата из Карла Маркса: «Революция, это — локомотив истории». При взрывах общего хохота мы предназначили этот лозунг для железнодорожников и разослали на все вокзалы огромные знамена, на которых написанный локомотив имел на своей «груди», над буферами, портрет бородатого Маркса. По забавному совпадению, через четыре года знаменитый французский кинорежиссер Абель Ганс в фильме «Колесо» также украсил паровоз портретом: Северэна Марса. Смех вырвался у меня и в 1935 году (семнадцать лет спустя), когда я прочел в «Правде», что донские железнодорожники обратились к Сталину, назвав его «машинистом локомотива истории»...

В течение двух недель я не смыкал глаз. Я помню мои вспухшие веки и покрасневшие глаза. В 8 часов утра 7 ноября (по новому стилю) процессии и прочие уличные манифестации должны были начаться. Накануне, в 23 часа, я закончил последние работы, осмотр украшенной Москвы и, едва держась на ногах, приготовился вернуться домой, захватив с собой, старательно упакованные, несколько аршин красной материи для моей подруги (так как, несмотря на сотни тысяч аршин материи, истраченной на всевозможные знамена, афиши и прочие пропагандные украшения, царило полное отсутствие материи для одежды населения). Но в тот самый момент, когда я взялся за ручку двери, чтобы покинуть «флажную комиссию», раздался телефонный звонок: говорил народный комиссар почты и телеграфа Николай Подвойский (впоследствии расстрелянный Сталиным), ответственный за общую организацию торжеств:

— Дорогой товарищ, — сказал мне Подвойский взволнованным голосом, — произошла ужасная вещь, и вы один можете нас выручить! Всё было предвидено, кроме самого главного: трибуна на Красной площади для членов правительства и иных ответственных лиц, всего — для сотни человек. На этой трибуне должны быть дополнительные подмостки с кафедрой, с которой в 9 часов утра завтра товарищ Ленин должен будет произнести свою речь. Под трибуной должна быть обширная зала с телефонными и телеграфными аппаратами. Я прошу вас сделать невозможное и рассчитываю на вашу революционную совесть и на ваше мастерство! Отправьтесь немедленно в Главный штаб Московского Военного округа; его начальник предупрежден уже и предоставит в ваше распоряжение всё, что вы найдете нужным, а также отряды саперов. Желаю вам удачи! До завтра!

Десять минут спустя, в сопровождении старшего плотника «флажной комиссии» и не выпуская из рук драгоценный пакет, я уже был в названном Главном штабе, где его начальник предоставил мне целый караван грузовиков для перевозки строительного материала, вооруженную охрану и обещал немедленно прислать на Красную площадь отряд саперов с необходимыми инструментами. Ночь была ледяная, и я потребовал несколько бочек с керосином, чтобы вылить его на затвердевший снег и поджечь, чтобы лед растаял на пространстве, отведенном для трибуны.

Частные склады строительных материалов в ту эпоху были еще далеко не все национализированы, а национализированные склады находились в состоянии полного беспорядка. Мой плотник знал все тайные пути, и мы прибыли к торговцу деревом за несколько верст от Москвы.

— Прикажете зарядить оружие? — спросил меня старший охранник.

— В другой раз, — ответил я, смеясь.

Разбуженные нашим неожиданным ночным появлением, торговец в кальсонах и его жена в ночной рубахе, смертельно перепуганные, дрожали передо мной.

— Успокойтесь, граждане, — сказал я, — я пришел только для того, чтобы опустошить ваши склады на срочные нужды товарища Ленина.

— Только для этого? — облегченно прошептал купец, — какой вы добрый!

В этой фразе торговца не было, увы, никакой иронии.

Сторожа открыли сараи, которые мы просто-напросто ограбили: бревна, доски, гвозди и прочее.

Саперы и керосин уже ждали меня. Огромный огонь расползся по пустынной Красной площади. В две минуты я набросал контуры трибуны, столь же гигантской, как и «исторической», и в 1 час ночи постройка началась. Около четырех часов утра, в ночной тьме и сопровождаемый вооруженными солдатами, появился отряд, долженствовавший сменить усталых саперов, замученных холодом и слишком напряженной работой. Однако, внешний вид вновь пришедших удивил меня и вызвал во мне недоверие: эти люди, уже не первой молодости, носили вместо военной формы разнообразные штатские одежды, истертые пальто, мягкие шляпы, башлыки; некоторые были в очках.

— Кто вы такие? — спросил я с недоумением.

Бригада интеллигентов на принудительных перевоспитательных работах, — был ответ. — Что мы должны делать?

— Строить трибуну для Ленина.

— Гражданин ответственный! — воскликнул один, — вы слышите?

— Что ж! Построим, построим, — мрачно ответил «гражданин ответственный».

Я принял немедленное решение: мне уже мерещились некоторые предусмотрительно подпиленные доски, некоторые плохо скрепленные столбы, которые, может быть, не изменят будущее вселенной, но мою собственную судьбу — неизбежно.

— Это недоразумение, господа, — сказал я, — вы можете спокойно возвратиться в ваши помещения... А ваши солдаты, если это им доставит удовольствие, могут остаться здесь, — прибавил я в шутку.

Они повернули обратно, а я послал мотоциклиста в Главный штаб с требованием немедленной присылки нового отряда настоящих саперов...

В 8 часов утра, при первом свете зимней зари, трибуна, оконченная и украшенная знаменами, выросла на площади. Изнуренный, с насморком, я вернулся домой, с пустыми руками. За нехваткой материи, к моему огорчению, мне пришлось постелить драгоценное руло на ступеньках и на площадке перед кафедрой Ленина. В 9 часов утра Ленин зашагал по несбывшимся платьям моей подруги.

Несмотря на полученное приглашение присутствовать на трибуне, меня там не было, и выступление Ленина я не слушал: я спал или — вернее — дрых до трех часов пополудни. Сколько фотографий было снято с «моей» трибуны сосчитать трудно, но у меня не сохранилось ни одной.

*

Шесть лет спустя, на том же самом месте был воздвигнут «мавзолей» ведетты № 1 двадцатого века.

*

В 1921 году советская власть заказала мне портрет Ленина, и мне пришлось явиться в Кремль. Когда все очень несложные формальности были исполнены, меня провели в кабинет Ленина.

То, чего я инстинктивно ожидал, не произошло: Ленин не сидел за столом, углубившись в бумаги. Ленин не сделал обычной в таких случаях паузы, как бы с трудом отрываясь от дел и почти случайно заметив вошедшего. Напротив: как только я показался в дверях кабинета, Ленин быстро и учтиво встал с кресла, направляясь ко мне навстречу.

— Странно, — сказал он, гостеприимно улыбнувшись, — я думал почему-то, что вы — гораздо старше... Садитесь, пожалуйста, будьте как дома.

Мы сели друг против друга.

— Я — жертва нашей партии, — продолжал Ленин, — она заставляет меня позировать художникам. Скажите, в чем будут мои обязанности и как вы хотите меня изобразить?

В двух словах я рассказал, что Ленин олицетворяет собой движение и волю революции, и что именно это я вижу необходимым отразить в портрете.

Л е н и н (улыбаясь): — Но, простите, я ведь только скромный журналист. Я предполагал, что на вашем портрете я буду изображен просто сидящим за письменным столом. Когда я увижу ваш холст осуществленным так, как вы его мне представляете, то я непременно залезу под стол от смущения.

Я: — Право и привилегия художника — создавать образы и даже легенды. Если наши произведения оказываются в противоречии с правдой, то будущее наказывает за это прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы, художники, не можем и не должны. О Ленине-журналисте, простите меня, я не задумывался, а писать портрет обывателя с бородкой я считаю сейчас несвоевременным.

После краткого молчания (я сказал, конечно, много лишнего), Ленин улыбнулся и произнес:

— Хорошо. Я нахожу недопустимым н а в я з ы в а т ь художнику чужую волю. Оставим это право буржуазным заказчикам. Поступайте так, как вам кажется наиболее правильным. Я в вашем распоряжении, приказывайте, я буду повиноваться. Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь партийной дисциплине, я исполняю волю партии, но я — не ваш сообщник.

И, рассмеявшись:

— Ответственность, как вы сказали, останется на ваших плечах.

Ленин был неразговорчив.. Сеансы (у меня их было два) проходили в молчании. Ленин как бы забывал (а, может быть, и действительно забывал) о моем присутствии, оставаясь,

впрочем, довольно неподвижным, и только, когда я просил его взглянуть на меня, неизменно улыбался. Вспомнив о ленинской статье «восстание, к а к и с к у с с т в о», я попробовал тоже заговорить об искусстве.

— Я, знаете, в искусстве не силен, — сказал Ленин, вероятно, позабыв о своей статье и о фразе Карла Маркса, — искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! вырежем. За ненужностью. Впрочем, — добавил Ленин, улыбнувшись, — вы уже об этом поговорите лучше с Луначарским: большой специалист. У него там даже какие-то идейки...

Ленин снова углубился в исписанные листы бумаги, но потом, обернувшись ко мне, произнес:

— Вообще, к интеллигенции, как вы знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг «ликвидировать безграмотность» отнюдь не следует толковать, как стремление к нарождению новой интеллигенции. «Ликвидировать безграмотность» следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего.

Каждый сеанс длился около двух часов. Не помню, в связи с чем, Ленин сказал еще одну фразу, которая удержалась в моей памяти:

— Лозунг «догнать и перегнать Америку» тоже не следует понимать б у к в а л ь н о: всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку — это означает п р е ж д е в с е г о необходимость возможно скорее и всяческими мерами п о д г н о и т ь, р а з л о ж и т ь, р а з р у ш и т ь ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически «догнать и перегнать» Соединенные Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть р е а л и с т о м.

Ленин снова хитровато улыбнулся:

— Художник, конечно, тоже. Импрессионизм, кубизм, футуризм и всякие другие «измы» искажают искусство. Оно должно обойтись без «измов». Искусство должно быть реальным.

На банальную тему об отрицательной роли «измов» в искусстве Ленин писал в своих статьях. Раньше или позже наших сеансов — не помню.

Я хотел было спросить Ленина, как он относится к таким «измам», как «социализм», «коммунизм», «марксизм» и — в будущем — неизбежный «ленинизм», но удержался и промолчал. В комнату тем временем вошла Крупская и спросила меня, не хочу ли я «глотнуть чайку»? Я отказался и, поблагодарив, поцеловал ее руку.

— Ишь ты! — воскликнул Ленин, засмеявшись, — вы, часом, не из дворян?

— Из дворян.

— Ах, вот оно что... Впрочем, я — тоже.

Когда мой набросок был окончен, Ленин, взглянув на него, сказал:

— Très bien, товарищ художник! Посмотрим, во что вы его потом превратите.

Весело смеясь, мы расстались, «товарищески» пожав друг другу руки, но, унося рисунок в папке, я уже знал, что задуманный ранее портрет Ленина, как символ боевой воодушевленности революции, символ перекройки судеб человечества, я не сделаю. Роль Ленина в подобной «перекройке» показалась мне историческим недоразумением, промахом, массовой аберрацией.

Выйдя из кремлевских ворот, я вдруг испытал чувство морального облегчения, смысл которого осознал лишь пройдя три или четыре улицы: оно было вызвано тем, что мое имя не ассоциировалось у Ленина с именем и драмой моего отца, которые не вплелись в наши беседы.

*

В декабре 1923 года Лев Борисович Каменев (тогда — председатель московского Совета), впоследствии расстрелянный Сталиным, предложил мне поехать с ним в местечко Горки (в 35 верстах от Москвы), куда, ввиду болезни, укрылся Ленин со своей женой. Я вижу, как сейчас, уютнейший б а р с к и й (а не «рабоче-крестьянский») желтоватый особнячек в стиле русского ампира, с шестью белыми колоннами, возвышавшимися над голубым декабрьским снегом двора и сада.

Каменев хотел, чтобы я сделал п о с л е д н и й набросок с Ленина. Нас встретила Крупская. Она сказала, что о портрете и думать нельзя. Действительно, полулежавший в шэзлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с беспомощной, искривленной младенческой улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстра-

ции его страшной болезни, но не для портрета.

Я не хочу вспоминать об этой поездке в Горки, но и не могу забыть о ней. Это была моя последняя встреча с Лениным.

*

Осенью того же двадцать третьего года мне случилось ехать в Москву с Григорием Зиновьевым, в его личном вагоне. Первый председатель Третьего Интернационала (расстрелянный впоследствии Сталиным) говорил со мной о Париже. Глаза Зиновьева были печальны, жесты — редкие и ленивые. Он мечтательно говорил о Париже, о лиловых вечерах, о весеннем цветении каштанов, о Латинском квартале, о библиотеке Святой Женевьевы, о шуме улиц, и опять — о каштанах весной. Зиновьев говорил о тоске, овладевающей им при мысли, что Париж для него теперь недоступен. В Петербурге Зиновьев жил в гостинице «Астория», перед которой на площади — Исаакиевский собор, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, и купол которого Зиновьев ежедневно видел из своей парижской комнаты. Перед входом в Пантеон — зеленая медь родэновского «Мыслителя», упрятанного нынче в музей... Багровые листья осеннего Люксембургского сада; на скамейке — японский юноша, студент Сорбонны, размышляющий над французским томом химии или философии; золото рыб в темной влаге фонтана Медичи; осенние листья, порхающие над аллеями; эмигрантские споры за бутылкой вина в угловом «бистро»...

Вспоминая о Париже, Зиновьев рассказал, как Ленин, по вечерам, «бегал на перекресток» за последним выпуском вечерних газет, а ранним утром — в булочную за горячими подковками.

— Его супружница, — добавил Зиновьев, — предпочитала, между нами говоря, бриоши, но старик был немного скуповат...

Часа в 4 утра Зиновьев неожиданно воскликнул:

— Жратва!

Обслуженные его охранниками, мы съели копченый язык и холодные рубленные куриные котлетки, запивая их горячим чаем. Около 5 часов утра Зиновьев промычал:

— Айда дрыхать! — и, растянувшись на кушетке, сразу же захрапел, не раздевшись.

*

Косвенным образом меня связывало с Лениным еще одно знакомство: близкий друг моего отца, его товарищ по ссылке и завсегдатай нашего дома, писатель и врач, Сергей Яковлевич Елпатьевский. Автор книг «Рассказы о прошлом», «Очерки Сибири», «Окаянный город», «Служащий», «Воспоминания за 50 лет» (где Елпатьевский писал о своих современниках — Н. К. Михайловском, Г. И. Успенском, А. П. Чехове и других), Елпатьевский, вместе с Н. Ф. Анненским (братом поэта Иннокентия Анненского) был редактором «толстого» журнала «Русское Богатство» и — после октябрьской революции — личным врачем Ленина, «кремлевским лекарем».

С моего раннего детства и сквозь все годы моей юности в дни моих, довольно редких, заболеваний я всякий раз видел добрую, подбодряющую улыбку Сергея Яковлевича, склонявшегося над моей постелью. В послеоктябрьский, «кремлевский» период своей жизни Елпатьевский, во время наших встреч, много и очень интересно рассказывал мне о Ленине, у которого бывал иногда почти ежедневно, но который в годы, предшествовавшие октябрьской революции (1913-1914) писал о Елпатьевском не очень дружелюбно.

Это, вероятно, и сыграло решающую роль для всех тех, кому в СССР пришлось и приходится писать о Елпатьевском (Советская Энциклопедия и пр.). Нигде не упоминается о том, что Елпатьевский был в Кремле л и ч н ы м врачем Ленина. Но что это было так, мне известно с полной точностью.

Сергей Яковлевич говорил мне о своих разногласиях с Лениным, об ошибках марксизма, с которым Елпатьевский, бывший народоволец, отошедший от политической деятельности и ставший беспартийным, не мог согласиться.

— Но я доктор, лекарь, и наше разногласие не мешает мне следить за здоровьем Ильича, — улыбался Елпатьевский, — политика и медицина не совпадают: политика часто требует угнетения и даже смерти. Медицина требует хорошего здоровья даже для приговоренного к смерти преступника.

*

Ленин умер 21 января 1924 года. Эхо разнеслось по всему миру. Виктор Серж писал в своем "Tourmant obscur": — «Я путешествовал в окрестностях Вены в один из январских

дней 1924 года... В купе вагона, заполненном ожиревшими и пожилыми пассажирами, кто-то развернул газету, в которой я прочел заголовок: «Смерть Ленина»... Потом эти люди заговорили об этой смерти. Я слушал. Среди них — ни одного коммуниста, но каждый произносил свои слова с особой серьезностью, с сознанием, что ушел кто-то единственный в своем роде и очень большой, унеся с собой в могилу множество надежд того времени. Я смотрел на лица этих людей другой страны, другого мира, мелких австрийских буржуа, чуждых всякой революции, всякому обновлению: они, каждый по-своему, выражали с о ж а л е н и е по поводу смерти революционера».

Возможно...

Я жил в то время в Петербурге, работая над одной театральной постановкой. Но на следующий день после смерти Ленина я получил срочный вызов в Москву для того, чтобы написать портрет Ленина в гробу. Меня эта работа не вдохновляла и, чтобы избежать ее, я тотчас переселился на несколько дней к одной актрисе Большого Драматического Театра (бывший Суворинский театр), не оставив в моем доме моего нового адреса, но подсунув полученный вызов под мою входную дверь, как это обычно делал почтальон: звонок не действовал.

Портрет Ленина на смертном одре был написал масляными красками К. Петровым-Водкиным, а общий вид траурной залы Дома союзов, украшенной пальмами и знаменами, где отдавались последние почести Ленину, был запечатлен на гравюре А. Кравченко.

Однако, приехав в Москву недели через три, я был немедленно вызван в Высший Военный Редакционный Совет, где мне предложили отправиться в основанный в Москве Институт В. И. Ленина, для ознакомления с фотографической документацией ввиду предполагавшихся иллюстраций для книг, посвященных Ленину.

«Ознакомление с документацией» продолжалось около двух недель. В облупившемся снаружи и неотопленном внутри «Институте В. И. Ленина» (не путать с менее облупившимся, но столь же неотопленным в те годы московским «Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса»), меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг, извлеченный из черепа во время бальзамирования трупа: одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами; другое, как бы подвешенное к первому на тесемочке, — сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха. Через несколько дней эта страшная банка исчезла из Ин-

ститута и, надо думать, навсегда. Мне говорили в Кремле, что банка была изъята по просьбе Крупской, что более, чем понятно. Впрочем, я слышал несколько лет спустя, будто бы ленинский мозг для медицинского исследования был перевезен куда-то в Берлин.

Среди множества ленинских рукописей я натолкнулся там на короткие, отрывочные записи, сделанные Лениным наспех, от руки, с большим количеством недописанных слов, что, вообще, было характерно для многих его писаний — до частных писем включительно (я мог судить по письмам, адресованным моему отцу). Эти записи, помеченные 1921-м годом, годом кронштадтского восстания, показались мне чрезвычайно забавными, и, без какой бы то ни было определенной цели, но просто так, я, не снимая рваных варешек (пар изо рта валил облаками), незаметно переписал их в мою записную книжку. Вскоре, однако, и эти ленинские странички, как и банка с мозгом, исчезли из Института или — ушли в партийное «подполье». Во всяком случае, я никогда не видел их опубликованными (за исключением двух-трех отдельных фраз), что тоже вполне понятно.

Когда в 1926 году Борис Суварин (во Франции) и Макс Истман (в Соединенных Штатах) опубликовали знаменитое противосталинское «Завещание» Ленина, переданное Суварину Крупской, то коммунистическая пресса всего мира обрушилась на них, называя их клеветниками, а ленинское завещание — их выдумкой, апокрифом. Доверчивые европейцы и американцы сразу же поверили коммунистам, и завещание было скоро забыто, как анекдот. Прошло 30 лет, прежде чем Никита Хрущев, вынужденный «десталинизацией», огласил, в свою очередь, этот документ, секретно хранившийся в Кремле, и только после этого все вдруг поверили в его подлинность и в его, теперь уже утерянное, значение.

Когда я приехал во Францию, моя записная книжка лежала в моем кармане. О ленинских записках я больше не думал. Впрочем, если бы я и попытался их опубликовать заграницей, их, несомненно, ожидала бы участь ленинского «Завещания». Но с течением времени они постепенно заняли в моем сознании одно из главных мест при мыслях о международном политическом положении, и, после хрущевских признаний, я решил добиться опубликования ленинских страниц. Переведя их на французский язык, я предложил этот текст некоторым парижским газетам. Но все они отказались взять на себя «подобную ответственность», оправдываясь тем, что я не могу

представить «официальных доказательств» подлинности текста. В ответ на мое замечание, что — в данном случае — Советы должны предъявить доказательства, что Ленин этого никогда не писал, редакторы газет пожимали плечами. Текст остался неопубликованным, несмотря на то, что его историческое значение (которое я сам, в 1924 году, не смог осмыслить), по-моему, огромно.

В первые годы после Октября Ленин, человек практически дальновидный, скоро понял невозможность немедленного осуществления коммунистической революции в мировом масштабе и уже во время третьего конгресса Коминтерна необходимость восстановления дипломатических и коммерческих связей с «капиталистическими» странами была признана обязательной для спасения Советской России от ее слишком рискованной изоляции. Задача начать в этом направлении первые дипломатические шаги была возложена на Г. Чичерина.

Необнародованные ленинские записки говорили:

«В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения...»*

«Революция никогда не развивается по прямой линии, по непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготавливая их конечную победу.**

«На основании тех же утверждений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической ре-

---

* В ленинском оригинале написано так: «В результ. моих непосред. наблюдений в годы моей эмигр. я должен признаться, ч. т. н. культурные слои Зап. Европы и Ам. не способны разбираться ни в соврем. полож. вещей, ни в реальн. соотношении сил...» Дальше — точно так же.

** Этот пассаж стал известен еще при жизни Ленина и был не однажды повторен и комментирован Сталиным и позже — Хрущевым. Но прочитав это в Институте Ленина, я невольно улыбнулся: мне припомнилась фраза, сказанная Лениным на качелях в Куоккала. Эти фразы противоречили друг другу.

волюции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами.

а) Провозгласить, для успокоения глухонемых, отделение (фиктивное!) нашего правительства и правительственных учреждений (Совет Народных Комиссаров и пр.) от партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории Советских Социалистических Республик. Глухонемые поверят.

б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей».

«Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью. Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства».

Бросая теперь ретроспективный взгляд на почти полное сорокалетие «деловых» связей Советского Союза с «капиталистическими» странами, нельзя не признать записки Ленина пророческими. «Дипломатические» (если можно так выразиться) успехи советской власти достигли таких высот, что СССР имеет теперь в каждой свободной стране по два посольства: одно — официальное, которое не вмешивается во внутренние дела страны, где оно находится; второе — которому поручено вмешиваться во внутренние дела, помещается в центральном комитете местной коммунистической партии.

*

С предполагавшимися иллюстрациями дело дальше не пошло. Но в конце марта 1924 года я получил следующее письмо:

«СССР.
К. Ф.
Управление фабриками заготовления Государственных знаков

Художнику Анненкову, Ю. П. адрес: Ленинград.

Технический отдел
22 марта 1924 г.
Мытная 17,
Москва, Ильина, № 10
Адрес для телеграмм: Москва, «Госзнак».
Тел. № 74-38

Управление фабриками Госзнак, нуждаясь в создании оригинала портрета В. И. Ленина, который одновременно, являясь художественным, мог бы служить и для целей последующего воспроизведения с него классической гравюры на металле для изделий Госзнака, остановилось на мысли обратиться к некоторым художникам с предложением исполнить такой портрет-оригинал на следующих условиях:

1. Портрет ввиду указанной цели должен быть исполнен в академическом характере, желательно итальянским карандашом или однотонной живописью и быть вполне законченным (не эскизным).

2. Размер портрета предоставляется выбору и усмотрению художника, причем, однако, также следует иметь в виду вышеуказанное назначение портрета (служить оригиналом для металлографской гравюры).

3. Крайний срок для исполнения и представления в Управление Госзнака портрета назначается 15 мая 1924 года.

4. За каждый исполненный портрет по представлении его в Управление Госзнака (Мытная ул., д. 15-17), автору его будет уплачено 500 чер. руб., причем оригинал портрета будет считаться собственностью Госзнака и по его усмотрению может быть воспроизведен всеми доступными ему способами.

5. Кроме того, по выбору Управления Госзнака, два лучших для целей гравюрного воспроизведения портрета, из числа представленных, будут премированы дополнительно: первый премией в 1.000 р. и второй — премией в 500 р.

Предлагая Вам принять на себя исполнение такого портрета-оригинала на указанных выше условиях, Управление просит Вас уведомить его о согласии или несогласии.

Управляющий фабриками Заг. Госуд. Зн.

Енукидзе».*

Такое же письмо было получено Исааком Бродским, Натаном Альтманом, Николаем Андреевым и еще некоторыми из тех художников, которые имели случай сделать портрет или набросок с живого Ленина.

Я дал мое согласие и, приехав в Москву, исполнил большой портрет Ленина по моему наброску 1921 года. Голова Ленина, написанная масленными красками (черной и белой), занимала на холсте полтора квадратных аршина. Единственно, с чем я не мог согласиться и чему я не подчинился, было условие выполнить портрет в «академическом характере». Мой портрет был ближе всего к кубизму, как и все мои работы тех лет. Дня за 3-4 до указанного «крайнего срока» он был уже сдан в Госзнак. Несмотря, однако, на отсутствие «академизма», я получил через месяц, за подписью Енукидзе, извещение, что именно моему портрету Управление Госзнака присудило первую премию. Это оказалось весьма своевременным, так как я подготовлял мой отъезд заграницу и, конечно, деньги мне были очень нужны. 1.000 рублей равнялась тогда приблизительно 37.000 французских франков, что в 1924 году являлось для меня довольно полезной суммой. Заграницей у меня не было никаких связей, и я знал, что мне придется начать мою жизнь сначала.

Мой портрет Ленина был вскоре воспроизведен на советских почтовых марках, а также — выставлен в советском павильоне на парижской международной декоративной выставке 1925 года. Кроме того, я видел этот портрет воспроизведенным в различных заграничных печатных органах, как и мой набросок, сделанный в Кремле в 1921 году. В 1958 году в итальянской газете "Il Giorno" от 27 июня, в статье, посвященной истории знаменитого парижского монпарнасского кафе «Ротонда», я увидел мой кремлевский рисунок, сопро-

* Впоследствии — расстрелян Сталиным.

вожденный следующим пояснением: «Ленин посещал «Ротонду», где художник Анненков сделал его портрет, который мы публикуем». В течение трех лет, что я прожил в Париже до революции, в 1911-1913 годах, я, завсегдатай «Ротонды», постоянно встречал там Цадкина, Пуни, Кислинга, Шагала, Фужиту, Орлову, иногда — Аполинэра, Модильяни и многих других известностей и знаменитостей, до Пикассо включительно, но ни разу не видел Ленина. Впрочем, Ленин покинул Париж в самом начале 1912 года. Теперь журналисты придумали эту ленинско-ротондовскую легенду и довольно часто об этом пишут.

Где находится сейчас мой большой портрет Ленина, мне неизвестно. Рисунок, сделанный в Кремле — пока еще в Париже, в частной коллекции.

Ю. Анненков

И. А. БУНИН*

9 ноября 1933 года И. А. Бунин сидел на дневном сеансе в кинематографе Грасса. Шла какая-то «веселая глупость» под названием «Бэби» и Бунин смотрел с особенным удовольствием, — играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Вдруг в темноте загорелся луч ручного фонарика. Л. Ф. Зуров тронул писателя за плечо и взволнованно сказал:

— Телефон из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется и просит поскорее прийти домой.

Первое, что подумал Бунин: жаль, так и не узнаю, что стало с Кисой в конце фильма. Отправились домой. По дороге Бунин начал расспрашивать: что, собственно, сказали?

— Непонятное что-то. Премия Нобеля... Ваш муж...

— А дальше?

— А дальше не разобрали.

— Не может быть. Вероятно, еще какое-нибудь слово было. Например, не вышло, очень сожалею....

Так сразу оборвалась его прежняя жизнь: Бунин получил нобелевскую премию по литературе.

Примерно час спустя я вызвал Иван Алексеевича по телефону из Парижа. Соединение было плохое, голос звучал глухо и отвечал он на вопросы как-то неохотно, казался растерянным. А через три дня, приехав в Париж, Иван Алексеевич рассказывал мне уже с юмором, как нахлынули в этот вечер в его «Бельведер» журналисты и фотографы, как вспыхивал и ослеплял магний и как потом газеты всего мира обошла фотография «какого-то бледного безумца». И еще признался он, что в доме в этот вечер не было денег и нельзя было даже дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы.

Позже, при всякой встрече, мы вспоминали сумасшедшие дни, последовавшие за присуждением премии. Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма,

---

* Глава из готовящейся к печати книги «Далекие, близкие».

давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дома в отель «Мажестик», где остановился Бунин, рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресла в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал:

— Милый, простите, Бога ради...

— За что, Иван Алексеевич?

— За то, что я существую.

С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, не мало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшая из Дании написала открытку:

— Ради Спасителя, соединяйтесь с Римом! Спасем мир!

Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал:

— Я уверен, что Бог поможет Вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год наверно получите премию Нобеля!

Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали. Но на деньги были и другие претенденты, действовавшие не таким прямым путем. Через несколько дней в «Нувель Литерэр» появилась довольно ехидная заметка: Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем, Д. С. Мережковским.

Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара:

— С какой стати? Ни за что!

Всё же я спросил, откуда пошел слух о разделе? И Бунин рассказал, что к нему пришел как-то Мережковский и сделал странное предложение: пойти к нотариусу и составить договор на случай получения одним из них нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200.000 франков.

— Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского!

Всё же было решено, что лауреат отправится с визитом к Мережковским. На следующее утро Иван Алексеевич рассказал мне подробности:

— Пошел,... (тут я выпускаю три крепких слова). Подхожу к дому, — нет мужества войти. Ведь я знаю, как Мережковский и Зина всю жизнь меня ненавидели. А ведь они люди

страшные: еще могут на меня какую-нибудь хворь наслать со всей их чертовщиной.... Полчаса вокруг дома ходил на ветру. Наконец, позвонил. Встретила меня Гиппиус. Лорнетка, прищуренные глаза, голос капризной кокотки:

— Что это вы, Иван Алексеевич, снизошли к нам с ваших олимпийских высот?

А я сдерживаюсь и так спокойно говорю:

— Никаких высот, Зинаида Николаевна, нет. Просто пришел вас и Дмитрия Сергеевича проведать.

Но она продолжала в том же тоне, пока я не попросил ее перестать. Тут вышел Мережковский, сунул на ходу руку и шмыгнул в угол, мрачнее тучи... Еле высидел положенные 30 минут и ушел. Выходит так, что я виноват: почему дали нобелевскую премию мне, а не Мережковскому?

И с внезапным ожесточением:

— Больше никогда в этом доме ноги моей не будет!

Несколько дней спустя зашел Б. К. Зайцев. Бунин и ему рассказал о своем визите к Мережковским. Борис Константинович, — узкое византийское лицо, тонкие, бескровные губы, — не улыбаясь:

— Мережковский у меня был. Вошел в комнату, оглянулся и, глухим голосом из подземелья, сказал: «Вам хорошо. Вы уже на дне. А мы только опускаемся!»

* * *

Н. А. Тэффи пустила по городу остроту:

— Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: «Объединения людей, обиженных И. А. Буниным».

* * *

Не все были на Бунина обижены и не все ему завидовали. Его чествовали, — в Театре Елисейских Полей, где В. А. Маклаков говорил, что Бунин «сослужил какую-то службу России». Чествовали на обедах, чествовали в «Мажестике», куда всё время приезжали делегации с поздравительными адресами. Были и непрошеные посетители, о которых рассказал И. А. Бунин в своем предисловии к моей книге рассказов «Звездочеты с Босфора». Секретарь «сколько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, как решительно расправлялся с грудами писем, что я получал от несметных

поздравителей и просителей, как ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и не даром: бывали «стрелки», обладавшие удивиным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается, наконец, стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лавреата приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, которым Петр прорубил окно в Европу?

— С этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только в виду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством....»

В один из таких дней я вытащил из груды писем поздравление «местоблюстителя» престола великого князя Кирилла Владимировича. Видимо, в глубине души Бунин был польщен.

— Отвечать будете? — спросил исполнительный секретарь.

— Государь должен быть милостив, — ответил Бунин. — Он меня простит, если сразу не отвечу.

Всё же, дня через три Иван Алексеевич сам сходил в магазин и купил бумагу большого, министерского формата. Особенные конверты. Сел за стол и начал старательно писать:

— Ваше Императорское Высочество...

Закончив письмо прочел мне.

— Ну, как?

— Знаете, Иван Алексеевич, слишком уж верноподданнически получается. Хорошо бы смягчить.

Сухо:

— Да. Да. Вы правы, конечно. Он такого письма и не заслужил. Он ведь .....! Николай Николаевич, тот был человек. Пошлю телеграмму, менее обязывает. Нет, право, это не великий князь, а.....

Через день:

— Послали телеграмму, Иван Алексеевич?

— Письмо, всё-таки, отправил... Ей Богу, смягчил выражения!

* * *

Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов, поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г. Н. Кузнецова и я, в качестве личного секретаря и корреспондента нескольких газет.

...И вот мы уже в «голубом поезде». За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купэ и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В эту ночь он почти не спал: всё время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна.... Потом возвращался в купэ и с тревогой спрашивал:

— Что, вас знобит? Милый, только не болейте...

Позже, уже вернувшись в Париж, он изумительно рассказывал моей жене эту ночь, как боялся, что я захвораю в дороге и изображал меня, лежащего на постели и «шевелящего пальцами ног»... Поздно ночью пришли немецкие пограничники, конфисковали французские газеты, но увидев портрет Бунина на первой странице «Нувель Литтерэр», почтительно козырнули и ушли, не осматривая багажа.

Об этой поездке через гитлеровскую Германию 33-го года теперь тяжело вспоминать. В Гамбурге, где мы провели

день, «герр обер» в ресторане отвел гостям почетный столик, на котором стоял флажок со свастикой. Ударники в коричневой форме, в галифе и в сапогах, сновали по скучным гамбургским улицам. На углу, неподалеку от вокзала, мы увидели человека в приличном черном пальто с барашковым воротником. На носу у него дрожало золотое пенсне. Человек этот предлагал прохожим жалкие букеты хризантем. Он, видимо, еще не привык к своему новому ремеслу.

— Вы — еврей? — спросил я его.

Продавец хризантем вздрогнул и молча кивнул головой.

Потом мы ехали через Пруссию, покрытую тонким снежным покровом. Вдоль железнодорожного полотна стояли дети и протягивали руки в гитлеровском салюте.

Ночью, уже на шведском пароме, другой мир и другие люди. Мы ужинали, пили «аква вивит» и ели бесчисленные шведские закуски и когда подали счет, Иван Алексеевич тихонько вздохнул и покорно сказал:

— Жизнь хороша, но очень дорога...

Журналисты встретили Бунина на пограничной станции. Посыпались вопросы, Иван Алексеевич скоро устал, забился в купэ, и представители шведских газет занялись своим разговорчивым русским коллегой. Интересовало их, кто представит Бунина королю? По традиции, это делает посол той страны, откуда родом лауреат. Но посол был советский — Коллонтай — я и сказал по адресу этой дипломатки что-то очень нелюбезное. В утренних стокгольмских газетах это превратилось в своего рода политическую сенсацию, и Коллонтай заявила, что она на торжество раздачи премий вообще не явится. Должно быть, этот невольно вызванный инцидент еще более усилил симпатии шведов к Бунину.

В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кино-операторов, поднос с хлебом-солью, и букеты цветов на руках В. Н. Буниной и Г. Н. Кузнецовой... Через час мы были уже в особняке Г. Л. Нобеля. В окне — канал с темной, свинцовой водой, тяжелая громада королевского дворца и хлопья мокрого, быстро тающего снега.

* * *

Бунин стоит у окна и смотрит на набережную. Часы показывают 9. Северный день только начинается и газовые фонари у дворца еще не потушены, но небо на Востоке светлеет и уже видно, как плывут по каналу крупные льдины.

— Хорошо бы поехать куда-нибудь за город, побродить по снегу, потом зайти в шведский кабачок и выпить стакан горячего пуншу... Что у нас сегодня? Какая программа?

— В 11 часов утра визит в Академию. В 1 час завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 чай во французском посольстве. В 10 ужин св. Люции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тиндинген». Кажется, это всё

Иван Алексеевич вздыхает и покорно начинает одеваться. Ни сегодня, ни завтра, ни разу до своего отъезда из Стокгольма он не сможет отправиться за город и побродить по свежему, скрипучему снегу, который напоминает ему Россию.

Стук в дверь:

— Герр доктор Седых, вот утренние газеты и почта!

«Доктор» принимается прежде всего за письма. Шведский издатель сообщает, что выпущено новое собрание Бунина в шести томах. Какой-то лесничий, живущий чуть ли не за полярным кругом, на невероятном французском языке просит у Бунина автограф. Приглашение на обед. Три коробки с пилюлями от простуды и просьбой дать похвальный отзыв... Принимаемся за газеты. Большие, кричащие заголовки: «Бунину заказаны 200 книг».

Бунин хватается за голову.

— Милый, кто же им это сказал? А фотография, посмотрите на фотографию: опять это громадное, испуганное, бледное лицо.

— Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал:

— Что такое? Совершенный успех тенора.

Должен сказать, что успех Буниных в Стокгольме был подлинный. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин.

Но это имело и обратную сторону медали. Программа чествования писателя разрослась необычайно. Приемы следовали

один за другим и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой. Особенно запомнился вечер св. Люции. Когда Бунин вошел в зал под звуки туша, тысячи людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по проходу, — овация ширилась, росла. Он остановился и начал кланяться, ставшими знаменитыми в Стокгольме «бунинскими» поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к нему уже шла святая Люция, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл Санта Лючию... Но вот, как-то совсем незаметно, наступил и день торжества вручения нобелевской премии, происходящего каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В Концертный Зал надо было приехать не позже 4 часов 50 минут дня, — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен, — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах.... За несколько минут до начала церемонии на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской Академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хор грянули фанфары и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил:

— Его Величество, король!

В зал вошел ныне покойный Густав V — необыкновенно высокий, худощавый, элегантный. За ним шли попарно члены королевской семьи, двор. Снова зазвучали фанфары, — на этот раз для лауреатов. Бунин вошел последний, какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный. У меня сохранился текст его речи, — он работал над ней много часов, переделывал ее, взвешивал каждое слово. Полагалось сказать комплимент королю, поблагодарить Академию, и Бунин хотел сказать нечто большее: подчеркнуть, что нобелевская премия была присуждена писателю-изгнаннику, как знак совершенной независимости, как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Это был, в известной степени, и акт политический. Со времени Полтавы и Петра Великого в Швеции недолюбливали всё русское; никогда до Бунина нобелевская премия не была присуждена русскому писателю, — не присудили ее Толстому,

который премии не хотел, ни Горькому, кандидатуру которого тщетно выставляли. Между советским писателем Горьким и свободным эмигрантским писателем Буниным Шведская Академия выбрала последнего, — и не потому только, что Бунин-художник стоит неизмеримо выше Горького. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы. В 33 году Шведская Академия дала нобелевскую премию изгнаннику Бунину точно так же, как четверть века спустя она дала ее другому русскому писателю, сохранившему свободу, внутреннему эмигранту Борису Пастернаку.

Помню поклон Бунина, преисполненный великолепия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью... Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне и медаль, которую я тотчас же уронил, и которая покатилась через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стул и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

— А что вы сделали с чеком, дорогой мой?

— С каким чеком? — невинно спросил я.

— Да с этой самой премией? Чек, что лежал в папке.

Тут только понял я, в чем дело... Но папка попрежнему лежала на стуле, где я ее легкомысленно оставил, — никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте... Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал

— И послал же мне Господь секретаря!

Был банкет в Академии, парадный обед в честь нобелевских лауреатов в королевском дворце, еще какие-то нескончаемые приемы. Последний день в Стокгольме Бунин провел в обществе нескольких русских и французских журналистов, — помню И. М. Троцкого и Серж де Шессена. Осматривали мы все вместе город, любовались быстро замерзающими каналами, новой ратушей, чем-то напоминающей дворец венецианских дожей. В полдень, усталые и озябшие, спустились мы в погребок «Золотой мир», где когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман, и где до сих пор собираются любители вина и хорошей кухни.

В большом камине пылали березовые дрова, но с морозу захотелось «внутреннего огня». Бунин заказал для всех янтарной шведской водки. Прислуживающая «фрекен» смутилась,

взглянула на часы и ушла о чем-то шептаться с хозяином. Прошло минут пять. Водки не подавали.

— В чем дело?

— Господин Бунин, мы очень польщены вашим визитом. Это — большая честь для «Золотого мира». Но подать вам спиртное мы не можем. Сегодня воскресенье. Церковная служба кончается только в час дня. После службы — сколько угодно!

Я не помню, что именно было подано нам в граненых бокалах, но задолго до окончания службы в стокгольмских церквах за столом нашим раздавались взрывы смеха и Иван Алексеевич говорил:

Помните, господа, старый русский присказ:

Вода для рыбы, раков,
Вино для женщин и мужчин,
А мы, герои, водку пьем!

И потом, когда мы выходили, Бунин вдруг процитировал «по шаляпински» слова из «Фауста»:

...И всё-таки мне кажется, что я пил вино!

* * *

Из Швеции в Германию плыли на немецком пароходе. Зашли в ресторан — в последний раз отведать прославленные шведские закуски.

«Герр обер» поднес нам унылое немецкое меню: суп с картофелем, сосиски с картофелем, шницель с картофелем.

А угря копченого у вас нет?

— Нет.

— А сельди маринованной, королевской?

— Нет.

Бунин внезапно оживился.

— Это, знаете, как в разоряющемся, захудалом дворянском доме. Подходит дворецкий, этакий старичек с растопыренными пальцами в заштопанных нитяных перчатках. Кричит тугому на ухо гостю:

Вам супу, или ухи-с?

— Ухи, пожалуйста.

— Ухи нет-с!

«Ухи» на немецком пароходе мы не получили. Но Бунин так мастерски изображал старичка дворецкого, что мы вполне

утешились. Вообще, когда Иван Алексеевич бывал в ударе, рассказывал и изображал он великолепно, как настоящий актер, — не даром Станиславский уговаривал его в свое время поступить в Художественный Театр.

Берлин встретил нас сыростью, туманом, слякотью. По вокзальному перрону метались какие-то люди с цветами и фотографическими аппаратами. Пронзительный женский голос кричал:

— Вот он! Вот Бунин!

Какой-то господин в котелке завладел рукой Иван Алексеевича и начал заранее заготовленную речь:

— От имени 22-х объединенных русских организаций позвольте приветствовать вас, дорогой Иван Алексеевич....

В глазах Бунина на мгновенье мелькнуло разочарование: нет, ему, видно, не суждено сегодня пообедать в кругу семьи и пораньше лечь спать. И уже бодрым, привычным «лауреатовским» тоном, Иван Алексеевич ответил:

— Покорнейше вас благодарю, господа.... Очень тронут, чрезвычайно признателен вам за внимание....

* * *

В Берлине мы расстались. Бунины уехали в балтийские страны, где предстояли литературные вечера и новые чествования, а я вернулся в Париж, — формально мои секретарские обязанности в этот момент закончились, но до конца жизни Иван Алексеевич любил шутливо называть меня своим «секретарем». И по дороге из Берлина в Париж я всё старался припомнить: когда же и при каких обстоятельствах мы впервые встретились? Должно быть, это случилось в 1923 году, когда я был парижским представителем художественного журнала «Жар Птица» и начал регулярно сотрудничать в «Последних Новостях» и в рижской газете «Сегодня». У меня сохранилось около 100 писем и рукописей Бунина, и первые его письма, деловые и сравнительно короткие, датированы 24-29 гг. Вот некоторые выписки из этих ранних писем, в которых отдельные слова и фразы подчеркивались всегда рукой Бунина:

«...Нет, и первое Ваше письмо я получил и тотчас же ответил: к сожалению, сейчас ничего нет. Кстати, почему Вы пишете: «были бы очень рады поместить Ваш неизданный рассказ...»? Я всегда даю неизданное, т. е. еще ненапечатанное, а когда что-нибудь перепечатываю, всегда оговариваю это в сноске (хотя, собственно говоря, в этом нет особой на-

добности, ибо есть вещи настолько забытые и столь давно не видавшие нового тиснения, что их ни одна душа — и особенно молодые — не знает).

P. S. Скоро выйдет новая книга «Современных Записок», где будет мой новый рассказ «Солнечный удар», где я опять — как в романе «Митина любовь», в «Деле корнета Елагина», в «Иде» — говорю о любви. (10-VI-26)».

В тот же день второе письмо из Грасса, где тогда жил Бунин.

«Нынче, бросив в ящик письмо Вам, — мой ответ на Ваше второе насчет «Жар Птицы», — подумал, что мог бы дать для нее несколько страниц: из книги «Воды многия». Это нечто вроде Мопассана. Возьмите второй номер журнала «Благонамеренный», — там часть этого дневника, этой путевой поэмы напечатана. Я мог бы дать кусок немного больше того, что в «Благонамеренном». Но устраивает ли это Вас? Я то сам считаю «Воды многия» одним из самых лучших моих писаний».

Время от времени я устраивал политические анкеты для «Иллюстрированной России». И. А. Бунин всегда коротко и сжато отвечал на поставленные ему вопросы. В этом же 1929 году он писал:

«Вопрос: что будет с Россией через десять лет?

Ответ: не знаю. Думаю, однако, что десять лет большевики всё-таки не продержатся, несмотря на всю пассивность русского народа и все старания почти всех так называемых цивилизованных государств неизменно поддерживать их.

Вопрос: какой Вы хотели бы видеть Россию?

Ответ: какой угодно, лишь бы не большевистской.

Читаю Ваши фельетоны «Там, где была Россия». Молодец Вы, дорогой мой, и талантливый человек. Дай Вам Бог.

А почему Ваше письмо пахло креозотом? Кто у Вас болеет?

Ваш Ив. Бунин.

И еще: несколько раз «Сегодня» печатало мой портрет — тот, где я похож на «Анатэму». Очень прошу его больше не печатать. Если нужно, то вот — прилагаю».

Бунин был до болезненного требователен к своей наружности и портреты, печатавшиеся в газетах, постоянно его раздражали. В конце концов, он выбрал один, старый, 1923 года, и этот, по его настоянию, мы помещали постоянно.

* * *

Годы, предшествовавшие получению нобелевской премии, были, вероятно, самыми продуктивными в жизни Бунина. Человек беспокойный по натуре, в молодости вечный странник, всегда куда-то ехавший, иногда без какой-либо видимой причины, он в эмиграции поневоле стал домоседом, делил свое время между Парижем и Грассом. В Париже работать было трудно — мешал звонок у дверей, посетители, заходившие «на часок», вечные приглашения. Зато в Грассе, в «Бельведере», В. Н. Бунина создала для мужа условия, подходящие для работы. С ними постоянно жили Г. Н. Кузнецова, которую очень любил Иван Алексеевич, и писатель Л. Ф. Зуров. Иногда приезжали гости из Парижа или из соседней Ниццы, — самым близким и желанным из них был М. А. Алданов.

Бунин любил Грасс. Только здесь дышал он полной грудью. Любовался морем, вечно меняющимися его красками, голубыми склонами Приморских Альп и лесами Эстереля. Работал он на юге «запойно». Здесь написал он «Митину любовь» — одно из самых лирических произведений в русской литературе. Здесь была написана «Жизнь Арсеньева», и позже Бунин очень огорчался, когда эту вещь называли «автобиографической». В ней действительно есть многое из жизни молодого Бунина в Ельце и в Полтаве, но Лика была выдумана от начала до конца и та женщина, которую Бунин написал в образе Лики, фактически была очень мало похожа на мятущуюся, сумбурную Варвару Пащенко, в которую Бунин был влюблен в юности.*

Чем больше я присматривался к Бунину, тем яснее видел, что его плохо знают. Много раз слышал я такой отзыв:

— Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых всегда есть глубокая, волнующая страстность. За внешней, величавой спокойностью формы, за мудрой скупостью слов, легко открыть всё нарастающее чувство, юную радость жизни или тревогу обреченности. Таков был Бунин в жизни, — вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладеть с собой,

* Из письма ко мне В. Н. Буниной от 15 апреля 57 г.:

«...Есть заметка Ивана Алексеевича: «Лика вся выдумана». Воскресла не Лика, а любовь молодого Бунина, сила, страсть чувства его. Я нахожу, что в Лике — все женщины, которых он любил».

побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия.

В нем была какая-то целомудренная стыдливость, — Бунин не любил показывать на-людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

— Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

— Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью.

* * *

Начинал он работать рано, часов в девять, и писал без остановки до завтрака, т. е. до часу дня и в это время никто его не беспокоил. В жаркие, знойные дни, какие часто бывают летом на Ривьере, раздевшись до-гола, Бунин писал о ранней московской весне, о капельках, падающих с крыш, о ледяных сосульках, со звоном разбивающихся на тротуарах.... Меня всегда поражала эта его способность перевоплощаться, забыть обо всем окружающем, писать о далекой России так, будто он видит ее перед своими глазами. Но Бунин — это и есть Россия, которую отделить от него нельзя. Он был связан с ней крепкими, почти физическими узами, словно ни на один день не переставал дышать ее прозрачным, морозным воздухом.

Как-то он мне сказал:

— Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее.

Таков был секрет Бунина. Ему не надо было видеть Россию, чтобы писать о ней, — так и Гоголь мог работать над «Мертвыми Душами» в Риме, на вилле княгини Волконской. Россия жила в нем, он был — Россия.

В послеполуденные часы обитатели вилы «Бельведер» отдыхали, а когда спадала жара отправлялись на прогулку, или сидели за чаем. Иногда Иван Алексеевич читал что-нибудь вслух. По вечерам и, в особенности, ночью он никогда не писал. Читал много, делая пометки на полях книги и свои замечания,

иногда довольно резкие. В выражениях он, вообще, никогда не стеснялся. Будущему издателю писем Бунина придется не мало слов в них заменить многоточиями. Вот один случай, связанный с любовью Бунина к крепкому слову.

Ехали мы как-то ночью в такси. В те годы множество шоферов такси в Париже были русские. Узнать их можно было сразу по акценту, по тому, как сосредоточенно сидели они за рулем, держась за него двумя руками, даже по крепким, каким-то особенно русским затылкам. Но вот, на этот раз мы не узнали, — дали адрес и шофер повез по темным улочкам, дальней дорогой, и Бунин вдруг начал ругаться сочными, отборными словами. Шофер обернулся к нам и добродушно, словно вся эта ругань к нему не относилась, сказал:

— А вы, господин, должно быть из моряков? Ловко выражаетесь.

— Я не моряк, — как-то строго и скороговоркой ответил Бунин. — Я — почетный академик по разряду изящной словесности.

Тут шофер просто покатился со смеху и долго потом еще не мог успокоиться:

— Академик!... Да... Действительно, изящная словесность!

Ему и в голову не пришло, что везет он действительно почетного члена Российской Академии по разряду изящной словесности, а не моряка с военного корабля.

* * *

Был еще такой случай: Бунин прочел «Петра I» Алексея Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию «Известий», такую открытку:

«Алешка,

Хоть ты и сволочь, мать твою ...., но талантливый писатель. Продолжай в том же духе.

Ив. Бунин».

* * *

В 36 году Бунин вдруг решил поехать в Германию, хотя ни в какой степени ни Гитлер, ни гитлеризм сочувствия в нем не вызывали. Бывали у него такие странности. Перед отъездом объяснял:

— Хочу побывать в стране порядка и увидеть настоящего генерала в форме.

В «стране порядка», на границе, его раздели до-нага и подвергли трехчасовому допросу, который закончился унизительным промыванием, — немцы, видимо, искали бриллианты. На этот раз не было при нем номера «Нувель Литтерэр» с фотографией нобелевского лауреата, да и вряд ли это помогло бы в те времена. Бунин вернулся во Францию с температурой, взбешенный и навсегда излеченный от Германии. О совершенном над ним надругательстве он сам рассказал в письме, опубликованном в «Последних Новостях».

Эта его злополучная поездка почти совпала по времени с поездкой Мережковских в Италию, где приняли их по иному, с почетом. Была даже устроена аудиенция у Муссолини. Мережковский шел по залу, — маленький, сгорбленный, вросший в землю. Темное лицо и красные губы вампира. А рядом с ним, завитая и нарумяненная, по выражению Ремизова, «вся в костях и пружинах» Гиппиус. Муссолини театрально стоял за письменным столом и принял низкий поклон русского писателя. Сказал несколько комплиментов, — он читал Мережковского, или просто перед аудиенцией осведомился, что именно Мережковский в жизни написал.

— А над чем вы теперь работаете, мэтр? — спросил Муссолини.

— Хочу писать книгу, Дуче, о двух великих итальянцах: о вас и о Данте.

Тут, видимо, даже «дуче» слегка затошнило и он не выдержал:

— Piano, piano...

Позже эту сцену изображал в лицах Иван Алексеевич и затем передавал разочарование Мережковского:

— Ну, какой он Наполеон? Пишешь, — не отвечает, просишь — не дает!

И, в глубоком раздумьи:

— Обманул с. с., обманул!

Потом зашел разговор о Португалии и Мережковский сказал:

— Там ведь тоже есть диктатор, Салазар? Зина, надо будет ему написать.

Салазару написали. Мережковский просил визу в Португалию и сообщил диктатору, что он хочет составить жизнеописание португальской национальной святой Фатьмы, историю которой он давно изучает.

Ответа не последовало. И только много позже выяснилось, почему Салазар не счел нужным ответить на письмо биографа

св. Фатьмы: такой святой в Португалии вообще не существует Есть город Фатьма, где народу явилась Богоматерь, город этот стал местом паломничества. Вероятно, Салазар немало удивился, узнав от Мережковского о существовании новой португальской святой.

* * *

Была война, бегство из Парижа, конец целой эпохи. Мы жили в Ницце и считали дни, оставшиеся до отъезда в Америку. Успеем, или дверь мышеловки захлопнется навсегда?

Из Грасса приехал прощаться Иван Алексеевич, передавать поручения друзьям за океан. Мы условились о свидании заранее и жена постаралась, устроила ему по тем временам «королевский» завтрак: была селедка, тощие бараньи котлетки (весь недельный мясной паек!), полученный из Португалии настоящий, а не «национальный» сыр, и даже кофе с сахаром.... При виде всех этих богатств, расставленных на столе, Иван Алексеевич даже обомлел:

— Батюшки, совсем как мы с вами в Стокгольме ели!

Сильно отощал в эту зиму 42 года Бунин. Стал он худой и лицом еще более походил на римского патриция. И когда выпили по рюмке аптекарского спирта, разбавленного водой, Иван Алексеевич грустно сказал:

— Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает, что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой, — деньги нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад. С тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить? Очевидно, нужно терпеть, хотя всё это мне, весь нынешний уклад жизни, чрезвычайно противны. Хорошо еще, что живу изолировано, на горе. Да вы знаете, — минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесистые холмы и горы Эстереля, расстилается под ногами море, вечно синеет небо... Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся.

— В прошлом году, — продолжал свой монолог Бунин, — написал я «Темные аллеи» — книгу о любви. Лежит она на столе. Куда ее девать? Возьмите с собой в Америку, — может

быть, там можно будет напечатать. Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же, — Бог с ними, если нужно — вычеркните.... А в общем, дорогой, вот что я вам скажу на прощание: мир погибает. Писать не для чего и не для кого. В прошлом году я еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа.

Потом разговор перешел на политические темы. Бунин рассказал, как 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Россию, арестовали в Грассе всех русских. Его не тронули. Спасли годы. Но полицейский комиссар всё же явился на виллу с обыском. Комиссар знал Бунина давно, знал, что в смысле большевизма он вне подозрений и стыдно ему было тревожить старого писателя. Краснел, просил извинения и ушел, так ничего и не взяв. А я вспомнил своего комиссара в Ницце. В старом городе жило всего несколько русских. Нас всех арестовали и посадили в каталажку, в каком-то средневековом подземелье. Через час пришел комиссар и торжественным тоном спросил:

— Есть ли среди вас, господа, лица, награжденные Большим или Командорским Крестом Почетного Легиона? Их по закону я обязан освободить.

Я взглянул на моих товарищей по заключению, — каких-то спившихся субъектов, ютившихся около цветочного рынка и давно спавших под открытым небом. Один из них спросил, чего хочет комиссар? Я перевел. Босяк хладнокровно посоветовал:

— Чи не послать ли его к чортовой матери?

— Что он сказал? — встревожился комиссар.

— Он говорит, что не имел счастья быть награжденным Большим Крестом Почетного Легиона....

Как смеялся Иван Алексеевич, слушая эту историю!

* * *

Иногда к Бунину приезжал в гости Андрэ Жид. Они говорили о России. Андрэ Жид к концу жизни сильно переменил свои взгляды и много расспрашивал о Толстом. В эти годы еще не вышли «Воспоминания» Бунина и я спросил, как близко он знал Толстого?

— Вот мы с вами самогон пили и даже убоину ели, — сказал Бунин, — а ведь я сам был толстовцем....

Я знал об этом эпизоде в его жизни, но толстовство так не вязалось с представлением о Бунине, которому никакие земные радости не были чужды, что на моем лице появилась недоверчивая улыбка.

— Вы не смейтесь. Чего смеяться? В его учении было много прекрасного и чистого, много пленительного для молодого сердца. И была еще у меня страшная влюбленность в Толстого-художника. Чтобы приблизиться к нему лично решил я стать настоящим толстовцем и, стало быть, начал учиться бондарному делу. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того, опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали тайную надежду когда-нибудь его увидеть, сблизиться.

Жаль, нет у меня фотографии того времени. Были у меня романтические глаза, такие синие, мечтательные. И нежный пушок на щеках, так что меня иногда принимали за молодого еврея. Галстух носил я атласный, двойной, пушкинского времени. А тут вдруг — обручи набивать! Учил меня этому искусству бондарь Исаак Борисович Фейерман. Впоследствии стал он писать в газетах под псевдонимом Теноромо. Был он человеком громадного роста, глаза на выкате, говорил докторальным тоном, — так, впрочем, говорили тогда многие толстовцы. Было это в Полтаве.

И однажды, в лунный морозный вечер, я отправился к Толстому. Отворил дверь лакей в плохоньком фраке. «Как прикажете доложить?»

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаюсь.

И почти сейчас же вышел Толстой. Улыбался очаровательной улыбкой, внимательно оглядывая из-под нависших бровей и засыпал вопросами:

— Ах, так это с вашим батюшкой я воевал в Севастополе? Ну, садитесь, садитесь! Молодой писатель? Пишите, пишите, только помните: это никак не может быть целью жизни. Так садитесь же!

И потом, не замечая моей растерянности, всё спрашивал:

— Не женаты? Если женитесь, — не оставляйте жену никогда. Не надо бросать, нехорошо.

Позже, в последние дни Толстого, когда он ушел из дому, Бунин часто вспоминал эти слова. Эта встреча подробно описана им в «Воспоминаниях», но вышли они после того, как я записал и опубликовал этот рассказ со слов Бунина.

На этой прощальной встрече перед нашим отъездом в Америку лежал какой-то налет грусти. Когда мы пошли проводить его к автобусу, Иван Алексеевич начал жаловаться на старость, на нужду. Просил, чтобы ему из Америки не высылали ни кни-

жек, ни журналов с его произведениями, — никогда раньше не видел я в нем такого равнодушия к тому, что он писал... На площади Массена, розоватой в лучах заходящего солнца, он остановился, взглянул на далекие горы, на пальмы и на море. И Бунин, не любивший говорить о смерти и боявшийся самого этого слова, с печальной серьезностью сказал:

— Ну, прощайте! А я, верно, уж здесь помру. Хорошее место.

Мы обнялись и он быстро пошел вперед, — какой-то легкий, необыкновенно прямой и внезапно торжественный.

* * *

Сначала из Грасса приходили в Нью Иорк лишь короткие открытки на французском языке, — этого требовала цензура военного времени. Начинались они со странных обращений:

— Mon cher Secretaire! — Mon cher Editeur! — Cher Maître!

Потом, когда война кончилась и цензуру отменили, появилась возможность возобновить нормальную переписку по-русски. Бунин начал писать длинные письма. Во Франции был еще настоящий голод, посылки и даже деньги мало помогали. Письма от Ивана Алексеевича из Парижа или с юга Франции приходили часто, — все они были полны жалобами на недоедание, на болезни, на страшную дороговизну и полное отсутствие денег. С 47 года и до конца жизни Бунина приходилось в частном порядке собирать для него деньги среди богатых людей. Взамен они получали книгу с автографом писателя, — много он роздал таких автографов в последний, тяжкий период своей жизни.

В 47 году я получил от Бунина манускрипт его «Темных аллей». С разрешения автора, М. А. Алданов и я удалили из рукописи несколько строчек, которые могли вызвать обвинение в «эротизме», — обвинения этого он, впоследствии, всё равно не избежал. Книга вышла в издательстве «Новая Земля» и я начал переговоры с Б. де Танько об издании книги по-английски. Аванс был предложен воистину ничтожный, — 200 долларов! — и Бунин, несмотря на всю свою материальную нужду, от него отказался. Вот одно из писем, относящихся к этому издательскому делу:

23-2-47.

«Мой дорогой, рад, что Бог Вас спас — воспаление легких не шутка! Рад успехам Вашей милой жены — целую Вас

обоих сердечно. Что до меня, то я только последние дни с трудом добираюсь с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно д в а месяца пролежал в гриппе, с страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю) по ночам и с потерей крови беспрерывной, следствием которой сделалось то, что доктора сказали: «положение И. А. н е б е з н а д е ж н о, но о ч е н ь серьезно» и что кровяных шариков у меня теперь меньше на 1½ миллиона, чем полагается быть. Доктора, лекарства, питание (кило печенки у нас стоит теперь 600 франков!) разорили меня вдребезги, а тут предстоит мне еще некоторая операция и отправка меня на юг на поправку, но всё же я считаю разумным отказаться пока от издания «Темных аллей» у Танько — 200 долларов не деньги, а книга всё-таки ценность. По-французски эти «Аллеи» выходят вскоре в новом богатом издательстве "Le Pavois", по-английски они проданы в Лондон, бывшему директору издательства покойной Вирджинии Вульф, по-русски вышли у Зелюка и не посланы Вам только потому, что, повторяю, целых два месяца я лежал без задних ног. Завтра посылаю Вам это зелюковское издание. Вы издали только 1/3 этой книги и тексты ее были плохи.

Сердечный привет!

Ваш Ив. Бунин».

При содействии М. Е. Вейнбаума условия удалось несколько улучшить и Бунин получил 300 долларов. Но книга потом долго не выходила, Иван Алексеевич начал терять терпение, писал гневные письма по адресу Б. Г. Танько и требовал расторжения с ним контракта. Но в это время — в конце 47 года — случилось событие, которое вызвало у Бунина даже не гнев, а подлинный припадок ярости.

В некоторых эмигрантских газетах, в Париже и в Сан Франциско, появились статьи, явно порочившие имя Бунина. Автор одной из этих статей, покойный ныне И. Окулич, обвинял Бунина в том, что он «перекинулся» к большевикам, бывал в советском посольстве и чуть ли не успел съездить в СССР. Литературный критик Г. П. Струве счел нужным выступить в «защиту» И. А. Бунина и сделал это столь неудачно и в такой двусмысленной форме, что автор «Жизни Арсеньева» прислал через меня в редакцию «Нового Русского Слова» письмо резкого содержания по адресу Струве и Окулича.

После долгого обсуждения письма с М. Е. Вейнбаумом и переписки с Буниным, письмо решено было не печатать. Но

Иван Алексеевич очень болезненно пережил весь эпизод и 18 августа 47 г. написал мне:

«Милый друг Яшенька!* Тысячу лет ни звука от Вас. Где Вы, как Вы и что? Что мои «Темные аллеи»? Переводятся? Надеюсь, да, но кем? И как же насчет заглавия книги? Я писал Вам, — уже давно, предлагал озаглавить первый рассказ «Шиповник» и, значит, всю книгу тоже «Шиповник» — ведь в конце первого рассказа «герой» его вспоминает (уже в дороге) стихи: «Кругом шиповник алый цвел...» Поэтому, думаю, не плохо и заглавие всей книги такое — и даже не «Шиповник», а «Алый шиповник». Жду Вашего ответа.

. . . . . .

Я получил сперва одну вырезку, потом другую из «Русской Жизни», которая где-то в Америке издается, — это «Письма в редакцию» Вот первое, подписанное..... Глебом Струве (он теперь переселился в Америку из Англии, профессорствует в Берклей, в Калифорнии):

«Письмо в редакцию (письмо по старой орфографии). М. Г. г. Редактор! В № Вашей газеты от 19 с. м. напечатана статья уважаемого** И. К. Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поздке И. А. Бунина после войны, в СССР и о возвращении его оттуда, почему то при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного Москве американцами и расстрелянного большевиками ген. П. Н. Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно про-германской позиции. Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью И. К. Окулича: И. А. Бунин в Сов. Россию не ездил и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки «соблазнить» его поехать туда и делались. Можно так или иначе морально-политически оценивать некоторые действия И. А. Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение в поступке, которого он не совершал. Глеб Струве».

Каково! Ясно, что этот «уважаемый» Окулич приписал

---

* «Яшенька», Яков Мойсеевич Цвибак — имя и фамилия автора этих воспоминаний, избравшего литературный псевдоним — Андрей Седых.

** Подчеркивания в этом и во всех последующих письмах сделаны рукой И. А. Бунина.

мне «п о с т у п о к» предательства мною Краснова на расстрел — какой же иначе «п о с т у п о к»? И каков Глеб! Недурно «защитил» меня, коварная....., — «з а щ и т и л» столь н е ж н о по отношению к Окуличу и столь д в у с м ы с л е н н о по отношению ко мне?.....

И вот ответ Окулича — его «Письмо в редакцию»:

«М. Г. г. Редактор! В № «Р. Ж.» от 11 июля помещено письмо проф. Г. П. Струве, отметившего мою ошибку по поводу поездки Бунина в Сов. Россию и в о з в р а т и в ш е г о с я. (Опять — все подчеркивания мои. И. Б.). Я, конечно, н е з н а ю, н а с к о л ь к о т о ч н ы сведения Глеба Петровича, но я писал о поездке г. Бунина на основании подробного письма человека, проживающего теперь в Западной Европе, к о т о р о м у п и т а ю д о в е р и е. Быть может, он и совершил ошибку. Но д е й с т в и я г. Б у н и н а самого последнего периода давали право считать сведения о его поездке достоверными. Н а э т о, п о в и д и м о м у, н а м е к а е т и с а м Г л. П. С истинным уважением Иосиф Окулич».

Глеб был прошлой осенью в Париже и я его видел у его брата Алексея и он в постоянной переписке с ним — как же он «сомневается»: ездил я или не ездил? И п о ч е м у о н «н е в д а е т с я в о ц е н к у п о с у щ е с т в у э т о г о с о п о с т а в л е н и я» (сопоставления Окуличем моей поездки и расстрела Краснова)? И кто же хуже — ..... Окулич или Глеб?

На-днях я послал Глебу (Gleb Struve, 202 International House, Berkley, Calif.) такую открытку:* . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Да, какие такие «действия» я совершил? Напечатал несколько рассказиков в «Р. Нов.» — да, это очень мне грустно, но нужда, нужда! И всё-таки ужели это «аморально»?

Что еще? Был п р и г л а ш е н в посольство п о з а-

* Я не привожу текста этого открытого письма из-за его резкостей. *А. С.*

прошлой осенью — и поехал — как раз в это время получил 2 телеграммы от Государственного Издательства в Москве — просьбы немедля выслать сборник моих последних рассказов для издания и еще несколько старых моих книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, не завелия — пробыл 20 минут в «светской» (а не советской) беседе, ничего иного не коснулся и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?

Позапрошлой зимой получил от писателя Телешова из Москвы известия, что издается большой том моих избранных произведений Государственным Издательством — и написал столь резкое письмо в это издательство («Вы распоряжаетесь мною, как своим добром и даже не советуясь со мной, точно Вам наплевать на меня», что получил позапрошлой весной французскую телеграмму от этого Государственного Издательства: «Согласно вашему желанию, издание ваших избранных произведений suspendue».*

Вот, Яшенька, все мои «действия». И никуда я не поехал, хотя советский консул и старший советник посольства довели до моего сведения, что, если бы я поехал, я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т. д. Я остался доживать свои истинно последние дни в истинной нищете да еще во всяческих болезнях старости. Кто поступил бы так на моем месте? Кто?

Целую Вас и милую певицу.

Ваш Ив. Бунин.

Уж извините — на этот раз посылаю заказной авион».

Я не стал бы опубликовывать это письмо, если бы оно не имело первостепенного значения для определения политической позиции И. А. Бунина по отношению к советской власти после второй мировой войны.

Сейчас в СССР принимаются все меры, чтобы доказать, что Бунин «стремился» вернуться в Россию. Лев Никулин порылся в архивах писателя и нашел письмо, написанное Буниным в Москву другу его юности, писателю Н. Д. Телешову — тому самому Телешову, которому Чехов перед смертью сказал:

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него

* Приостановлено.

большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте.

Вот что написал Бунин Телешову в мае 1941 года, т. е. уже после разгрома Франции:

«...А мы сидим в Juan les Pins (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередуя его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат», а теперь волею судеб вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин.

Я сед, худ, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой».

Из этих последних и, по человечеству, таких понятных слов «очень хочу домой» и сделали в СССР вывод, что Бунин примирился с советской властью... Визит его в посольство нужно рассматривать в связи с той атмосферой, которая царила в русском Париже после окончания войны. Слишком много было пережито, слишком велики были надежды эмигрантов на то, что «к старому теперь не может быть возврата». И в посольстве побывали в дни побед такие заядлые антикоммунисты, как В. А. Маклаков и адмирал Кедров, один из руководителей Обще-Воинского Союза. Политическая «оттепель» быстро кончилась, очень скоро выяснилось, что надежды эмиграции не оправдались и визиты не повторились.

Как же относился Бунин до конца своих дней к советской власти и к большевизму?

Возьмем для примера слово, сказанное И. А. Буниным 21 июня 1949 г. в Париже, в публичном собрании по случаю 150-летия со дня рождения Пушкина, — стало быть, слово это было написано и сказано уже после визита в посольство и после инцидента с «письмами в редакцию». У меня сохранился подлинник, написанный рукой Бунина:

«Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что сталось с ней самой, Россией Пушкина, и опять-таки при ее попустительстве, — ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не

было в наших сердцах и великой скорби о нашей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, помятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

Ив. Бунин».

21 июня 1949 г.

* * *

Начиная с этого времени (47-48 гг.) болезни не оставляли Бунина и, вместе с болезнями и полной невозможностью работать, материальные его дела пришли в окончательный упадок. Началась большая нужда. 5 декабря 48 г. Иван Алексеевич прислал мне отчаянное письмо:

«....Решаюсь, наконец, сказать Вам вот еще что: я стал о ч е н ь слаб, задыхаюсь от энфиземы легких, летом чуть не умер (б у к в а л ь н о) от воспаления легких, 2 месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение энфиземы (ингаляцией), которое стоило мне 23 тысячи и т. д.

2 января должен уехать с В. Н. опять на зиму в Juan les Pins, чтобы не свалиться опять от парижского климата и холода в квартире.... Короче сказать: мне пошел 79-ый год и я т а к н и щ, что совершенно не знаю, как и чем буду существовать. И вот, от совершенного отчаяния, прошу Вас — сделайте ради Бога что-нибудь для меня — попросите, напр., Кусевицкого и добрых людей, знакомых его, помочь мне немного.*

Возможно, что просьба моя глупа и безнадежна — тогда сожгите это мое позорное письмо.

Целую Вас

Ив. Бунин».

---

* С. А. Кусевицкий, которому я написал, конечно, немедленно и очень щедро отозвался на эту просьбу. Да и не он один. А. С.

Именно в это время разыгрался еще один инцидент: в парижской «Русской Мысли» появилась статья С. В. Яблоновского о Бунине, которая вызвала новый взрыв негодования писателя. Иван Алексеевич тотчас же написал ответное письмо, которое прислал мне с просьбой содействовать его напечатанию в «Новом Русском Слове». Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать, — прежде всего потому, что весь тон его ответа был несдержанный и на читателя мог произвести тяжелое впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ, и мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит и, в конечном счете, повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении.

Инцидент с С. В. Яблоновским настолько переплетался в нашей переписке с вопросами, связанными с материальной нуждой Бунина, что я вынужден напечатать несколько писем, которые объяснят состояние престарелого писателя в этот последний, тяжелый период его жизни.

«19 декабря 48 г. Воскресенье, вечер.

Милый друг, я написал Вам: «Письмо в редакцию печатать не надо. Вы правы». Но точно ли Вы правы? Вы писали: «это повредит сбору». Не понимаю, п о ч е м у мое письмо может повредить!.... старик Яблоновский столь г р я з н о, пошло, глупо написал свой первый пасквиль на меня и так бесстыдно и нелепо солгал на меня, будто я «недавно совершил сальто-мортале» и «перескочил» к большевикам, что очень, очень многие произносят теперь в Париже его имя с о м е р з е н и е м, затем написал, признавшись, что это он автор этого пасквиля, целую статью, в которой с самой горячей настойчивостью повторяет свою брехню на меня и даже привел мои стихи о «Граде Петра» с явной целью н а п о м н и т ь Н К В Д к а к о в я... написал, кроме того, целую статью в том же самом роде... Лазаревский... и вот оказывается, что Вы думаете, будто м о е р а з о б л а ч е н и е этих клеветников может мне повредить? Мне кажется, что м о е м о л ч а н и е скорее может повредить. Вы говорите, что «ведь никто в Америке не знает этого дела в точности»: если так, так вот как раз мое «письмо в редакцию» и излагает это дело в точности. Письмо мое «резко»? Да ведь я давно заслужил право писать по-своему, так, что всякий поймет, что «Новое Русское Слово» не ответственно за меня, что то, чего оно могло не позволить говорить Иванову, Петрову, оно могло позволить Бунину. Н е т, я

очень прошу письмо мое всё-таки напечатать. Напечатайте в том же номере, где будут напечатаны мои «Заметки» или, лучше, на другой день; соглашаюсь даже на то, чтобы ВЫ кое-где немного смягчили мои бранные слова, но напечатайте.*

Передайте эту мою просьбу М. Е. Вейнбауму и А. А. Полякову (которого сердечно целую и неизменно люблю). И если это даже «повредит сбору», то что же мне делать? Это будет совершенно дико, нелепо, — но пусть будет так, я не могу ради денег сносить клеветы молча. И вот еще что: я написал Вам о моей гнусной, нищей старости в минуту горячего отчаяния и теперь очень раскаиваюсь — тем более, что особенно вижу по нынешнему письму ко мне Марка Александровича,** что во всем Нью Йорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. И говорю Вам истинно от всего сердца: не просите ради Бога ничего ни у кого больше. А насчет того, что у Вас есть, напишу Вам послезавтра — напишу, что именно Вы должны сделать с этими ста долларами, что у Вас есть: во вторник увижу Кодрянскую. И будьте здоровы и благополучны!

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Между нами: я всё-таки не понимаю, почему «Нов. Р. Слово» так мало заинтересовано в моем сотрудничестве (хотя Вейнбаум писал мне, что он желает его)? До того мало, что не может напечатать меня (в кои-то веки!) в двух номерах подряд!»

Этот пост-скриптум очень характерен для состояния подозрительной недоверчивости, в которой находился в это время И. А. Бунин. М. Е. Вейнбаум попросту хотел печатать его материал в воскресных номерах, справедливо считая «Заметки» украшением газеты.

На следующий день после получения этого письма пришел из Парижа новый «экспресс» от Бунина.

«20 декабря, 3 часа дня.

Дорогой Яшенька, от приступов кашля и астмических припадков я засыпаю теперь часа в 4 ночи, а просыпаюсь, отрав-

* Письмо, в котором с разрешения И. А. Бунина были смягчены «некоторые бранные слова» было напечатано в «Новом Русском Слове» 30 декабря 1948 г.

** М. А. Алданова.

ленный всякими усыпительными, часа в 2 дня. И вот я написал Вам в ч е р а н о ч ь ю довольно безумное письмо (и еще более яростное Марку Александровичу в Ниццу), и ночью же поручил Вере Николаевне отправить эти письма, и нынче утром она их отправила, — пока я спал, — а вернувшись с почты, — когда я уже проснулся, — она передала мне Ваше письмо от 16 декабря с чеком. Спешу Вас горячо поблагодарить, и п р о с и т ь с ч и т а т ь м о е н о ч н о е п и с ь м о к В а м к а к б ы н е с у щ е с т в у ю щ и м (в той части его, где говорится о сборе для меня денег). Вы, конечно, хорошо понимаете, как тяжело переживаю я в о о б щ е то, что приходится прибегать к этим сборам, а письмо Марка Александровича, полученное мною вчера же, расстроило меня уже окончательно: вот это-то его письмо и заставило меня написать Вам мое вчерашнее, ночное письмо. Он написал мне, что Вы уже давно писали ему, что надежды на сбор денег для меня у Вас «мало», но что теперь Вы всё же взялись за этот сбор и, к счастью, успешно, н о т у т ж е п р е д о с т е р е г а е т м е н я: «Яков Мойсеевич надеется, что зимой будет собирать по 100 долларов ежемесячно, н о э т о т о л ь к о н а д е ж д а и т о л ь к о н а н е с к о л ь к о м е с я ц е в, — н е о б о л ь щ а й т е с ь, м о л, с л и ш к о м, И в а н А л е к с е е в и ч! И я ахнул, прочитав это, — подчеркнутое мною зелеными чернилами, — мне стало до боли стыдно и ударила в голову мысль, в какое, значит, тягостное положение попали Вы с этим сбором. А дальше он возлагает все надежды на сбор тогда, когда будет мой «юбилей», т. е. когда мне будет через 2 года 80 лет — и я, человек суеверный, содрогнулся и написал ему, чтобы он ради Бога не говорил мне больше об этом, — ведь я легко могу не дожить до этого «юбилея». А он еще прибавляет: «Не думаю, чтобы нынешний сбор Якова Мойсеевича очень помешал сбору будущему — по случаю Вашего юбилея, однако, люди у Якова Мойсеевича сейчас всё те же, к которым мы обратились бы и для юбилея». И я горячо написал Марку Александровичу, что я больше не желаю никаких сборов — «как-нибудь доживу свою жизнь и без них! Не много уж осталось!»

Надеюсь, дорогой мой, что Вы поймете меня и извините мою ночную горячность — тем более, что я ведь вообще больной человек, не могу пройти 10 шагов без одышки и опять отравляюсь (вот уже несколько дней подряд) впрыскиваниями каких-то пастеровских вакцинов (против одышки), прописанных мне доктором Сергеем Михайловичем Толстым (внуком Льва) — эти впрыскивания нервируют меня ужасно.

Мой горячий привет и благодарность Сориным!

Обо всем остальном напишу Вам завтра — сейчас В. Н. спешит на почту, чтобы отправить Вам это письмо.

Целую Вас сердечно, дорогой Яшенька, и очень, очень благодарю.

Ваш Ив. Б.

P. S. Получили ли Вы заказной авион, что я послал Вам несколько дней тому назад на 'Нов. Р. Слово'?»

Следующее письмо датировано тем же днем:

«20 дек., в е ч е р.

Милый друг, шлю авион за авионом!

Повторяю: в ч е р а н о ч ь ю, больше всего под влиянием письма Марка Александровича, написал Вам ужасно взволнованное письмо, которое Вера Ник. нынче у т р о м, пока я спал, отослала Вам. Проснувшись, получил Ваше письмо от 16 дек. с чеком, н а к о т о р о е т о т ч а с о т в е т и л Вам в т о р ы м а в и о н о м, р а с к а и в а я с ь в с в о е й б о л е з н е н н о й з а п а л ь ч и в о с т и, но слишком кратко, т. е. не сказав всего, что следовало. Поэтому опять пишу, — этот авион пойдет завтра, 21-го.

Завтра я увижу кого следует — припишу Вам в этом авионе, как поступить с тем, что у Вас уже есть для меня е щ е, — говорю о в т о р о й сотне. Что же до следующих, если таковые будут, то, конечно, прошу Вас держать их у себя до новой для меня надобности в них. Эта надобность может оказаться уже в Juan les Pins, да и то надеюсь, не сразу. А уехать туда мы должны 2-го января, — билеты уже взяты. Запомните же: если, Бог даст, уедем (я становлюсь всё суевернее, каждый день боюсь, что завтра свалюсь), то вот наш адрес с 3-го января: Maison Russe, Villa de Fournel, Juan les Pins, A. M., France.

Еще раз горячо благодарю Вас, дорогой мой, за то живое и усердное внимание, которое Вы проявляете ко мне. Передайте, пожалуйста, мою благодарность Анне Степановне и Савелию Абрамовичу,* — о н и ч р е з в ы ч а й н о т р о н у л и м е н я, с к а ж и т е э т о и м н е п р е м е н н о. Рад сделать надписи для них, но нет ли возможности достать у Марии Самойловны** два-три-четыре экземпляра моего «Речного

* А. С. и С. А. Сорины.

** М. С. Цетлина.

Трактира»? Может быть, у нее осталось несколько штук? Тогда гораздо лучше будет подарить им (и еще кому-нибудь — кого Вы укажете) «Речной Трактир», чем американское издание «Темных Аллей», безбожно сокращенное, составляющее только треть того, что вышло в Париже. (Я бы немедленно выслал Вам несколько штук парижского издания, да ведь эти штуки придут к Вам не скоро, а Вас это «не устраивает»?).

Сообщите, кому еще сделать надписи?

Вы пишете: «Я считаю, что Бунин ни в чьей защите не нуждается». Да, к а к п и с а т е л ь, — мне совершенно всё равно, что бы ни говорили о моей литературной бездарности. Но к а к ч е л о в е к, которого упорно порочат, как «перелета», каковым я никогда в жизни не был? Затем Вы добавляете: «мне сейчас, когда я достаю для Вас деньги, не хотелось бы раздувать полемику». Вижу теперь, что я своей настойчивостью насчет напечатания моего «Письма в редакцию» в «Нов. Р. Слове» ставлю Вас и впрямь в неприятное положение. И поэтому — сдаюсь: е с л и В ы р е ш и т е л ь н о п р о т и в э т о г о «П и с ь м а в р е д а к ц и ю» (д а ж е и с т е м и смягчениями моих резкостей, которые (смягчения) я Вас просил сделать вчера), не печатайте его.*

Вместе с В. Н. поздравляем Вас и Вашу милую певицу с праздником и Новым Годом.

Ваш Ив. Бунин».

Через пять дней — 27 декабря — заключительное по этому вопросу и уже совсем спокойное письмо:

«...Спешу еще раз горячо поблагодарить Вас и прошу извинить меня за всё то, что так болезненно писал Вам: во-первых, о сборе на меня — ведь тяжело на старости лет быть в таком положении, в каком я нахожусь.... Насчет печатанья моих «Автобиогр. заметок»: тут я подумал, что «Нов. Р. Слову» они показались тоже (как и мое «письмо в редакцию») слишком р е з к и и редакция хотела пустить их так, чтобы прошли они п о н е з а м е т н е е, — мне и в голову не приходило, что Вы хотели «побаловать читателя Буниным»; и, наконец, в-третьих, об этом «Письме в редакцию»: сейчас вижу, что Вы правы, говоря: «не стоит Вам так волноваться»... От всей души обнимаю Вас. Ваш Ив. Б.».

---

* Письмо И. А. Бунина, как уже сказано выше, было напечатано в «Новом Русском Слове» в смягченной редакции 30 декабря 1948 г.

* * *

«Автобиографические заметки», о которых идет речь в письмах Бунина, позже были им собраны в книгу «Воспоминаний». Бунин на прощанье решил откровенно сказать, что думает о некоторых своих знаменитых современниках. «Декадентов» он открыто презирал и часто приводил отзыв о них Чехова:

— Какие они декаденты! — говорил Чехов. — Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

По существу, в современной русской литературе Бунин любил и даже в какой-то степени боготворил только двух человек: Толстого и Чехова.... К другим же своим знаменитым современникам относился он более, чем критически и даже, если по существу многое из того, что он писал было справедливо, — никто так не чувствовал фальшь, пошлость и напыщенность, как Бунин, — оценку он давал беспощадную, а по форме очень уж жестокую. У Горького была «болезненная страсть к изломанному языку», «редкая напыщенность» и непрестанное позерство; поэзию Есенина называл «писарской сердцещипательной лирикой», а самого поэта — непревзойденным по пошлости и способностям кощунства; впрочем, в этом отношении он несколько колебался и по линии кощунства пальму первенства готов был передать Блоку. Когда Бунин начинал говорить о «Двенадцати», он мгновенно терял всякое самообладание. Маяковский был «самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства»; Алексей Толстой сочетал громадный талант с душой мошенника и уже иначе, как «Алешкой» Бунин его и не называл.... Всем сестрам доставалось по серьгам: «буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство»; «морфинист и садистический эротоман Брюсов»; «обезъяньи неистовства Белого»; «запойный трагик Андреев»... Становилось страшно. Летом 49 года мы гостили в Париже и несколько раз бывали у Буниных, — главным образом на литературных «четвергах». В этот день у Буниных, на рю Жак Оффенбах, обычно собирались писатели, журналисты и поэты, — выпить чашку чаю, послушать новое произведение собрата и просто посудачить. В один из четвергов пришел полуслепой и сгорбленный, совсем превратившийся в гнома А. М. Ремизов. Он отказывался читать, его упрашивали, и Бунин, наконец, крикнул:

— Да читайте же, дедушка!

И Алексей Михайлович глухо и с каким-то отчаянием начал читать «Сказку о рыбаке и рыбке»... Приходила на эти вечера, между двумя сердечными припадками Н. А. Тэффи и, возвращаясь ночью домой, по тихим улицам Пасси, рассказывала о «жабе, которая забралась ко мне во грудь». Читала свои стихи Софья Прегель. Был еще жив Борис Пантелеймонов, начавший писать чуть ли не в шестьдесят лет. Он приносил свой последний рассказ, входил в спальню Бунина и давал прочесть ему рукопись, — с глазу на глаз. В один из таких четвергов Пантелеймонов заговорил со мной сиплым голосом. Я спросил, что случилось, и он беззаботно ответил, что так, пустяки, должно быть простуда. Это было начало страшной болезни, рака горла, который свел год спустя в могилу этого талантливого писателя.

На одном из «четвергов» Бунин прочел нам главу из своих «Воспоминаний». Был он превосходным чтецом, но на этот раз быстро устал, — он был уже совсем болен, вышел к гостям в халате и весь вечер сидел в кресле, прикрытый пледом. Когда он кончил читать, в комнате наступило неловкое молчание.... Н. А. Тэффи принялась что-то торопливо искать в своей сумочке. Г. В. Адамович сидел с красным от волнения лицом, — многих из тех, о ком говорил Бунин, он знал лично и расценивал их совсем иначе. Иван Алексеевич поглядел вокруг, понял и обиделся.

— Что же вы молчите?

Чтобы выйти из неловкого положения я шутливо сказал:

— Ну и добрый же Вы человек, Иван Алексеевич! Всех обласкали.

Он рассердился, вышел в соседнюю комнату, где была его спальня, вызвал туда Б. Пантелеймонова и долго сидел с ним вдвоем, прежде чем снова вышел к гостям.

Несколько дней спустя, с глазу на глаз, он обрушился на меня: как же это так, неужели я не согласен с тем, что Горький был пошляк и фигляр, что «Двенадцать», — это дешевый набор стишков и частушек и клевета на Россию, и кощунство, и что лирика Есенина «писарская»?

Помню, я особенно обиделся за Максимилиана Волошина, которого в юности знал лично и любил. Бунин написал, что Волошин мог прервать самый горячий теософский спор, чтобы жадно наброситься на еду, и я не выдержал и упрекнул его:

— Да ведь и вы, Иван Алексеевич, очень любите закусить пирожками, и селедку любите, и водку. И, пожалуй, ради закуски пожертвуете любым теософским спором...

Он на мгновенье уставился на меня и вдруг начал смеяться и потом несколько раз повторял:

— Так вы думаете, пожертвую? Что же, может быть, может быть...

За несколько дней до нашего отъезда в Нью Иорк Иван Алексеевич прислал мне в подарок свою фотографию (23-го года!) с нежной, тронувшей меня надписью, но на оборотной стороне не выдержал и написал:

«Оседлаю коня, коня борзого
И помчусь, полечу легче сокола —
Догоню, ворочу мою молодость!
Но, увы, нет пути к невозвратному,
Никогда не взойти солнцу с Запада...

Кольцов.

«Это не чета сукину сыну Есенину. Всю его лживую, писарскую лирику можно отдать за две строки Кольцова:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу...

Ив. Бунин».

* * *

Переписка наша по поводу «Литературных Заметок» началась задолго до этой встречи в Париже, летом 49 года. Еще 20 января Бунин писал:

«Милый Яшенька, на том свете Вам кое-что простится за то, что о ч е н ь успокоили Вы меня в моей позорной старости на некоторое время. О ч е н ь обрадовали Вы меня своим последним письмом и еще раз сердечнейше целую Вас.

Целую и за то, что защищаете Вы меня от клянущих меня за мои «Авторские заметки», — за то, что не расплакался я в них на счет Блока, Есенина (о которых еще и слуху не было в ту пору, о которой говорил я в своих «Заметках», — которые, к с т а т и с к а з а т ь, н и ч у т ь н е е с т ь и с т о р и я р у с с к о й л и т е р а т у р ы) и за то еще, что старик Бунин позволил себе иметь свое собственное мнение о поэтическом таланте величайшего халуя русской «поэзии» Маяковского при всей его халуйской небездарности.

Вскоре я пошлю в «Нов Р. Слово» свои заметки об Алешке Толстом, — в них я скажу еще несколько слов о Маяковском в свою защиту. Я напомню (очень спокойно), как он называл звезды не иначе как «плевочками», как он описывал свое путешествие по Кавказу: «п о м о ч и л с я» в Терек, п о п л е в а л в Арагву...» и что он «пел» об Америке...

. . . . . .

Болен я серьезно: вот уже почти 2 недели жестокое воспаление век и ноздрей. Зуд и слезы, слезы.... Целую Вас еще и еще. Ив. Б.»

В апреле того же, 49-го года:

«...И еще: что ж Ваш уважаемый орган хочет ли нет продолжение моих «Заметок?» Есть у меня зернистая вещь «Третий Толстой» — об Алешке Толстом — с большими похвалами его таланту писательскому и меньшими — таланту житейскому. Спросите М. Е. Вейнбаума и А. А. Полякова (с поклонами от меня). Да и В а ш е мнение скажите — откровенное, тайное (между нами останется!).

Целую Вас и хочу немного удивить: начинаю подумывать об Америке! Серьезно! Можно ли жить где-нибудь н е д а л е к о от Нью Йорка, но в д р у г о м к л и м а т е? — ибо в Нью Йорке ведь нельзя жить ни в каком случае. Ваш Ив. Б.»

Перерыв в переписке в несколько недель: мы были в это время в Париже и тогда именно, в один из «четвергов» Бунин читал нам отрывки из своих «Воспоминаний», о чем рассказано выше. А затем письмо от 18 декабря 49 г.

«Милые Седые, благодарим за поздравление, поздравляем и мы Вас с Новым Годом и желаем всех благ.

Галина Николаевна* ответила только на наше п е р в о е письмо, посланное по ее п е р в о м у адресу. На в т о р о е большое письмо Веры Ник. ответа нет уже давно.

. . . . . .

Вы, верно, уже знаете, что я уже давно предупредил авионом Марка Ефимовича Вейнбаума, что 22 или 23 декабря придет к нему и принесет мою рукопись «Третий Толстой» (мои воспоминания об А. Ник. Толстом) г-жа Майкапар... В этой моей статье, в середине ее, есть кое-что такое, что весьма огорчит поклонников Блока; однако, я извещаю Марка Ефимовича, что я к сожалению, никак не могу согласиться ни смягчить, ни

* Писательница Г. Н. Кузнецова.

выкинуть ни одного слова в ней, в этой статье. Надеюсь, что Марк Ефимович не пожертвует мною ради этих поклонников, статью напечатает — и посему усердно прошу его и Вас и дорогого А. А. Полякова немного нажать на типографию насчет тщательной корректуры.

Целую Вас и милую певицу.

Ив. Б.

P. S. Вы не должны огорчаться за Блока. Это был перверсный актер, патологически склонный к кощунству: только Демьян Бедный мог решиться на такую, например, гнусность, как рифмовка (в последнем мерзком куплете «Двенадцати») — мне даже трудно это писать! — рифмовка «пес» и Христос. Только последний негодяй мог назвать Петра Апостола (пришедшего в Рим на Распятие — и потребовавшего, чтобы Его распяли вниз головой, ибо Он считал, что недостоин быть распятым обычно, так, как распят был Христос) «дураком с отвислой губой», а Блок именно так и написал: «дурак с отвислой губой Симон удит рыбу». И это — о Петре, красота души которого даже увеличивала эту красоту, — вспомните, как горячо кинулся защищать Христа (ухо отсек), как отрекся трижды от Него и как плакал потом.... Весьма прошу Вас прочесть всё это Александру Абрамовичу и Марку Ефимовичу. А за всем тем я пишу это вовсе не потому, что мне хочется во что бы то ни стало напечатать «Третьего Т.» в «Нов. Р. Слове» — не подходит и не надо печатать. Только, пожалуйста, возвратите мне рукопись заказным пакетом».

Вопреки опасениям Бунина, «Третий Толстой» был, конечно, напечатан. Я заранее известил об этом Бунина и получил от него открытку:

«Милый Яшенька, сейчас пришло Ваше письмо от 23 декабря. Значит «Тр. Толстой» будет напечатан. Будьте добры напечатать подвалами — и вычеркните последнюю фразу: «умер он непонятно рано...» и т. д. — это лишнее.

Что цените мои стихи, — хвалю! Они на редкость блестящи — какая естественность языка, какие рифмы! Еще никто так не писал! Мерси! Мерси!

Пишу в постели — всё слабею, всё больше задыхаюсь.

Целую. Ваш Ив. Б.»

Я нарочно привел это письмо, — одно из редких, в которых Бунин говорит о своих стихах. Иронический отзыв о них прозвучал на этот раз, как некий вызов и самозащита. Бунин

ценил свои стихи не меньше, даже, пожалуй, больше своей прозы, и если в последние годы почти перестал писать стихи, то, мне кажется, из-за оскомины, которая появилась у него из-за Блока и Есенина, из-за необыкновенного их успеха, которого Бунин не понимал. Да и парижские «молодые» поэты, далеко уже к этому времени не молодые, считали бунинскую поэзию старомодной и «несозвучной»... Однажды на Монпарнассе произошел такой случай: некий захудалый поэт сказал Бунину:

— Мы вас любим не за стихи.

— Я вас тоже люблю не за стихи, — ответил ему Бунин.

* * *

В то же, приблизительно, время, когда печатал свои «Автобиографические заметки» И. А. Бунин, начала печатать в «Новом Русском Слове» свои воспоминания и Н. А. Тэффи. Писала она их с необычайным блеском, — особенно поразила меня ее статья о Мережковских.

С Мережковскими встретился я лично только один раз в жизни. Встреча была неприятная и оставила на всю жизнь отвратительный осадок. Но слышал я их на разных вечерах и собраниях часто. Очень жалею, что не был на вечере, где, в пылу религиозно-философского диспута, Мережковский воскликнул:

— Нет, вы скажите: с кем же вы — с Христом или с Адамовичем?

Тэффи написала о Мережковском и Гиппиус очень жестоко, но метко и, на мой взгляд, справедливо, и я высказался в этом духе в письме к Иван Алексеевичу. Должно быть, попутно я написал, что удивлен некоторыми местами из «Третьего Толстого», — знал, что Бунин с Алексеем Толстым дружил и в какой-то степени его даже любил. Ответ не заставил себя ждать:

«1 февраля 1950 г.

. . . . . .

«Наслаждались» воспоминаниями Тэффи? «Уж очень» не любите «их обоих»? Вот видите — себе Вы позволяете не любить, а на меня шипите очковой змеей за мою нелюбовь даже к такому мерзавцу и пошлейшему стихоплету «под гармонь», как Есенин!

К о г д а я был «дружен» с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше — уже хотя бы потому, что был в сто раз откровен-

нее их. Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже.

А Марк Александрович гораздо дальше, — М. А. человек на редкость щепетильный. И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантливости и шарма!

«Мертвому льстить невозможно»? А мерзавцу Блоку необходимо? За что именно «ругают меня»? Ведь мне кажется, что насчет «Двенадцати» я сказал только то, что неоспоримо. Вообще: какая кому беда в том, что мне не нравится в литературе?

Целуем Вас обоих.

Bien à vous. Jean de Bounine».

В моих записных книжках за 1936 год есть рассказ о случайной встрече И. А. Бунина и М. А. Алданова в Париже с А. Н. Толстым. Встретились в кафе на Монпарнассе. Произошла заминка. Наконец, Бунин подошел к Толстому. Облобызались... Алданов, также очень друживший с автором «Петра I», отказался подойти и подать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.

Бунин просидел с Толстым весь вечер. «Алешка» расточал комплименты и звал вернуться в Москву:

— По твоим, брат, книгам, учатся все молодые советские писатели... Да тебя примут с триумфом...

Бунин слушал, улыбался, и, как всегда, когда не знал, ответить на комплименты, немного иронически говорил:

— Мерси. Мерси!

Прошли две или три недели. В «Литературной Газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он, примерно, так:

— Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Прочел я его последние книги. Боже, что стало с этим, когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура и т. д. Дальше следовали еще строк 20 в таком же духе. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным... Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как говорят французы, la vengence est un plat que l'on mange froid.*

* Месть, это блюдо, которое надо есть холодным.

* * *

Открытка воздушной почтой от 13 февраля 50 г.:

«Вот, милый Яшенька, кое-что из дневников Блока:

«Все близкие (в литературе) на границе безумия, больны, расшатаны.... У модернистов только завитки вокруг пустоты...»

— «Таланты пошлости»....

— «Литература смердит»....

1912 г.

— «Была ли воля к революции? Со стороны кучки...»

— «Пулеметы на грузовиках... Немецкие деньги!»

— «Русск. народ блажит тупо, подловато, себе на уме... глупый, корыстный, тупой, наглый....»

— «Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улицах галдеж, хохот....»

1917 г.

Вот тебе и «Двенадцать»!

* * *

Заняв однажды определенную позицию, Бунин уж не любил с нее сходить и не терпел возражений, — был уверен в своей абсолютной правоте. Так случилось и с Блоком, и с Есениным. Дошло до того, что противоположную точку зрения он воспринимал довольно болезненно, как некое личное оскорбление. В ноябре 50 г. в «Новом Русском Слове» появилась статья Георгия Александрова «Памяти Есенина».

Бунин прислал мне необычайно гневное письмо с руганью по адресу автора и закончил его угрозой:

«И это (т. е. выступление Александрова о Есенине) совершенно отбивает у меня охоту продолжать печататься у Вас».

Мне не оставалось ничего иного, как ответить Ивану Алексеевичу, что письмо направлено не по адресу: по вопросу о дальнейшем сотрудничестве следовало бы обратиться к редактору газеты М. Е. Вейнбауму, а не ко мне.

К этому времени «Воспоминания» Бунина уже вышли. Он прислал мне несколько экземпляров для продажи, — я получал у состоятельных людей по 25-50 долларов за экземпляр и деньги ежемесячно пересылал ему в Париж. Но личного экземпляра мне он на этот раз не прислал, а пообещал сделать это в будущем, и я ответил, что высылать не надо, так как я уже приобрел книгу и прочел.

Ответ Бунина от 28 ноября 50 г.

«Получил Ваше письмо, дорогой мой (от 26 ноября). Вы пишете:

«Ваше с е р д и т о е письмо в связи со статьей о Есенине Вы направили не по адресу...»

Я бы на Вашем месте не употреблял слова «сердитое» — это звучит как-то не очень хорошо — насмешливо, с некоторым превосходством над «сердитым стариком», а я вовсе не сердился, а писал Вам по приятельски, как одному из главных членов редакции, а заявлять официальный «протест», как Вы выражаетесь, редактору не считал нужным, т. е. не хотел р а з д у в а т ь этой маленькой истории. И хорошо, что Вы ему не показали записку к Вам, а то вышло бы, что я хочу как-то «п о л у - п р о т е с т о в а т ь», не прямо, а через Вас. Если бы хотел, хватило бы смелости «протестовать» непосредственно.

Затем: «Не нужно мне высылать Вашей книги — я уже давно ее приобрел и прочел».

Это тоже звучит весьма недружелюбно, пренебрежительно. Жалею, что не послал, не думал, что Вы обидетесь. Издательство «Возрождение» скупое: дало мне очень мало авторских. Поэтому из того, что получил, послал Вам спешно в надежде, что продадите, ибо «касса» наша очень плачевна: Рогнедов добыл нам всего тысяч сто, а у нас долгу было тысяч полтораста. Вот я и думал: выпрошу еще: и тогда и пошлю Вам. Ну, а вышло, что я Вас обидел. И, верно, обидел еще тем, что не поблагодарил Вас за прекрасную статью Вашу обо мне — не вру, употребляя слово «прекрасную». Но не забывайте, что я совсем больной: ночи не сплю от удушья д о у т р а, отравляясь усыпительными.

Ваш Ив. Б.»

Так, буквально до конца своей жизни не мог Бунин успокоиться. В последний раз виделись мы в Париже в декабре 51 года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели. Печальная была эта встреча.... За два года болезнь изменила его ужасно. В приезд 49 года он еще выходил в столовую и присаживался за стол, принимал людей. На этот раз всё было иначе. Вера Николаевна, сама очень постаревшая и измученная, с вечным страхом в глазах, вышла ко мне и как-то смущенно сказала:

— Яну плохо, он совсем уж не встает и никого не принимает. Но вас, конечно, рад будет увидеть....

Мы зашли в столовую и сели за стол, накрытый клеенкой. Она рассказывала, жаловалась на старость, на болезни. Время от времени за стеклянной дверью, в соседней комнате, кашлял Иван Алексеевич. Кашель у него был сухой, мучительный, разрывавший грудь.

Наконец, она повела меня в эту комнату. Там был полумрак и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела. Горела в комнате одна лампочка. В углу, на низкой железной кровати, под солдатским одеялом, полулежал, полусидел Бунин.

Сначала я испугался, — так страшен был его вид. Он както высох, стал маленький, щеки впали и обросли седой щетиной, — чем-то он напомнил мне Шмелева. И на этом измученном лице, изрытом глубокими морщинами, я увидел большие глаза, внимательно на меня смотревшие, — он хотел, видимо, проверить, какое впечатление произвел на меня... Тяжело вспоминать, но я так растерялся, что даже не успел придать лицу то «бодрое» выражение, с которым принято входить в комнату к тяжело больным людям и так беспомощно простоял несколько секунд, а потом шагнул вперед, чтобы его обнять. Но Иван Алексеевич меня остановил:

— Дорогой мой, теперь больше ни с кем не целуюсь и за руку не здоровуюсь... Боюсь, занесут заразу. Да и Вас могу заразить: меня вечно теперь лихорадит.

Постепенно начал я успокаиваться и осмотрелся. Квартира на рю Жак Оффенбах была старая, никогда не отличалась особой чистотой и не ремонтировали ее, должно быть, с незапамятных времен. Но теперь всё это пришло в окончательное запустение и имело какой-то отталкивающий вид. На стуле лежала недоеденная краюха черного хлеба, а неподалеку была посудина для больного и пепельница, полная окурков. Я спросил, много ли он курит, и Иван Алексеевич ответил, что курит, но только французские, а не американские папиросы, и вот кто-то привез турецкий табак.... Бунин стал говорить о писательнице, которую он не любил и с которой я не встречался, объяснять свое к ней отношение, потом крепко закашлялся и долго молчал. Видно было, что разговор его утомлял и, кажется, впервые Иван Алексеевич ни разу не улыбнулся, никого не изобразил, ни над кем не пошутил. Да и не до того ему было! Всё же, я быстро убедился, что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности, голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые... Зол

он был на весь свет, — сердился на свою старость, на болезнь, на безденежье, — ему казалось, что все хотят его оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим:

— Вот, я скоро умру, — сказал он, понизив голос почти до шопота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»...

Мне показалось сначала, что он шутит. Нет, Бунин не шутил, смотрел на меня испытующе, не спускал с меня пристальных глаз и, как всегда бывало с ним в минуты душевного расстройства, словно отвечая на свои собственные мысли, сказал:

— Так... так...

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу «Жизнь Бунина».

* * *

Это было наше последнее свидание. Вернувшись домой, я нашел рассказ Бунина «Мистраль», написанный им в бессонную ночь в Грассе:

«...Горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

Ты взошел на корабль, совершил плаванье, достиг гавани: пора сходить».

* * *

Да, жить Бунину оставалось уже очень не долго, и какая же это была страшная жизнь! Теперь больше мне писала Вера Николаевна, до мельчайших подробностей описывая болезнь Бунина, день за днем, диагнозы врачей.... Самое удивительное было то, что именно в этот последний период, когда он уже по-настоящему умирал, Иван Алексеевич откуда-то находил еще силы собирать материалы для последней своей книги о Чехове. Делал заметки, диктовал, сам много о Чехове читал. У меня сохранились два письма Бунина, написанные в этот период. Когда-то красивый, твердый почерк, аккуратно, с нажимом вы-

писанные буквы, тщательно расставленные знаки препинания, отдельные фразы, подчеркнутые цветными карандашами, чтобы больше оттенить значение слов, — всё это исчезло. Почерк изменился, как-то заострился, буквы временами плясали по бумаге... Но это был Бунин, — такой же «сухой и ядовитый», каким был он всегда, всем и всеми недовольный и беспомощный в своей болезненной и несчастной старости.

«15 января 51 г.

Дорогой Яшенька, очень благодарю за 50 долларов — сколь ни скромна эта «сумма» (особенно теперь, когда кило ужасно соленой, очень скверной ветчины стоит у нас 1.000 франков) всё-таки и она порадовала, — мы уж совсем впали в нищету за три недели моего плеврита с почти каждодневным приездом доктора, с пенисилином, с сульфамидами и т. д. Как ухитрился я поймать этот плеврит, не выходя из своей клетки, — ведь я теперь совсем не могу ходить из-за дьявольской боли в правой коленке, — один Бог ведает! Вообще мое 80-летие вышло просто замечательно! «Визгу много, а щетины — на грош!» — как говорили на ярмарках про свиней самой низкой породы. Была надежда на Pearl Buck, а от нее до сих пор ни полушки нет. И что это значит — ума не приложу !* И если бы я не продал в Америку и тут Calman Levy мои «Воспоминания», пришлось бы В. Н-не на улице милостинку просить. (Во французском тексте «Воспоминаний», у C. Levy «Пир во время чумы» — басня Крылова»).

2 экз. «Восп.» завтра Вам вышлю.

Пришлите мне, пожалуйста, Вашу новую книжку.

Мне Есенин уже осточертел, но не обрывать г. Александрова я всё-таки не мог. А что написал Адамович о Есенине! Пушкинская свобода оказалась у Есенина! Есенинское хулиганство очень похоже на пушкинскую свободу! Есенин отлично знал, что теперешний читатель всё слопает. Нужна рифма к слову гибель — он лупит наглую х..... «выбель». Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

Воют в сумерки долгие, зимние
Волки грозные (!) с тощих полей,
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей....

---

*Писательница Пэрл Бок согласилась возглавить в С. Штатах комитет по случаю 80-летия Бунина и собрать для него некоторую сумму денег.

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застрехами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уж не знает теперь, что застрехой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович, — он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как «блудный сын» (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибшую оттого, что возле нее прошло — уже 100 лет тому назад, шоссе, от которого «мир таинственный» деревни «как ветер, затих и п р и с е л». Я нынче тоже написал, как именно Есенин возвращается к маме и папе — написал à la Есенин.

Папа бросил плести л а п о т ь,
С мамой выскочил за тын,
А навстречу мамы с п а п о й
Их законный сукин сын!

Целую Вас и прошу извинить меня за Есенина.
Ваш Ив. Бунин».

Все письма его последнего периода полны одним и тем же: страхом смерти, жалобами на физические страдания и на бедность, — безысходную и беспросветную. В бессонную ночь с 25 на 26 мая 1952 г., — он теперь почти не спал по ночам, — Бунин писал:

«Дорогой Яшенька!

Очень благодарю за сердечное письмо, тронут, что оценили Вы новое, полное издание моей книги, в которой, правда, не мало хорошего, хотя «Издательство имени Чехова» в своих объявлениях о книгах, изданных им, усмотрело в этой моей книге только то, что я провел детство, отрочество и юность в тех местах, где жил Тургенев, Толстой, Фет и еще кое-кто из больших писателей, что, кстати сказать, и неверно, ибо уже в ранней юности я жил в Харькове, в Полтаве, странствовал по всей Малороссии и т. д.

«И-во имени Чехова», в лице Н. Р. Вредена, взяло на себя обязательство (в августе прошлого года) издать три мои книги: вот ту, что уже издало («Жизнь Арсеньева»), сборник моих новых рассказов и том избранных произведений, но когда я стал просить сказать мне, когда будет издана моя вторая книга (дабы знать, когда именно будут у меня средства к дальнейшему существованию) — увы, уже недолгому! — изда-

тельство всё не отвечало мне, а когда наконец ответило, ответ показался мне оскорбительным, ибо предложено мне было прислать мои «рукописи» в «Издательство» и ждать, когда будет «включен» в издательстве вопрос об их судьбе. Вы знаете, что я к такому отношению ко мне не привык. Вот тут и пробежала между нами черная кошка....

Пишу полусидя в постели, — был особенно тяжело и с л о ж н о болен недели три (да и сейчас еще болен, поправляюсь медленно) и с о в е р ш е н н о обнищал от докторов, лекарств, уколов пенисилина и еще чего-то, от лабораторных исследований... И Вера Ник. того гляди, — избавь Бог! — свалится: ведь весь дом на ней — и я: бледна, слаба, больна артритом... Целую Вас.

Ваш Ив. Б.»

Конфликт с Чеховским издательством был улажен благодаря вмешательству М. Е. Вейнбаума, которому удалось получить аванс в несколько сот долларов и перевести деньги в Париж. Но это было последнее письмо от Ивана Алексеевича. Потом писала только Вера Николаевна и вот, из последнего:

«...Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их и он говорил, что нужно отметить.... дочитала до письма В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899. И Ян сказал: «Ну, довольно: устал». «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?». «Да»....

Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. Он стал звонить.

— Что ты так долго?

— Но ведь нужно и умыться и кой-что сделать на кухне.

Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки у него были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся. Я спросила, что с ним?

— Задыхаюсь. Нет пульса... дай солюкамфр.

Я встала и накапала двадцать капель.

— Ты спал?

— Мало... дремал... Мне не очень хорошо. Дай я спущу ноги.

Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему: «Возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он всё молчит и недвижим...

Конечно, в этот момент он ушел от меня».

Перед смертью, кажется накануне, Иван Алексеевич сказал жене:

— Душа с телом расстается.

* * *

На этом кончаются мои воспоминания о Бунине. Но мысль часто возвращается к нему, — сложный был он человек, и трудно было разобраться в его противоречиях и в тех чувствах, которые он вызывал.

Бунина можно было и любить, и ненавидеть. Он мог пленять людей своим великим писательским мастерством, своим необыкновенным человеческим шармом, и также легко поражал их своей несдержанностью, часто доходившей до грубости, житейской мелочностью и эгоизмом. Было в нем много горечи, чувства какой-то литературной несправедливости, жертвой которой он стал.

«Слишком поздно родился я, писал Бунин в своих «Воспоминаниях». Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за ней 17-ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего о д и н потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а всё-таки съедобных тварей.... И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?»

Да, в трудное время жил Бунин. Неумолимо строгий к другим, он и к самому себе бывал беспощаден. Органически не мог работать плохо, бесконечное число раз исправлял свои старые вещи, тщательно перечитывал их перед каждым новым изданием, вычеркивал, заменял слова и фразы, шлифовал. С тем, что он писал, можно не соглашаться, но при этом вызывал он невольное восхищение: как написано! Какая внутренняя си-

ла, четкость, какой безжалостный, всё замечающий глаз... Может быть чрезмерно суровое его отношение к современникам происходило из-за внутреннего сознания некоторой несправедливости: долгие годы в России широкая читательская масса захлебывалась Леонидом Андреевым, Скитальцем и упивалась «буревестниками» и «гордыми соколами» Горького, а Бунина снисходительно называли «последним дворянским писателем» и читали мало, — считался он писателем для «элиты». Нобелевская премия пришла слишком поздно, к шестидесяти годам, а связанное с ней материальное благополучие продолжалось недолго. И в последних писаниях Бунина всегда чувствовалась большая горечь, жалоба на упущенные возможности, на изломанную жизнь, на пережитые «окаянные годы». Как же не понять его горечь и его ненависть к литературным лже-пророкам, к писателям на ходулях, к поэтам под гармошку? Слишком много видел он в жизни людей с непомерно раздутыми репутациями, слишком рано его абсолютный писательский слух почувствовал всю их фальшь и ложь.

Сам Бунин не придерживался правила: о мертвых нужно говорить либо хорошее, либо молчать... Однажды, в пылу спора, указав на какое-то место в «Воспоминаниях», казавшееся мне особенно несправедливым, я спросил:

— А что, Иван Алексеевич, если когда-нибудь и о Вас будут писать в таком тоне?

Бунин побледнел, как-то весь выпрямился и холодно ответил:

— Не будут, дорогой. Не заслужил. Литературной проституцией никогда не занимался.

И я думаю, что о Бунине можно писать всё, — о необыкновенном его обаянии, о его больших человеческих слабостях и о великом писательском даре, который бережно и целомудренно он пронес через всю свою жизнь.

Андрей Седых

ВЫСШАЯ ШКОЛА В 1918–22 ГОДАХ

ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

После октябрьской революции 1917 года правления высших учебных заведений были завалены декретами и распоряжениями Комиссариата народного просвещения — «Наркомпроса». Одним из первых появился декрет, предоставлявший звание профессора каждому приват-доценту со стажем педагогической деятельности более трех лет, а также и всем преподавателям университета, уже обладавшим званием профессоров в других высших школах. В силу этого декрета значительно увеличился численный состав Совета профессоров университета, но приток новых членов не нарушал делового характера его работы. Немногочисленные представители «красной профессуры» делали попытки выступать на заседаниях Совета с демагогическими речами, но их время еще не пришло. Профессорская семья держалась дружно и речи «красных» профессоров никакого сочувствия не вызывали и решительно пресекались. Особенно удачно парировал выступления «красных» тогдашний ректор Петроградского университета профессор В. М. Шимкевич, который своими остроумными, иногда весьма двусмысленными замечаниями, вызывал дружный смех аудитории и сконфуженный оратор замолкал, не докончив порученного ему задания вносить раскол в ряды сплоченного большинства Совета.

Другой декрет советской власти также касался преподавательского персонала университета и, как и первый, имел своей целью стереть грани между различными группами преподавательского персонала университета. Декрет этот отменял защиту диссертаций и запрещал присуждение ученых степеней. Это распоряжение существенно нарушало права университетов и открывало путь к занятию кафедр, или чтению обязательных курсов лицам, не обладавшим должной квалификацией. Декрет вызвал негодование среди профессуры и понятное стремление сохранить традиционные права университета. Я помню, как на Совете профессоров Петроградского универ-

ситета, до оглашения декрета, целый ряд лиц, представивших уже свои диссертации и получивших благоприятные отзывы официальных оппонентов, были удостоены званий докторов хонорис кауза. В дальнейшем факультеты принимали диссертации и заслушивали на своих заседаниях отзывы референтов. Диссертации, одобренные факультетами, считались достаточным доказательством, что лицо ее представившее имеет неоспоримое право получить кафедру, или читать обязательный курс в университете.

Очень значительное нарушение нормального хода занятий в Высших школах внес декрет, представлявший право вступать в число студентов университетов и других высших учебных заведений всем лицам обоего пола, достигшим 16-ти летнего возраста. Плата за учение была отменена еще раньше и никакого образовательного ценза не требовалось. Ничто не препятствовало наводнить аудитории толпами уличной молодежи.

Со стороны профессуры делались попытки убедить власть в нелепости этого декрета, но они успеха не имели. Заведующим Народным образованием в Петрограде состоял тогда вполне культурный человек с высшим образованием. Слушая наши доводы он беспомощно разводил руками и говорил, что не властен отменить декрет и в аудитории высших школ Петрограда вваливалась ватага разнузданной молодежи, с папиросками в зубах, с шапками на головах, с подсолнухами в карманах. Хохот, визг и дикие выкрики наполняли аудитории до прихода профессора. Шум, стихавший при начале лекции, постепенно нарастал, по мере того как публике надоедало слушать лекцию профессора. И лекция нередко прерывалась наглыми замечаниями и хохотом....

От переполненных аудиторий, духоты и шума страдали главным образом профессора первых курсов гуманитарных наук, но всё это скоро пришло к концу. Улица схлынула. Остались настоящие студенты. Опыт обучения пролетарской молодежи оказался вполне неудачным.

Наркомпрос уже более не настаивал на своем декрете о приеме 16-ти летних без образовательного ценза и предписал лиц без среднего образования подвергать вступительным экзаменам, удовлетворительная сдача которых открывала доступ в Высшее учебное заведение. Такие экзамены и состоялись осенью 1919 года. Они были не строгие, но для многих оказались не под силу. Мне пришлось присутствовать на экзамене по математике. В большом зале Технологического института

собрались юноши и девушки, желавшие попасть в Высшую школу. Они уже ничем не напоминали уличную толпу предыдущего года. В Технологический институт собрались скромные, опрятно одеты люди, не без робости взиравшие на экзаменаторов. С моего председательского места можно было свободно наблюдать экзаменующихся. Их было очень много. Я видел недоумевающие и беспомощные жесты и взволнованные лица. Некоторые вставали и покидали зал. Незадолго до конца срока, установленного для письменных работ, один из экзаменаторов предложил мне взглянуть на работу одного молодого человека, который весь красный от волнения, что-то тщательно вычислял. Ему было дано задание вычислить объем цилиндра и он его тщательно вычертил. Но его рисунок представлял шляпу-цилиндр, а на устном экзамене на вопрос, чему равняется А плюс Б в квадрате, весьма решительно ответил: «ну, конечно, нулю»....

При самом снисходительном отношении к экзаменующимся очень многих пришлось признать недостаточно подготовленными для поступления в Высшую школу и отказать в приеме. После неуспеха со вступительными экзаменами, в Наркомпросе возникла мысль организовать для пролетариата подготовительные курсы — рабочие факультеты, об организации которых скажу позднее.

Для академических кругов Петрограда большим событием, позволившим на время забыть о декретах Наркомпроса, явилось празднование столетнего юбилея со дня основания Петроградского университета. 8 февраля 1919 года актовый зал университета наполнился нарядной публикой, собравшейся приветствовать юбиляра и прослушать речи по поводу этого торжества. Ректор университета профессор В. М. Шимкевич произнес, как всегда, очень остроумную речь, в которой он в завуалированной форме едко высмеивал мероприятия Наркомпроса в отношении университета. Затем слово было предоставлено проф. Л. И. Петражицкому, который говорил на тему об истории Университета. На всю жизнь осталось впечатление от этой речи, произнесенной с большим подъемом и с особым, ему свойственным акцентом.

После речей начались многочисленные приветствия. Выступал с приветствием и комиссар Народного просвещения А. В. Луначарский. Я его увидел впервые. Он говорил несколько хриплым голосом, но свободно и красноречиво. В нем чувствовался опытный оратор. Его речь не носила никаких следов

демагогии и была насыщена призывами к совместной работе. Он утверждал, что рабоче-крестьянское правительство нуждается в ученых и профессорах, обладающих знаниями, которых нет у пролетариата. Рабочая молодежь, говорил он, жаждет знания и советская власть нуждается в специалистах, необходимых для задуманной широкой индустриализации страны. Речь его казалась искренной и доброжелательной. Впоследствии мне нередко приходилось иметь дело с Луначарским и я убеждался, что он шел навстречу нашим нуждам, которые, однако, редко получали удовлетворение. Луначарский был слабовольный человек и не пользовался должным авторитетом. Злым гением, от которого исходили все неприятности для высшей школы, являлся товарищ комиссара Народного просвещения М. Н. Покровский. Его я знал лично, когда он еще только начинал свою ученую карьеру, в которой он не преуспел. Совсем еще молодым человеком, с густой черной бородой Покровский появился в качестве преподавателя истории в 7-й Московской гимназии в год, когда я был в восьмом классе. На нас, гимназистов, он произвел хорошее впечатление и мы охотно слушали, тогда еще объективное, без каких-либо признаков ненависти и пристрастной оценки изложение исторических фактов. Позднее я узнал, что Покровский представил диссертацию в Историко-филологический факультет Московского университета, но его диссертация не была одобрена. После этого Покровский озлобился не только на профессоров Историко-филологического факультета, но и на всю, вообще, профессуру. Я подозреваю, что декрет, воспретивший присуждать ученые степени, был осуществлен по инициативе Покровского в отмщение за неудачу с его диссертацией: если не получил он ученой степени — не получит никто. Мне пришлось лично убедиться в ненависти Покровского к профессуре вообще. По делам университета я должен был видеть Покровского, к которому я шел, как к бывшему моему учителю. Я был удивлен, увидев вместо молодого жгучего брюнета, седого, как лунь, старика. Я напомнил ему о нашем знакомстве, но Покровский не выразил никакого энтузиазма по этому поводу. А когда я заговорил о нуждах Петроградского университета, то его всего передернуло и он с необычайной злобой обрушился на профессоров, которые, по его словам, саботируют советскую власть и не хотят добросовестно работать, ссылаясь на вымышленные препятствия. Разговор наш кончился очень скоро и я никогда больше не обращался к Покровскому.

Мое вхождение в состав правления Петроградского университета в 1920/21 учебном году состоялось совершенно для меня неожиданно. Однажды, подымаясь по лестнице на третий этаж главного здания университета, я повстречался с ректором В. М. Шимкевичем, который огорошил меня вопросом, не согласился бы я занять должность проректора. «По теперешним временам», сказал он, «нам нужны молодые силы». (Мне шел тогда 39-й год). Через несколько дней после этой встречи происходило заседание Совета профессоров университета и я был избран проректором по хозяйственной части. В том же заседании была избрана на должность проректора по студенческим делам и другая «молодая сила» проф. А. А. Боголепов (он был даже моложе меня) и переизбраны ректор проф. В. М. Шимкевич и его помощник проф. Н. И. Лазаревский.

В заседаниях правления университета принимали участие деканы и секретари факультетов, а позднее появился и комиссар «товарищ» Цвибак, назначенный Наркомпросом следить за работой правления и, вообще, за деятельностью университета. Цвибак потребовал передать ему печать университета и поэтому ни одна исходящая бумага за подписью ректора не избегала его контроля. Цвибак (тогда еще студент Военно-медицинской академии), как уполномоченный контролировать ректора, мог принести много неприятностей, но на заседаниях правления он не открывал рта и на него никто не обращал внимания. От ректора я также не слышал, чтобы какая-либо из подписанных им бумаг была задержана комиссаром.

Заседания правления происходили по четвергам и начинались ровно в 12 часов. В. М. Шимкевич в этом отношении был очень пунктуален и не пропускал ни одной минуты, независимо от того, собрались ли все члены правления или нет. Однажды, я застал такую картину: за столом на своем обычном месте сидел ректор и громко что-то читал, хотя никого, кроме него, за столом не было. Я с удивлением спросил Шимкевича, что он читает и получил ответ, что он читает протокол предыдущего заседания правления. «Но ведь никого нет!» воскликнул я. «12 часов и я открыл заседание», ответил мне ректор. Это был единственный случай, когда почему-то запоздали на две-три минуты члены правления. Обыкновенно к 12 часам все члены правления были на своих местах. Заседания правления шли быстро. Доклады членов правления принимались почти без прений. Дело ограничивалось несколькими замечаниями, которые не подавляли свободы действий членов

правления. В. М. Шимкевич предоставлял действовать проректорам совершенно самостоятельно. Мне он сказал: «все хозяйственные и финансовые дела передаются вам на вашу полную ответственность. Во мне вы найдете защитника, если это потребуется, и советника, если вы сами того пожелаете, но сам я в вашу область вмешиваться не буду». И он никогда не вмешивался. От докладчиков он требовал изложения сути дела, не входя в подробности. Работать с В. М. Шимкевичем было одно удовольствие. Всегда остроумный и спокойный, он находил смешные стороны в обстоятельствах, при которых у других опускались руки. Сам того не замечая, Шимкевич вносил бодрость и желание действовать в моменты непреодолимых, казалось бы, препятствий, создаваемых нелепыми распоряжениями большевиков. В эти трудные времена приходилось принимать рискованные решения без ведома ректора и быть уверенным, что он окажет всемерную поддержку, если потребуется прибегнуть к его авторитету.

По избрании меня проректором университета мне было поручено представлять его интересы в Правлении объединений ученых учреждений и учебных заведений города Петрограда. В то время в состав Правления входили: председатель — президент Академии наук А. П. Карпинский, непременный секретарь Академии С. Ф. Ольденбург, и академик А. Е. Ферсман, представлявшие Академию наук; остальные ученые учреждения были представлены директором Пулковской обсерватории профессором А. А. Ивановым; объединение Технических школ было представлено ректором Технологического института проф. Д. С. Зерновым, ректором Института гражданских инженеров проф. Правздиком и ректором Лесного института проф. Оболенским; Военно-медицинскую академию представлял ее президент проф. В. Н. Тонков. Все члены Правления, кроме Ольденбурга и Ферсмана, аккуратно посещали заседания, которые происходили по вторникам в малом конференц-зале Академии наук.

Незадолго до моего вхождения в члены Правления, академик Ольденбург был арестован, а по выходе на свободу стал избегать общения со своими коллегами и не появлялся на собраниях общественно-политического характера. А академик Ферсман, пользовавшийся большим почетом у большевиков, не посещал заседания Правления объединений, где происходила строгая критика действий и декретов Наркомпроса, может

быть, из-за боязни испортить свою репутацию лояльного ученого.

Заседания Правления отличались строго деловым характером. Члены правления кратко сообщали о суждениях, возникавших в представляемых ими учреждениях по поводу декретов и распоряжений Наркомпроса и о проектах ответов на них. Правление выносило по ним свое мнение и рекомендовало его придерживаться. Никакой обязательной силы эти мнения не носили и каждое учебное заведение, или ученое учреждение могло действовать по своему усмотрению, но этого не случалось. Таким образом, без какого-либо принуждения создался единый фронт, сдерживавший наступление Наркомпроса. Все 44 учреждения, входившие в состав Объединения придерживались единой тактики по отношению к Комиссариату народного просвещения и давали аналогичные ответы на его запросы и одинаково реагировали на его декреты.

Так было и с вопросом о вступлении в «Профессиональный союз деятелей социалистической культуры», устав которого, да и само название, вызывали возражения и Правление объединений ученых учреждений и высших учебных заведений рекомендовало воздержаться от вступления в союз, но не прерывать переговоров об изменении названия союза, его состава и некоторых пунктов устава. Но Наркомпрос настаивал на немедленном вступлении и с целью уговорить нас поспешить с этим прислал из Москвы специального посла. В малом конференц-зале Академии наук собрались представители всех ученых учреждений и учебных заведений. Пришел даже и ректор университета проф. Шимкевич. Президент Академии наук открыл собрание и предложил заслушать посланца Наркомпроса товарища Кипарисова. На кафедру поднялся молодой человек, по виду типичный учитель начальной школы. Он, видимо, робел, выступая перед лицом академиков и профессоров. Он волнения у него покраснели уши и голос его прерывался. Он довольно нескладно описывал выгоды поступления в союз и признавал, что дела союза идут неважно, что он почти умирает. Кипарисов призывал ученых и профессоров вступить в союз и оживить его. Кипарисов своей скромностью и застенчивостью произвел хорошее впечатление на аудиторию и на его призыв ему отвечали в очень спокойных тонах. Кипарисову разъясняли, что от вхождения в союз мы воздерживаемся потому, что его устав и название являются для нас неприемлемыми и не отвечают нашим профессиональным интересам. Ему говорили, что мы не считаем себя деятелями «социалистической»

культуры, а являемся проводниками культуры в широком смысле этого понятия. Мы всегда были и остаемся противниками диктатуры и не можем согласиться с основным пунктом устава, признающим диктатуру пролетариата. Наконец, мы считаем нецелесообразным объединять в один союз группы лиц, профессиональные интересы которых совершенно различны. В частности, мы, при всем уважении к труду служителей, убирающих помещения ученых учреждений и высших школ, не находим общих с ними профессиональных интересов и не считаем их деятелями культуры и просвещения. Профессор В. М. Шимкевич начал свое краткое возражение, как и другие, вполне серьезно, но закончил он, по обыкновению, шуткой. Ссылаясь на призыв Кипарисова оживить союз Шимкевич воскликнул: «вы призываете оживить труп, а по моему пусть он мирно покоится в своему гробу».

На этом собрании не было принято никаких решений и Кипарисов признал основательность сделанных ему возражений, обещал довести до сведения Наркомпроса замечания членов собрания и просил не прерывать переговоров с целью достигнуть соглашения об условиях вступления в союз. После отъезда Кипарисова продолжались переговоры с Наркомпросом, который склонялся выкинуть из названия союза слово «социалистический» и обещал создать в недрах союза секцию для ученых и профессоров. Петроградцы находили эти уступки недостаточными и выражали желание добиваться дальнейших уступок со стороны Наркомпроса. Но против переговоров с Наркомпросом восстали представители Московской профессуры.

В Москве не создалось Объединения всех высших школ, как в Петрограде, но существовал старый союз Научных деятелей, возглавляемый профессором Московского высшего технического училища В. И. Ясинским. Этот союз не являлся представительным органом высших учебных заведений, как наше Петроградское объединение, но все же он был достаточно авторитетным выразителем мнения Московской профессуры, настроенной враждебно к Наркомпросу. Профессор Ясинский был ярким выразителем этого настроения и решительно возражал против каких-либо переговоров с Наркомпросом о вступлении в «Союз деятелей социалистической культуры». Его союзником, как по этому делу, так и вообще по отношению к Наркомпросу, являлся декан Физико-математического факультета Московского университета профессор В. Стратонов. Он обладал недюжинным ораторским талантом и на совместных заседаниях представителей московской и петроградской профессуры

произносил длинные речи. С москвичами было трудно столковаться, благодаря различному отношению к Наркомпросу, с которым у москвичей установились враждебные отношения, а у петроградцев холодно деловые с центральными его учреждениями в Москве и доброжелательные с Петроградским отделом Наркомпроса, который возглавлялся тогда рабочим от станка Сотниковым.

Первое знакомство с этим молодым коммунистом у нас произошло при непривычных обстоятельствах. Во время одного из заседаний Объединения технических школ вошел в зал скромно одетый небольшого роста человек и заявил: «я Сотников и мне предложено занять должность заведующего Петроградским отделом народного просвещения, но я это назначение еще не принял и пришел спросить вас, как вы к этому отнесетесь, если я его приму». Председатель собрания, профессор Д. С. Зернов, с удивлением сказал Сотникову, что на его вопрос нельзя ответить, так как никто из нас его не знает. «Вы и не можете знать», заявил Сотников, «я простой токарь, но высоко ценю науку и ученых. Если я приму назначение, то сделаю всё, что в моих силах, чтобы всё было хорошо». Профессор Зернов сказал, что намерение Сотникова переговорить с нами, прежде чем принимать назначение внушает к нему доверие. На это Сотников быстро ответил: «теперь я принял назначение». Появление Сотникова и его простые и искренние слова произвели на нас хорошее впечатление, которое сохранялось, вероятно, у каждого, кому приходилось иметь дело с этим действительно хорошим человеком. Он всегда шел навстречу нашим пожеланиям и делал всё, что было в его силах для облегчения тяжелого положения школ. Правда, силы его были ограничены распоряжениями центра. Мне приходилось часто обращаться к Сотникову по делам университета и я сохранил о нем добрую память.

Мы понимали чувство отталкивания, которое испытывали москвичи, постоянно имея дело с «товарищами» из Наркомпроса, где тон задавал ненавистник профессуры М. Н. Покровский. Но сношение с Наркомпросом было необходимо и высшие школы города Москвы не только получали от него необходимые средства на текущие потребности, но даже некоторые дополнительные ассигновки на предметы не первой необходимости, о чем в Петрограде мы и не могли мечтать. Так, например, Московский университет получил специальную ассигновку на реставрацию фасада старого здания университета в то же время, когда петроградские высшие школы страдали

от недостатка средств для удовлетворения нетерпящих отлагательства нужд. Расход на ремонт фасада был произведен по распоряжению Комиссара просвещения, к которому с личной просьбой обратился ректор университета профессор М. М. Новиков, воспользовавшись присутствием Луначарского на юбилее, организованном Московским университетом, в память Огарева и Герцена. Путь, избранный ректором для ходатайства, скорее указывал на доброжелательные, а не на враждебные отношения между Наркомпросом и официальными представителями университета. Такие-же отношения, надо полагать, существовали и у членов правлений других высших школ, которые поддерживали деловые сношения с Наркомпросом и получали от него средства на свои нужды. Представители объединения Петроградской профессуры не могли не видеть некоторой двойственности у москвичей по отношению к Наркомпроссу и профессор Зернов, однажды, в очень осторожных выражениях указал на эту двойственность сторонникам непримиримого отношения к Наркомпросу и, в частности, рекомендовал не прерывать с ним переговоров о вступлении в профессиональный союз. Но профессора Ясинский и Стратонов были непреклонны и продолжали придерживаться прежней своей тактики. Переговоры между петроградцами и москвичами не сдвигались с мертвой точки, а вскоре и совсем прекратились, так как коренным образом улучшилось продовольствие профессоров и ученых и замолкли голоса, призывавших вступать в союз. Туда мы так и не вступили до моей высылки из России.

Продовольственное положение научно-преподавательского персонала улучшилось потому, что по ходатайству Максима Горького, им всем был предоставлен, так называемый «ученый паек», в дополнение к голодному пайку, недостаточному даже для поддержания жизни. Старые люди, слабые силы которых не позволяли им добывать продовольствие на «черном рынке», просто умирали, как умер, например, профессор А. А. Иностранцев. Кроме пайка лица, обладающие достаточно высокой научно-педагогической квалификацией, получали еще «золотой дождь», т. е. по десяти рублей, считая на золото, а это составляло крупную и ежемесячно возрастающую сумму бумажных денег. Полуголодное существование наших семей кончилось и отпала необходимость вступать в профессиональный союз.

Вопрос об организации рабочих факультетов многократно обсуждался на заседаниях объединения и потребовал частых встреч с представителями московской профессуры. Большин-

ство членов нашего объединения не усматривало серьезных препятствий для организации рабочих факультетов, хотя и полагало, что они не могут заменить того объема знаний, которые давала средняя школа. Сотников обращался к отдельным членам объединения и просил их принять участие в составлении программ и планов преподавания на рабочих факультетах. С нашей стороны было решено оказать этому делу содействие и рабочие факультеты начали функционировать при высших школах. Встречались некоторые трудности при распределении помещений, но их удалось преодолеть и работа рабфаков не нарушала занятий на основных курсах.

В противоположность Петрограду, Москва отнеслась к идее учреждения рабочих факультетов резко отрицательно. Правда, на упомянутом выше юбилее, ректор университета М. М. Новиков приветствовал мысль об организации рабфаков, но не встретил поддержки со стороны значительной части московской профессуры. Противники организации рабфаков вполне резонно замечали, что в программу высших школ не входит преподавание предметов средней школы и что рабочие факультеты представят собой инородное тело в составе высшего учебного заведения. Против этого ничего, конечно, нельзя было возразить, но с этим можно было бы примириться, как с явлением временного характера. На эту точку зрения представители московской профессуры отказывались стать и утверждали, что внедрение рабфаков в стены высших школ дезорганизует управление ими, так как рабфаки, считая себя автономными, не подчинятся распоряжениям правлений о порядке пользования аудиториями, будут срывать лекции, установленные расписаниями. Некоторые трудности технического характера наблюдались и у нас в Петрограде, но только в короткий организационный период, а затем рабфаки заняли подобающее им скромное место и не мешали нормальным занятиям. Вопрос о рабфаках был в Петрограде снят с очереди, а в Москве он не потерял своей остроты до конца описываемого периода советской власти и по инициативе москвичей был внесен в Совет народных комиссаров.

В целом ряде случаев Наркомпрос принимал во внимание возражения, сделанные правлениями высших школ, и не настаивал на исполнении изданных им декретов. К таким, как мы думали, «мертворожденным» декретам будет отнесено и распоряжение о сокращении числа служителей в высших школах Петрограда. Но вышло иначе. Школы послали мотивированные ответы Наркомпросу о невозможности уменьшить штат служи-

телей и никого из них не увольняли. Тогда из Москвы прислана была особая комиссия под председательством Ларина с поручением Наркомпроса произвести самой сокращение числа служителей. Ларин разослал повестки с требованием явиться в комиссию со списками служителей каждой школы. На совещании Объединения технических школ было признано необходимым исполнить требование Ларина и в его комиссию стали приносить списки служителей высших учебных заведений. В результате визитов к Ларину каждое учебное заведение вынуждено было уволить некоторых из служителей. Получил повестку и университет, но по совету ректора, было решено игнорировать повестку Ларина и я к нему не пошел. В. М. Шимкевич предвидел, что, явившись к Ларину, неизбежно придется подчиниться его требованию и уволить часть служителей, а их количество доведено было до минимума, так как в годы войны университет не пополнял их убыль, вызванную призывом в действующую армию молодых, а также смертью старых. Была получена и вторая повестка, но также оставленная без последствий. Ларин уехал в Москву и вопрос о судьбе служителей на время отпал. Но о нем напомнил мне «красный» профессор В. В. Светловский, заявивший, что ему поручено правлением «Союза работников просвещения и социалистической культуры» проследить за исполнением декрета Наркомпроса о сокращении числа служащих университета. Я заявил Светловскому, что правление осведомлено об этом декрете, но едва ли нуждается в указаниях со стороны союза. Через несколько дней после разговора со Светловским ко мне обратился коммунист, возглавлявший служителей университета, с заявлением, что ходят слухи о предстоящих сокращениях и служителя очень ими обеспокоены. Я сказал ему, что правление не предполагает производить сокращений штата служителей, вопреки настоянию их Союза, который уполномочил профессора Светловского проследить за исполнением декрета о сокращениях. При этом я посоветовал попытаться уговорить профессора Светловского, стать на защиту служителей, а не идти против них. Мне неизвестно, какой разговор произошел со Светловским, но он ко мне больше не обращался. Однако, этим дело не кончилось. В Петроград прибыла заместительница Наркома просвещения товарищ Яковлева, пригласившая ректора явиться к ней для объяснений, почему не исполняется декрет Наркомпроса о сокращении штата служителей университета. В. М. Шимкевич признал, что дальнейшее уклонение от явки невозможно и я отправился объясняться с Яковлевой.

Меня ввели в большую комнату почти без мебели, с голыми стенами и окнами без занавесок. За небольшим столом, рядом со служащим Наркомпроса тов. Невским, сидела сама тов. Яковлева. Та самая Яковлева, о которой рассказывали, как об очень решительной и жестокой женщине. Она оказала большую услугу большевикам во время вооруженного сопротивления юнкеров в Москве. В критический момент, когда победа склонялась на сторону юнкеров, она бросилась вперед под их пули и воодушевила своим примером упавших духом красногвардейцев. О ней рассказывали также, что она собственноручно будто бы расстреливала великих князей. Непонятно, какое отношение эти «подвиги» имели к просвещению, но Яковлева оказалась на посту заместителя Наркома просвещения. Это была женщина могучего сложения, с высоким бюстом и бездонными жесткими глазами. Рядом с ней казался скромным мальчиком тов. Невский, а он вовсе не хотел представляться таковым: на одном из митингов он вздымал руки и патетически восклицал, что он гордится своими обагренными кровью руками при борьбе за советскую власть. Здесь я впервые встретился лицом к лицу с большевиками-убийцами. Меня встретили не ласково. Яковлева сразу же набросилась на меня с гневными словами, произнесенными громким голосом, который всё повышался, переходя в крик, и эхом отлетал от голых стен комнаты. Она кричала, что университет саботирует народную власть, что декреты издаются не для того, чтобы их не исполнять, что Наркомпрос найдет средства подчинить непокорных профессоров и пр. Я пытался возражать и невольно возвышал голос, стараясь быть услышанным. Но Яковлева меня не слушала и обоюдный крик продолжался. Затем, внезапно она остановилась и через мгновение ровным голосом спросила: «чего вы кричите?» Я ответил, что пытаюсь объяснить причину, почему декрет Наркомпроса не исполняется университетом, а она своим криком не дает мне сделать это. Яковлева замолчала, а я представил ей списки служителей университета и двух недавно слитых с ним учебных заведений — Бестужевских курсов и Психоневрологического института — и обратил внимание Яковлевой на то, что в данное время в трех объединенных школах состоит служителей меньше, чем их было в 1914 году в одном только университете. Яковлева удовлетворилась сделанным сравнением и никаких сокращений штата служителей не потребовала. Удачное окончание этого дела подняло мой авторитет среди служителей, что чувствовалось на каждом шагу по их почтительно-доверчивому отношению ко мне. Удачно окончившееся дело успо-

коило служителей и поставило в глупое положение «красного» профессора Светловского, который вместо «защиты рабочего класса» действовал против него в своих попытках содействовать увольнению отдельных его членов.

Облегчение участи пострадавших от преследований властей являлось предметом постоянных забот Правления объединения ученых учреждений и высших учебных заведений. Члены семьи арестованного, или близкие ему лица, обращались в Правление за советом и получали указания, куда надо обращаться и как действовать, чтобы наладить передачу продуктов питания и белья, а главное, добиться свидания. Секретари Правления собирали сведения об арестованных и старались выяснить, или догадаться о причинах ареста. Собравши возможно исчерпывающий материал об арестованных, Правление обращалось к Максиму Горькому с просьбой о заступничестве. Чаще всего с личным докладом направлялся к Горькому секретарь правления В. П. Полетика, хлопотам которого должны быть благодарны очень многие из арестованных, так как срок пребывания их в тюрьме был бы много продолжительнее, если бы не неустанные труды Полетики, который постоянно заботился о каждом заключенном. Максим Горький горячо принимал к сердцу доклады о заключенных и, пользуясь своей близостью к Ленину, делал всё от него зависящее, чтобы освободить заключенных, или облегчить их участь. В большинстве случаев арестованным предъявлялись самые вздорные обвинения и многие получали свободу без неприятных последствий, но для некоторых эти аресты оказались роковыми. Трагически окончился арест группы преподавателей университета во главе с ассистентом при кафедре метеорологии Таганцевым, сыном известного юриста Н. С. Таганцева. Таганцев-сын был очень скромный человек моих лет, прилежно работавший по физической географии в кабинете этажом ниже нашей агрономической лаборатории, на 16-й линии Васильевского острова. Несмотря на близкое соседство мы с ним редко встречались, занятые каждый своим делом. После революции Таганцев-сын возглавил основанный им, так называемый, «сапропиловый комитет», целью которого было изучение сапропиловых водорослей. Ископаемые остатки их были обнаружены на дне озера, недалеко от имения Таганцевых. К работам этого комитета, незадолго до ареста Таганцева и его группы, привлекли и меня, но я успел побывать лишь на одном заседании под председательством академика В. Н. Ипатьева, в его кабинете в Академии наук. На заседании шла речь о желательности произвести

полный химический анализ сапропиловых водорослей и мне было предложено заняться этим делом. К счастью для меня этим одним заседанием и ограничилось мое участие в комитете Таганцева. Я не встречался после этого заседания с академиком Ипатьевым, но полагаю, что и его участие в сапропиловом комитете было случайным и он, как и я, не был занесен в число его членов, иначе нас постигла бы участь Таганцева, расстрелянного вместе со всей его группой. Об их аресте мы узнали на очередном заседании Правления объединения, но к известиям такого рода мы привыкли и не придали этому особого значения. Было решено собрать, как обыкновенно, все нужные справки и обратиться к Горькому. Через несколько дней после этого профессор В. М. Шимкевич сообщил об аресте помощника ректора, профессора Н. И. Лазаревского. По словам его жены, к ним на квартиру явились представители ЧЕКА и в очень вежливых выражениях просили Лазаревского проехать с ними в следственную комиссию в качестве свидетеля по делу «Таганцевской группы». Жене Лазаревского сказали, чтобы она не беспокоилась, так как профессор скоро вернется. Но прошел весь день и вся ночь, а Лазаревский домой не приходил. Оказалось, что из свидетеля он превратился в обвиняемого. Дело Таганцева и его группы принимало серьезный оборот.

Помню ненастный день. Я рано пришел в университет и был погружен в текущую работу. Других членов правления еще не было. Вскоре появился проректор по студенческим делам профессор А. А. Боголепов. Он вошел, как всегда, очень медленно и со строгим лицом, затем неспеша снял пальто и шляпу-котелок. К нему стали поочереди подходить студенты и тихо излагать свои нужды. Всё происходило, как обыкновенно. Время приближалось к двенадцати часам. Начали подходить остальные члены правления, пришел и комиссар. Не было только ректора и его помощника профессора Лазаревского, который всё еще томился в тюрьме. Наконец, в дверях появился с опозданием на пять минут, никогда не опаздывающий ректор Шимкевич. Ни с кем не здороваясь, он быстрыми шагами прошел к председательскому месту и с мрачным лицом медленно опустился в кресло. Члены правления поспешили занять свои места. Не знаю, как другие, но необычное поведение Шимкевича я заметил сразу, чувствуя что-то недоброе. Дождавшись тишины, ректор открыл заседание и, помолчав немного, сказал: «Господа, я получил ужасное известие. Наш глубокоуважаемый коллега Николай Иванович Лазаревский расстрелян. Прошу почтить его память вставанием». Все мы

встали, потрясенные неожиданным известием. Встал и комиссар. Первым опустился в кресло В. М. Шимкевич и несколько минут сидел задумавшись, при гробовом молчании всех присутствовавших. Затем, уже не официальным тоном, он заговорил о том, что при массовых расстрелах жертвы устанавливаются вдоль длинного рва и видят на дне его трупы, ранее убитых людей. Чекисты проходят вдоль ряда и стреляют в затылок каждого. Один за другим люди падают в ров. Рассказывают, продолжал Шимкевич, что смерть не всегда наступает мгновенно и некоторые падают в могилу еще живыми и на них наваливаются трупы, убитых позднее. Хотелось бы знать, как погиб Николай Иванович. Наступила ли его смерть мгновенно, или он долго мучился на дне рва. Но кто может сказать об этом? Затем, смотря в упор на комиссара, Шимкевич сказал: «Может быть, нам комиссар расскажет, мучился-ли профессор Лазаревский, или его смерть наступила мгновенно?» Комиссар не ожидал такого вопроса и растерянно пролепетал: «я не знаю». «А, не знаете», промолвил Шимкевич и, вздохнув, предложил заслушать протокол предыдущего заседания.

Позднее стало известно, что комитет Таганцева не только занимался изучением сапропиловых водорослей, но и вопросами о восстановлении нормальных экономических условий, после падения власти большевиков. С этой целью Таганцев просил профессора Лазаревского прочесть ряд лекций о способах оздоровления финансовых условий, нарушенных большевиками.

В секциях Объединения высших учебных заведений и в его Правлении много времени было уделено на обсуждение проекта нового устава высших школ, предложенного Комиссариатом народного просвещения. Летом 1921 года этот проект обсуждался на конференции в Москве. В состав конференции входили представители высших школ всей России. В состав Петроградской делегации от университета был командирован профессор Л. П. Карсавин. В это время в Москве уже начался и был в полном разгаре поход Наркомпроса против университета, куда, не дожидаясь введения нового устава, был назначен правительством ректор на место профессора М. М. Новикова, избранного советом университета. Москвичи решили не участвовать на конференции, созванной Наркомпросом. На частном совещании москвичи изложили мотивы, побудившие их принять такое решение. В прениях по этому вопросу проф. Л. П. Карсавин очень неосторожно заявил, что судьба Москов-

ского университета составляет исключение и что из-за этого частного случая нет оснований не участвовать на конференции, где будет обсуждаться устав, касающийся высших школ всей России. Москвичи нашли речь проф. Карсавина обидной и покинули частное совещание. На конференции ряд профессоров выступал с критикой устава, но принятие его было предрешено. В частности, у нас в Петрограде было постановлено отказаться от дальнейшего сопротивления и принять устав, но при известных условиях. Новый устав сильно ограничивал автономию высших школ, особенно в порядке избрания членов правлений. По новому уставу требовалось утверждение Наркомпросом ректора и всех членов правления из кандидатов, выставленных на эти должности не только советами высших школ, но и местным отделом Наркомпроса и Профессиональным союзом, куда профессора отказывались вступать членами. Петроградское объединение учебных заведений соглашалось принять новый устав при условии, если ректор и большинство членов правления будут утверждены из кандидатов, выставленных Советом профессоров.

Вернувшись в Петроград проф. Л. П. Карсавин доложил о работе конференции, и вскользь упомянул, что не желая того обидел москвичей, и огорошил нас сообщением, что он в принципе принял предложение Луначарского занять должность ректора Петроградского университета. Выслушав новость, сообщенную Карсавиным, ректор добродушно заметил, что он в восторге от ловкости рук Карсавина, который вытащил из под него стул так, что он даже и не почувствовал. Карсавин заметил, что он, будучи избранным деканом, считал себя облеченным доверием профессорской коллегии и искренно думал, что своим согласием он устранял риск получить ректора, не пользовавшегося доверием Совета профессоров. Правление не стало на точку зрения Карсавина и он поспешил заявить, что не примет назначения.

После случая с Карсавиным вопрос о выборах правления по новому уставу временно затих и Петроградские высшие школы продолжали жить по старому уставу. Только в Петроградской сельско-хозяйственной академии Наркомпрос, не дожидаясь вотума Совета профессоров, назначил ректором проф. К. Н. Кржишковского, ранее занимавшего должность проректора.

Наркомпрос не торопился вводить в действие новый устав, быть может, потому, что из-за сокращения его сметы, был поставлен вопрос о закрытии большей части высших учеб-

ных заведений. В Москве в это время действовала комиссия, назначенная А. В. Луначарским, по вопросам о бедственном материальном положении высших школ. В комиссию входили представители Наркомпроса с Покровским во главе и профессора, делегированные высшими школами города Москвы. В комиссии выяснилось, что при сокращенной смете Наркомпроса, можно вполне обеспечить учебными пособиями и деньгами всего только четыре учебных заведения из всех старых и множества новых. Поднимался вопрос о введении отмененной большевиками платы за учение, о слиянии ряда школ и пр. Разговоров в комиссии было много, но дело не сдвигалось с мертвой точки. В мая 1922 года, при очередной поездке в Москву, мы встретились с В. Стратоновым, сообщившим нам, что представители Московской профессуры решили прекратить всякое участие в комиссии Луначарского, так как выяснилась полная его неспособность руководить делом народного образования. Стратонов сообщил также, что ему было поручено составить докладную записку, которую он уже представил А. И. Рыкову, замещавшему, тогда уже больного, Ленина. По секрету Стратонов довел до нашего сведения, что, по слухам, между Рыковым и Луначарским произошла ссора и что момент для борьбы против комиссара просвещения самый подходящий. Рыков сказал проф. Стратонову, что внесет записку в Совет народных комиссаров и пригласил на заседание представителей профессуры.

Вечером, накануне дня заседания Совнаркома, состоялось совещание представителей московской и петроградской профессуры в квартире професора П. А. Минакова. В. Стратонов прочел свою записку. Автор, не стесняясь в выражениях, резко нападал на Луначарского, обличая его в полной неспособности руководить Комиссариатом просвещения. Для нас, петроградцев, было ясно, что москвичи попали в ловушку, подставленную им Рыковым. Мы допускали, что Рыков воспользовался случаем, чтобы сделать неприятность Луначарскому, внеся в в Совнарком жалобу профессоров, но мы нисколько не сомневались, что в заседании Совнаркома никогда не осудят при нашем присутствии члена своего правительства. Мы были уверены, что нас пригласили, чтобы уличить нас в сопротивлении власти и пригрозить расправой за саботаж. Мы решительно отказались поддержать докладную записку Стратонова и всю ночь просидели за составлением нового доклада, в основу которого было положено описание тяжелого положения школ, лишенных учебных пособий, отопления, освещения и необхо-

димого ремонта. После долгих споров нам удалось убедить Стратонова, что наша обязанность не искать виновных в развале школ, а настаивать на принятии энергичных мер для восстановления их нормальной деятельности. Мы не смогли убедить Стратонова не вносить в наш доклад пункт о неуместности рабфаков в стенах высших школ, что было большой ошибкой, так как вопрос о рабфаках был использован в заседании Совнаркома для обвинения профессуры в контр-революционной деятельности.

На другой день делегация на присланных за ней автомобилях была доставлена к воротам Кремля со стороны Александровского сада. В состав делегации входили четверо от Москвы, в том числе проф. П. А. Минаков, избранный председателем делегации и проф. В. Стратонов, и двое от Петрограда проф. Д. С. Зернов и я. Нас, по-одному, впускали в калитку, за которой стояла будка, а далее вторые закрытые ворота по другую сторону крепостной стены. Под конвоем нас повели по пустынным площадям Кремля к зданию Судебных установлений. Затем, нас долго водили по безлюдным коридорам, заставляли подниматься и спускаться по лестницам и, наконец, привели в небольшую комнату, где попросили подождать. Вскоре появился М. Н. Покровский в сопровождении «красного» профессора А. К. Тимирязева, сына известного профессора Климента Аркадиевича Тимирязева. После продолжительного ожидания открылась дверь в зал заседаний Совнаркома, где за длинным столом сидели комиссары, очевидно, потеснившись, чтобы освободить для нас места. Мы расселись между комиссарами по длинной стороне стола. Мне досталось место рядом с Луначарским, напротив Дзержинского. Ни Ленина, ни Троцкого не было. Наше появление было встречено ироническими улыбками, которые не сходили с лиц комиссаров, пока мы усаживались. Председательствовавший Цурюпа обратился к нам с вопросом, не имеем ли мы что-либо добавить к докладу, переданному Рыкову представителями московской профессуры. Проф. Минаков попросил слова и передал председателю текст доклада, составленного нами. Просьба Минакова сделать устное сообщение удивила Цурюпу, но он дал ему слово. Проф. Минаков сделал прекрасный доклад, в котором, не упоминая о Луначарском, говорил только о нуждах высших школ. Он не преувеличивал и не сгущал красок, но факты говорили сами за себя. Речь его слушали с большим вниманием, в комнате царила полная тишина и никаких улыбок уже не было. На вопрос Цурюпы, не хотел бы кто-нибудь из членов правительства сде-

лать замечания по поводу прослушанной речи, все молчали. Тогда председатель предложил высказаться представителю «инакомыслящей» профессуры. Поднялся проф. Тимирязев и, воспользовавшись вскользь сказанным Минаковым о рабочих факультетах, произнес обличительную речь против «буржуазной» профессуры, враждебно настроенной по отношению к рабочей молодежи и всячески препятствующей работе рабфаков. С возражениями Тимирязеву выступил проф. Стратонов, укорявший своего противника в извращении фактов и доказывавший, что не профессора, а руководители рабфаков нарушают учебные занятия в высших школах. Они, пользуясь своим привилегированным положением, ведут себя вызывающе, не считаются с расписанием занятий по предметам высшей школы и требуют освобождения аудиторий в часы, когда им желательно. В качестве примера Стратонов привел случай, характеризующий поведение рабфаковцев: толпа молодежи ворвалась в аудиторию, где старик профессор читал лекцию, и потребовала, чтобы он немедленно «смылся» со всеми своими слушателями; профессор отказался подчиниться требованию и был выведен силой. Стратонов, попав на свою излюбленную тему, долго доказывал вред рабфаков, не сознавая, что его речь дает прекрасный материал для обвинения профессуры в саботаже и отвлекает внимание от сути доклада Минакова. Проф. Стратонову отвечал М. Покровский. Он заявил, что не знал о насилии, учиненным рабфаковцами над профессором, и назвал этот поступок «безобразным». Зато он может привести множество случаев саботажа со стороны профессоров, враждебно относящихся к рабфакам. Ему известны многочисленные случаи отказа профессоров, занимавших большие помещения, несколько потесниться, чтобы выделить уголок для рабфаковцев. Более того, профессора иногда отказываются предоставить для нужд рабфаковцев даже пустующие помещения. Покровский назвал имя одного профессора, который отказывался предоставить в пользование рабфака две совершенно пустые комнаты, говоря, что там его лаборатория. После многочисленных просьб, двери этих комнат были взломаны по распоряжению самого Покровского. В комнатах, кроме нескольких сломанных стульев, ничего не оказалось.

Профессор Зернов в своей краткой речи попытался направить прения на деловое обсуждение вопроса о тяжелом положении высшей школы. Но поднялся Ф. Дзержинский и произнес громовую речь. Худой, в гимнастерке, подпоясанный широким поясом и в высоких сапогах он резко отличался от своих коллег. С горящими безумием глазами он говорил громким голо-

сом, выкрикивая отдельные слова, потрясая кулаками и грозя нам пальцем. Он говорил, что ему, как наркому Внутренних дел, отлично известны все акты саботажа и контр-революционной деятельности профессуры, которая не желает принять и подчиниться рабоче-крестьянской власти. Он обвинял профессоров, что они в своих действиях руководствуются идущими из-заграницы указаниями, но профессора напрасно думают, что они могут помешать победному шествию народной власти. Она сумеет справиться с непокорными профессорами, мечтающими о восстановлении старого строя. «Все нити готовящегося заговора в моих руках», закончил Дзержинский, вытягивая руки, как кучер с вожжами от тройки лошадей.

Спокойно, но с обидой в голосе говорил Луначарский, оправдываясь против обвинений, о которых ни слова не говорилось на собрании, но которые были в розданном всем комиссарам докладе Стратонова.

Последним выступил заместитель Ленина А. И. Рыков. По своей фигуре и по манере держаться он напоминал типичного земского врача. Он говорил в свою спутанную бороду, слегка заикаясь, но спокойно и с легкой иронией. Он начал с того, что доклад профессора Минакова поверг его в полное изумление. Он думал, что профессора пришли жаловаться на Луначарского и его комиссариат, а не говорить о недостатке учебных пособий и плохом питании профессоров. «Но знают ли профессора, что страна переживает тяжелый продовольственный кризис и можно ли при таких условиях требовать, чтобы ни в чем не было недостатка. Известно ли профессорам, что в России голод, что на Волге распространено людоедство, что люди», подчеркнул он, «от голода поедают умерших, а вы не желаете ничем поступиться, чтобы помочь голодающим. Совнарком, — закончил Рыков, — должен бы заняться жалобой на Луначарского, а не вопросами экономики». Затем он предложил, заготовленную заранее резолюцию, в которой говорилось, что Совнарком признает жалобу на Луначарского неосновательной, а его действия правильными. Для улучшения же материального положения школ предлагается Наркомпросу разработать проект сокращения числа учебных заведений и театров. Профессорам же выразить осуждение за их неосновательные претензии. Резолюция была принята без возражений простым поднятием рук. Когда мы покидали зал заседания никаких улыбок уже не было. Несмотря на осуждающую нас резолюцию не чувствовалось, что нас осудили. Речь проф. Минакова несомненно произвела сильное впечатление на членов Совнаркома.

По возвращении в Петроград проф. Зернов сделал доклад о нашей поездке в Москву в правлении Объединения, а я в правлении университета. Оба правления одобрили занятую нами позицию по отношению к докладу Стратонова.

Результаты заседания Совнаркома не замедлили сказаться. Наркомпрос созвал в Москве совещание ректоров всех высших школ для обсуждения вопроса о распределении средств, ассигнованных на учебные заведения.

Еще до этого совещания правление Петроградского университета признало невозможным откладывать дальше выборы правления по новому уставу. В избрании кандидатов в правление принимал участие весь учебный персонал университета. Собрание было очень многолюдным и происходило в большой аудитории Физического института. Мы ожидали, что будет названо много кандидатов, между которыми пришлось бы делать выбор. Оказалось, что кандидатами были названы только члены старого правления. Этот список и был направлен в Москву, в Комиссариат просвещения. Оттуда вскоре пришел ответ, что для Наркомпроса кандидатура профессора В. М. Шимкевича на должность ректора является неприемлемой. Собрался вновь Совет университета, на котором избрали двух кандидатов на должность ректора: проф. В. М. Шимкевича и меня. Проф. А. А. Боголепов снял свою кандидатуру и вместо него был назван проф. Фаворский.

Во второй половине июня 1922 года был созван в Москве, упомянутый выше, съезд ректоров, но проф. Шимкевич отказался принять в нем участие и правление командировало меня представлять интересы Петроградского университета. Съезд избрал председателем представителя Петроградского университета и мне пришлось провести заседание по распределению средств между высшими школами всей России. Работа съезда прошла дружно и быстро. Решено было ассигновать средства пропорционально числу студентов в каждом учебном заведении. В результате были сильно урезаны ассигновки новым учебным заведениям, но их представители не протестовали. Старые же учебные заведения получили прибавки, кроме Московского университета, смета которого была несколько уменьшена.

На другой день после съезда мне в Комиссариате просвещения вручили очередную ассигновку на расходы Петроградского университета и сообщили, что наш список кандидатов в правление университета утвержден, кроме ректора, которым назначен «красный» профессор Н. С. Державин. Членами же

правления были утверждены: проф. М. Я. Пергамент, проф. Фаворский и я.

Утром следующего дня я вернулся в Петроград и прямо с вокзала проехал в университет сообщить В. М. Шимкевичу о составе нового правления. Вечером того же дня состоялось частное совещание «старейших» профессоров. Все выступавшие признавали, что правление, возглавляемое назначенным ректором, не будет пользоваться доверием Совета и, что в нем нельзя принимать участия. Мы предвидели возможность репрессий, но всем нам тогда казалось, что выбора не было. Только профессор Хвольсон убеждал не подавать в отставку и, пользуясь большинством в правлении, постараться охранить науку и просвещение от опасных экспериментов невежественных людей. «Мы должны во что бы то ни стало сохранить университет», закончил свою речь профессор Хвольсон. Никто из собравшихся, однако, его не поддержал и было решено всем проректорам подать в отставку. Заявления о нашем выходе из состава правления мы порознь вручали ректору Державину. Мне он советовал передумать и заявил, что, по его мнению, «престарелые профессора, как Фаворский, быть может, и избегнут кары, но вас она несомненно ожидает». Державин оказался хорошо осведомленным: через месяц я уже был в тюрьме.

Б. Н. Одинцов

КОМУЧ

Итак мы в Самаре. С вокзала наняли извозчиков и прямо поехали в «Ниццу», где для нас нашлись два номера. Первое впечатление — радостный подъем — все казалось таким обнадеживающим, устойчивым. Приведя себя в порядок, сразу же пошли в коммерческое собрание, где с великим удовольствием ели отличный обед. Вечер провели в бесконечных разговорах, а утром я пошел явиться на сборный пункт. Там я встретил капитана генштаба Селянинова, который ведал регистрацией всех воинских чинов прибывающих в Самару. Записав всё обо мне, он направил меня в артиллерийский дивизион полковника Копьева, который формировался в артиллерийских казармах. Невысокого роста, еще не старый, полк. Копьев и его адъютант очень радушно меня встретили. Мне Копьев предложил быть его помощником и завхозом, при чем мне тутже отвели комнату в казармах. Дивизион только начинал формироваться. Надо было получать со складов снаряжение, обмундирование и т. д.

Затем мы с женой отправились к редактору «Волжского дня» — Кудрявцеву. Кудрявцев сейчас же сообщил, что французский консул Комо спрашивал у него, нет ли на примете секретарши? И рекомендовал моей жене теперь же отправиться к Комо. Французский консул в Самаре оказался еще молодым человеком, лет, вероятно, 40 не больше, невысокого роста, сухощавый брюнет, одетый в военный френч, галифе и краги. После пятиминутного разговора — он сейчас же предложил жене место секретарши с жалованьем в 500 руб. в месяц. Затем мы опять пошли в редакцию «Волжского дня» и тут познакомились с его издателем С. А. Елачичем, сотрудниками — Клафтоном, пр. пов. Коробовым, Соловейчиком (последний писал маленькие фельетоны, довольно остроумные). Все они, начиная с Елачича, были правоверные «кадеты». Мне сразу же предложили описать всю пережитую нами эпопею. А мы узнали все подробности «переворота» и прихода к власти Комуч'а. Оказывается, несколько эсэров — членов Учредительного собрания, во главе с Вольским, Лебедевым и Веде-

няпиным организовали подпольную работу, какой-то полковник-артиллерист Галкин сформировал отряд добровольцев. Кадеты остались в стороне, отказавшись идти с с.-р. Когда выступили чехи и взяли Самару, Комуч сейчас же легализовался и сформировал «правительство» из б. членов Учредительного собрания. Председателем стал Вольский, по иностранным делам Веденяпин, военным министром, произведенный в генералы, Галкин, правителем дел — Ковнер. Кадеты стали тоже легальной партией, высказали полное сочувствие движению, приветствовали чехов, но в правительство не вошли.

Меня очень заинтересовал Галкин. Дело в том, что у меня в бригаде был товарищ Галкин, годом младше меня. Звали его Николай Александрович, а как звали этого я не знал, поэтому решил сейчас же пойти в штаб и узнать все про Галкина.

Штаб «армии», т. е. чешских войск и добровольцев, помещался в великолепном особняке самарских миллионеров Сурошниковых, почти на берегу Волги. В большом двусветном зале была приемная. Там принимал полковник Чечек — начальник чешских легионов. Среднего роста, коренастый, крепко сбитый чех, лет 45-48, производил впечатление энергичного, живого и решительного человека. Тут же находились штабные и адъютант Галкина — все чины армии Комуча имели на правом рукаве выше локтя треугольную суконную нашивку с разным количеством полосок, обозначавших чины. Я еще мало понимал в этих значках. Просил доложить о себе Галкину. Принят был немедленно. И... каково было мое удивление, когда я увидел нашего Н. А. Галкина. Мы, как говорится, бросились друг другу в объятья. Полились расспросы — мы не виделись со дня мобилизации — нас судьба бросала по разным фронтам. В Самару Галкин попал случайно, когда разваливался фронт, — попал и застрял. Тут сошелся с эсэрами — наиболее энергичными людьми; кадеты по его словам занимались больше — «идеологическими» рассуждениями и спорами. Я сейчас же предложил ему быть при нем «штаб-офицером для поручений». Он вызвал адъютанта: — «напишите приказ, что подполковник И. С. Ильин назначается штаб-офицером для поручений при мне и составьте об этом письмо полк. Копьеву».

— «Переезжай ближе к нам, тут недалеко много больших квартир, всё богатые самарские купцы, как никак обязаны нам спасеньем, сейчас тебе напишут ордер на комнату, возьми и иди сам выбери», — сказал Галкин, пожимая мне руку. Он

мало изменился за пять лет. Всё такой же моложавый, розовощекий, полный, коренастый...

«Итак, я в штабе Галкина! В самой гуще начавшегося антикоммунистического движения!» — размышлял я, идя с ордером в руках по Дворянской улице.

Был знойный день. Вдоль тротуара возвышались великолепные дома самарского купечества. Наугад зашел в ближайший. Прекрасная лестница. Большие, под дуб, двери. Звоню. Шаги, двери открывает хорошо одетая, пожилая женщина. Вопросительно смотрит. Я через ее плечо вижу большую, хорошо обставленную комнату с коврами, картинами... — «Сударыня, — говорю я, — не найдется у вас комнаты?» — «Мы комнат не сдаем», — отвечает она. «Я из штаба, у меня ордер!» — «Увольте! Большевики над нами достаточно издевались, хотим отдохнуть, а то что ж это такое, те реквизициями занимались, теперь пришли «спасители» и опять то же самое!» Разговаривать было не о чем, не силу же применять! Так я побывал домах в шести — везде одно и тоже. Вернулся к Галкину. Он выругался: — «Ведь эдакие сволочи! С ними тут большевики делали что хотели, они им заплатили 10 миллионов контрибуции с места в карьер и ни одного протеста, а теперь, веришь ли, ни одной комнаты не дали своей охотой, каждый раз посылаем из комендантского и занимаем явочным порядком. Хочешь я сейчас дам тебе двух чинов из комендатуры — сразу комнату получишь?» — Я отказался, сказал, что вероятно устроюсь и сам. Затем поехал к Копьеву. Он очень огорчился, что лишался и помощника и завхоза как раз, когда надо было сколачивать дивизию. В «Ницце» узнал утешительную новость — приехавшие с нами, наши родственники, Воейковы нашли старую знакомую Варвару Вадимовну Осоргину. У нее была просторная квартира на Саратовской улице, в собственном доме и флигель во дворе. Нашлась комната и мне. 19 июля в редакции «Волжского дня» узнал о зверском убийстве царской семьи — впечатление было тяжелое.

Теперь у меня были самые разнообразные и интересные обязанности. В большом кино на Дворянской улице, время от времени происходили митинги, на которых представители Комуч'а выступали с докладами о положении на фронте, о событиях в Москве и о международной ситуации. Я по распоряжению Галкина должен был присутствовать на всех таких собраниях. В это как раз время обозначился значительный успех Каппеля. Был взят Симбирск, Казань, Сызрань, Батраки. Из Казани на баржах прибыла академия генштаба во главе с ген.-

майором Андогским. Штаб наш сильно разбух. Было много интересных рассказов про Екатеринбург, куда большевики эвакуировали академию. В Сызрани каппелевцы застали ужасающую картину большевистских зверств. В подвале винного склада было обнаружено 17 трупов железнодорожников — они были там расстреляны за то, что «помогали белым» при эвакуации. Все стены и своды подвала были забрызганы сгустками крови и мозгов. Все это было сфотографировано на многочисленных снимках, присланных в штаб. Вот по этому поводу и был объявлен митинг. Доклад делал В. И. Лебедев. Народу было полно. Наверху в ложах разместились рабочие, внизу, в партере представители самарской интеллигенции. Был в полном составе и «Волжский день». Лебедев говорил страстно, убедительно, показывал снимки — оратор он был не плохой: картину большевистских зверств нарисовал ярко и убедительно... И вдруг сверху — выкрики: — «Все вранье! Белобандитские выдумки! Фотографии подделали! Дуракам говорите, знаем мы вас!» — начался шум, возмущенные возгласы. Галкин мне дал инструкцию в случае беспорядков вызвать караул из штаба — я уже подумывал идти к телефону, как в это время вышел на сцену какой-то прапорщик: — «Если все вранье, так вот вы и идите к большевикам, а мы к ним не пойдем и будем с ними воевать!» — больше он ничего не сказал. Сверху раздался свист. Лебедев объявил митинг оконченным.

В другой раз я присутствовал вечером на митинге, устроенном специально партией с.-р. Митинг посвящался вопросу внутренней политики, земельной реформе и борьбе с коммунистами. Митинг происходил в театре. Театр был полон. На ярко освещенной сцене выступал с.-р. Голиков. Говорил он прекрасно, увлекательно, интересно. Видно было, что человек этот привык выступать, но в его речи было поразительно то, что он все время поносил к.-д. партию и к.-д. вообще. Я слушал и ничего не мог понять. С одной стороны шла борьба с большевиками, какие же тут могли быть партийные счеты? С другой — с первых же дней обнаружилось не то, что какое-нибудь идеологическое расхождение, а попросту резкая враждебность. К.-д. не хотели сотрудничать с с.-рами, а последние при всяком удобном случае поносили к.-д. Я не раз говорил об этом Галкину, но он был человек чрезвычайно осторожный, никогда не высказывал своего мнения и обычно все мои «доклады» или молчаливо выслушивал, или коротко мычал... «Я не понимаю, ну как при этих условиях можно рассчитывать

на успех? — говорил я — подумай сам...» и т. д. Галкин вертел в руках карандаш, посматривал куда-то в сторону и произносил: «Гмм!.. да!.. да!»

«Волжский день» в свою очередь нет-нет да и выступал против с.-р., критикуя их земельную политику, резко осуждая за попустительство в отношении рабочих комитетов и пр. Был как-то комический инцидент. Все правительственные распоряжения и мероприятия печатались в газете «Волжское слово», которая таким образом, являлась до известной степени официозом партии с.-р. И вот прихожу в свою редакцию — хохот гомерический. Елачич держит в руках № «Волжского слова» и заливается: «Нет! Вы посмотрите! Приказ, а? Производится в подпоручики **легковой** артиллерии! **Легковой!** Как вам это нравится? До сих пор был легковые извозчики, а теперь у с.-р. появилась и легковая артиллерия!» На другой день в «Волжском дне» появился маленький фельетон Соловейчика, в котором он оповещал о появлении нового рода оружия: «легковой артиллерии!»

Я, разумеется, обо всем этом рассказал Галкину, недоумевая как такой приказ прошел без его ведома — «военного министра Комуч'а!» — «Да это всё правитель дел, Ковнер. Вольский меня, между прочим, спросил об этом прапорщике, согласен ли я на его производство, я ответил, что ничего не имею против, в полной уверенности, что мне принесут приказ на подпись, — говорил Галкин, — а оказывается, Ковнер вклеил это производство вместе с другими правительственными распоряжениями, сунул Вольскому на подпись, да и пустил в газету». — «А ты ему сказал об этом?» — горячился я. В ответ Галкин, по своему обыкновению, вертя карандаш в руке, промычал: — «Гмм... гмм...»

Назначили специальную комиссию под председательством Галкина для составления нового устава внутренней службы для народной армии Комуч'а. Устав должен был быть составлен в самом демократическом духе, т. е. без обязательного отдания чести на улице и вне службы, без каких-либо ограничений для солдат в отношении посещений различных увеселительных мест, театров и пр. Все старое, кадровое офицерство был недовольно и сравнивало будущий устав с приказом № 1. Разумеется все к.-д. тоже жестоко принялись критиковать устав. В редакции приставали ко мне: «Скажите Галкину! Что он смотрит? Неужели он так подпал под влияние с.-р., что опять хочет повторения того, что было при Керенском?» Но Галкину было говорить бесполезно — он стал «политиком». Мне он

предложил поехать в командировку в Сызрань, а затем в Симбирск, обследовать на месте положение и составить доклад. Я сказал, что хотел бы, если это окажется возможным, пробраться и в наше бывшее имение. Галкин охотно согласился. Когда я сказал об этом нашим — моментально посыпалась масса поручений. Дали список вещей, хранящихся у Лобанова и Савинова, наказали подробно узнать о Мертваго, Толстых, Ушаковых и т. д.

В первых числах августа я выехал, товарным поездом, в Сызрань. Со мной были три молодых парня, здоровых, розовощеких, — сыновья самарских купцов. Все трое были добровольцы — они с видимым удовольствием надели военную форму, взяли винтовки и старались быть как можно более исполнительными.

Стояла жаркая августовская погода. В Сызрани мы сошли. В Сызрани были каппелевцы. За несколько недель, что хозяйничал Муравьев, жители очень пострадали — ЧЕКА свирепствовала, расстреливала при малейшем подозрении в сношениях с белыми, на домовладельцев наложили огромный налог, грабили во всю... Переночевав, мы утром отправились на ст. Репьевку, а оттуда зашагали по столь знакомой широкой дороге в бывшее наше имение. Мне в комендатуре сказали, что вся Симбирская губерния очищена от красных и поэтому мы можем идти куда хотим. В Тамышове крестьяне словно переродились — снимали шапки, кланялись. Лобанов ухитрился сберечь наши вещи. Говорил, что пришлось «откупаться», что на него было много доносов: — «если бы их власть дольше продержалась, разорили бы вконец». К усадьбе подходили когда уже вечерело. Коровник, конюшни, вот и лазарет, где инвалиды, а там дальше немного на возвышении торчат обгорелые трубы нашего дома. Всюду тишина, какой-то мертвенный покой, нигде ни души. Стучу в двери. За дверью шаги и приглушенный голос: «Кто там?» — «Я, я!» — называю себя. Радостное восклицание, двери открываются, в сборе все наши «инвалиды». Идем в столовую, бросаются раздувать самовар, тащат хлеб. Оглядывают моих «добровольцев» — сыпятся расспросы. Я вижу, что их радость искренняя. Первым делом сообщают, что Лёвку расстреляли: «Как только пришли каппелевцы — начали разбираться кто грабил — ну тут, конечно, первым делом принялись за комитет. Лёвку сами крестьяне выдали — его отвели в лес, там и кончили. Кое-кого забрали. В Каранине там, говорят, нескольких прикончили за убийство Толстых, тоже и в Репьевке. Когда налетели чеки-

сты, мужики на возах подъехали и ждали когда их позовут. Нас не трогали — вы, говорят, инвалиды, сами пострадали, живите тут сколько хотите».

Что касается рассказов про убийство Мертваго и Толстых, то все вполне совпадало с тем, что мы уже знали. Проговорили до позднего вечера. Когда, наконец, решили укладываться спать, я сказал, что пойду один на место пожарища и попытаюсь отыскать наш ящик с серебром. До конца жизни не забуду этой последней ночи, которую я провел в нашем имении. Я взял большую садовую лопату и вышел. Высоко в небе стояла полная луна, заливая всё своим светом. Тишина была полная, воздух неподвижен — не слышно было даже лая. Поднялся по широкой дороге, по которой столько раз подъезжали мы на тройке, к нашему дому и увидел черное пятно пожарища. Высокие обгорелые трубы бросали резкие тени. Подошел ближе, низкий фундамент четкими линиями расчертил квадраты комнат. Смотрел и вспоминал где кто жил. Вот комната моей belle mère О. А. Воейковой — в пепле и золе торчат обгорелые спирали пружин от матраса. А это — столовая. Вот наши две комнаты — спальня и детская. Какие-то ржавые железки... Щемящая тоска охватывает душу, к горлу подступают спазмы. И эта ночь! Сюда я приезжал женихом и были такие же ночи. И так же светила луна. Было все это или не было? Я стою, смотрю и перед глазами — образы прошлого.

Двинулся дальше. Миновал пожарище, обгорелые кусты сирени, вышел к месту где был курятник. Раньше тут, особенно по утрам, стоял гомон птичьих голосов. Кудахтали наседки, надув багровые носы бубнили индюки... Теперь — мертвая тишина. Я отсчитал от места, где был забор, где остались черные дыры от столбов — 40 шагов, и принялся рыть. В первые минуты казалось, что я ошибаюсь, что место не то — но вдруг лопата ударилась о дерево — это был ящик. Я его осторожно вынул — посыпалась земля в черную, квадратную ямку. Луна всё также холодно заливала своим светом пожарище... Это была последняя ночь в нашем имении. Серебро потом в эмиграции нам очень помогало в жизни — не раз отправлялось оно в ломбард, пока наконец, в трудные минуты жизни не было распродано.

***

Не успели мы утром встать, как увидели перед окнами воз и толпу самойкинских мужиков. Я не мог понять в чем дело?

Вышел. «Ломают» шапки, низко кланяются, радостно улыбаются. Оказывается проведали про мой приезд и вот решили «вернуть» мне то, что награбили. Начался удивительный разговор: — «Здравствуйте Осип Сергеич! С приездом вас! А мы вот вещички кой-какие сберегли вам, уж не обессудьте... грабили тута, а мы, значит, для вас старались!» — впереди стоял прежний староста, в руках держал лист бумаги, на котором довольно корявым почерком были записаны столбцом вещи, которые привезли. Впоследствии, уже в эмиграции, этот список вместе с другими документами, записями, дневниками, приобрел у меня «Русский Заграничный Архив» в Праге.

Все вещи были никудышные — старые и хлам. Рваный чепан, мой старый офицерский сюртук, какие-то пиджаки и тряпки, кухонная утварь.

— Что же вы всякую дрянь навезли, а говорите, вещи для нас сберегли... — сказал я.

— Да мы што, Осип Сергеевич, да нешто не понимаешь, оно конешно вещи ни того, да ведь что спасли, то и привезли...

— А грабил-то кто? Не вы что-ли?

— Ну как можно! Боже упаси! Ты думаешь мало охального народу теперича развелось, сам понимаешь ливарюция, а мы што, мы ничаво. — Мужики стояли без шапок, кланялись, чесали затылки. Мне даже смешно стало. Улыбались и мои молодцы, смеялись и инвалиды. Я взял список, просмотрел, забрал свой сюртук, а остальное предложил инвалидам. Они отказались. — «Ну ладно! — сказал я — ничего больше не нужно, что хотите, то и делайте с этой дрянью». Тут мужики опять начали кланяться: «Премного благодарны, Осип Сергеич, нам оно, конешно, тоже ни к чему, бабы там у нас разберутся, а ты на нас не серчай, что поделать, мы и сами понимаем...» Повидимому они больше всего опасались расправы, особенно когда уэнали, что я приехал «с солдатами», но увидев, что я ничего не собираюсь предпринимать, успокоились и даже принялись добродушно давать советы: «Ты, Осип Сергеич, на Маковку сходил бы, там маковцы тоже кой-чем поживились»... слышались голоса из толпы. Потом прощались как ни в чем не бывало, сочувствовали, спрашивали как «Воековы», печалились о судьбе Толстых и Мертваго. — «А дом-то кто сжег?» — спросил я. — «Да известно кто, Осип Сергеич, пьяные комиссары наехали, они и пожгли. А мы чаво? мы тут ни при чем»... Смотрел я на них и думал: — «ведь вот, так повидимому с татарского ига и повелось: хитрили, обманывали, льстили

«поганым», а потом шею им свернули. Только что нас грабили, по миру пустили, а теперь ласково смотрят, советы подают...»

**
*

Когда я возвратился в Самару я прежде всего явился к Галкину и сделал ему подробный доклад о всем виденном. Главным образом он интересовался настроением крестьян. Галкин сообщил мне, что прибыл посланец от ген. Деникина, который пробрался с юга, степями — на-днях отправляется обратно и надо составить ответное письмо ген. Деникину, описав здешнее положение, настроение населения, рабочих, крестьян, дух армии и т. д. Мне он предложил составить общий план и главным образом изложить мои впечатления от встречи с крестьянами. В «Волжском дне» меня ждал сюрприз — прибыл В. Н. Пепеляев, член Думы от к. д., бывший комиссар временного правительства в Кронштадте. Вечером все собрались на квартире пр. пов. А. Н. Коробова, куда был приглашен он и я с женой. Брат Пепеляева — офицер одного из сибирских стрелковых полков, оказывается, поднял восстание в Сибири и успешно действует где-то в районе Иркутска...

Народу у Коробова было много — помимо всей редакции «Волжского дня» были приглашены представители казачества — уральского полковник Хорошхин и оренбургского — Поротиков. Пепеляев поведал о том, как ему удалось перейти фронт и, затем, рассказал что делается в Москве. По его словам конец большевиков был близок — на юге дела шли все успешнее, население, особенно крестьянство, было жестоко недовольно, вспыхивали восстания... После доклада был великолепный ужин — с икрой, балыком, настойками и пр., за которым обсуждали все слышанное. В те, теперь далекие времена, мы все были полны веры в скорый конец большевизма. Все мы были молоды, полны сил и энергии. Теперь большинства из этих людей нет в живых. А. В. Коробов в 1946 г., когда красная армия заняла Манчжурию, был арестован и умер в концлагере. Клафтона и Самойлова расстреляли. Елачич умер в эмиграции в Пекине. Хорошхин кончил свои дни в Париже, а Поротиков в США.

Жену просили подробнейшим образом осведомить обо всем консула Комо. Между прочим, странным образом, в Самаре оказалось два французских консула — один Комо, который считался настоящим, потому что был он еще до войны консулом, а второй объявился с начала революции — Жано —

он был преподавателем французского языка в Московском лицее и лишь только в Москве раздались первые выстрелы — переехал в Самару. Был он без правой ноги — до колена у него был протез. На что он жил — никто не знал, но у него был адъютант шт. капитан Стембо. Стембо был весьма подозрительного происхождения, откуда он и кто он, никто не знал, но человек был он очень обязательный, услужливый. Комо не признавал Жано, а Жано — не признавал Комо, но все политические организации, так же как Комуч — больше считали консулом Комо, чем Жано.

В трех статьях я описал в «Волжском дне» свое путешествие в Сызрань, в имение, а затем выехал на пароходе в Симбирск. Пароход был небольшой и ехали на нем всего лишь несколько человек. Волга была пустынна и молчалива. Невольно вспоминались поездки до войны, когда мы с отцом путешествовали от Саратова до Симбирска на великолепных пароходах «Кавказ и Меркурий» или «Самолет». Беспрестанно — встречные пароходы, караваны плотов с дымящими буксирами. Особенно величественна картина была ночью, когда зажигались баканы и низкими, басистыми гудками обменивались пароходы и эхо, ударяясь в берега, далеко, далеко разносилось по темной глади воды.

В Симбирске у нас были старые знакомые — Протасовы — у них я и остановился. Протасовы встретили меня, как с того света. Расспросам и рассказам не было конца. Рассказали, как в Симбирске свирепствовала ЧЕКА. Подвалы винного склада были завалены изуродованными трупами, которые оставались до прихода каппелевцев. Были сделаны многочисленные снимки. Рассказывали про восстание Муравьева — он чуть-чуть не захватил власть. Дело происходило вечером на партийном собрании — Муравьев произнес громовую речь, призывал идти против коммунистов — но тут же был застрелен чекистом Варейкисом... Муравьев, бывший офицер, капитан, чистейшей воды авантюрист и, как говорили, несомненный параноик — он со своей бандой грабил, убивал...

Я пробыл у Протасовых два дня. На другой день по приезде, пошел к «нашему» удельному дому. Внизу на Дворянской улице стоял большой двухэтажный особняк с двумя квартирами в 1 и 2-ом этажах. Я подошел к подъезду. Двери были настежь открыты. Вошел в переднюю. Сколько раз я входил сюда, приезжая в отпуск!

В этом доме, наверху, жил управляющий удельным округом Г. Г. Снежков, а внизу, помощник управляющего — мой

отец. Дом производил впечатление необитаемого, но из дальних комнат доносились голоса. Протасов говорил, что в доме заседает какая-то комиссия по учету имущества, брошенного большевиками. Через переднюю я прошел в нашу бывшую столовую, на веранду и в цветник перед домом. Двери в соседние комнаты были закрыты, голоса звучали глухо, я ступал осторожно и тихо — словно грабитель, забравшийся в дом! Вот и большая клумба — летом она бывала в цветах — теперь поросла травой и бурьяном. Обошел клумбу и пошел по дорожке, усыпанной гравием, в сад. Калитка, ограда из густых кустов сирени. Дорожка идет прямо к беседке, которая стоит вдалеке на возвышении. Направо тенисная площадка — теперь она заросла травой. Здесь мы играли в тенис — отец со мной, Снежков со старшей сестрой, которая только что кончила Московский Екатерининский институт...

Весь вечер этого дня я провел у Протасовых за бесконечными разговорами все о том же: о революции, зверствах, о том, что будет... Утром Протасов проводил меня на пароход. Он с женой тоже собирался покинуть Симбирск.

Был чудный августовский день, когда я стоял на палубе небольшого пароходика и смотрел на убегающий в даль высокий берег с белыми домиками, садами и «Венцом»... Душу наполняли сладостно-грустные воспоминания: сколько раз приезжал я сюда в отпуск? Гулял вот на этом «Венце», любовался на широкую гладь Волги внизу. Смотрел на медленно двигающийся, гулко шлепающий колесами, пароходик... Шаркая по гравию, гуляла взад и вперед по аллее толпа симбирцев... Как все это было давно. Теперь тишина. Кругом всё словно вымерло...

В Самаре нас ждали новости. Оказывается, намечалось государственное совещание в Челябинске, предполагалось достигнуть соглашения с сибирским правительством. В Самару пробралась бабушка Брешко-Брешковская. Я подробно описал Галкину свое путешествие и положение в Симбирске. В квартире Елачича было устроено, нечто вроде, пресконференции с Брешко-Брешковской. Присутствовала в полном составе редакция «Волжского дня» — В. Н. Пепеляев, консул Комо, жена в качестве его секретаря и переводчицы, казаки Хорошхин, Дутов и Поротиков.

«Бабушка» была невысокого роста, полная, очень благообразная старушка в просторном, широком платье, больше всего похожем просто на балахон. Ее усадили в кресло и принялись расспрашивать. Она очень приветливо, с какой-то ми-

лой готовностью старого доброго человека на всё отвечала. Общий вывод был все тот же: — большевики долго не продержатся, у них полный хаос, крестьянство трезвеет, союзники решили помогать белому движению самым серьезным образом и т. д., и т. д.

Потом был чай и разговоры о предстоящем совещании в Челябинске, на которое непременно собиралась и «бабушка».

Направляясь в штаб, я увидел идущего мне навстречу высокого военного, в потрепанной солдатской шинели без погон. Остановил меня — спросил, где штаб. Оказывается, это ген. Розанов только что перешедший линию фронта. Пока мы шли в штаб он рассказывал свою эпопею. Он командовал в Пензе полком. Во время войны был нач. штаба дивизии, а потом корпуса. Когда началась революция пробрался в Пензу, там скрывался, а затем, узнав о восстании чехов, стал пробираться к белым...

***

Челябинское совещание было решено окончательно. Вопрос шел о соглашении с Омским правительством, которое образовалось из местных сибиряков и было весьма правого направления, в некотором отношении даже враждебное Комуч'у. Во главе стал к. д. Вологодский, министром финансов П. А. Михайлов, политические убеждения которого были в зависимости от обстановки. Военным министром был ген. Гришин-Алмазов, во главе сибирского казачества ген. Иванов-Ринов, командующий войсками Омского военного округа — ген. Матковский. Омск находился в глубоком тылу от Урала, до Иркутска Сибирь была очищена от большевиков — далее на Д. Восток шла власть атаманов Семенова и Калмыкова, а в Семиречье — Анненкова. Однако все это было на большом расстоянии и во всяком случае гражданской войной не угрожало, положение же Комуч'а становилось все более неустойчивым — чехи продвигались к Владивостоку и постепенно части свои снимали с фронта, армия Каппеля была невелика, войска Комуч'а находились в периоде формирования. Неспокойно было и внутри — только что с трудом, с помощью сербов было подавлено восстание рабочих в Казани, при котором был убит серб майор Благович. К. д. находили, что политика Комуч'а «соглашательская», недостаточно твердая, с слишком большим уклоном влево.

Но как бы то ни было, объединение необходимо было, настаивали на этом чехи. Нам был предоставлен великолепный

поезд из вагонов 1 и 2 классов. В пульмановском вагоне с салоном ехали — Вольский, Веденяпин, правитель дел Ковнер, Лебедев, Голиков, Авксентьев, Зензинов, Брешко-Брешковская, Пепеляев, ген. Галкин, консул Комо. Я состоял при Галкине, как штаб офицер для поручений и ехал в купэ с Комо в качестве переводчика. Розанова Галкин прикомандировал к штабу и оставил в Самаре, чем Розанов был очень недоволен. В следующем вагоне ехали представители казачества — Дутов, Хорошхин, Поротиков и др. Затем шел великолепный вагон-ресторан.

Ехали с большой помпой — на станциях нас встречали отличными обедами — вываливались всей компанией и рассаживались за прекрасно сервированными длинными столами. Рассаживались резко обособленно — все с.-р., во главе с Вольским, на одном конце стола, казачество и Пепеляев на другом, мы с Комо — посередине. Разговоры вертелись все вокруг предстоящего совещания, кто приедет от Сибирского правительства, пришлет ли своих делегатов киргизская республика Алаш-Орда? и т. д. Все казаки были с погонами. Галкин и я с нарукавными знаками. Вечером собирались за ужином в салон-вагоне, здесь происходили споры между казаками, Пепеляевым — с одной стороны и с.-р. — с другой. «Бабушка» выступала в качестве примиряющего начала. За Бугульмой стояли всю ночь. Как оказалось недалеко были красные партизаны Чапаева, опасались как бы не был перерезан путь. Урал «переваливали» днем. Я в первый раз видел Урал и был поражен величественной картиной. Поезд наш словно змея извивался между гор и было интересно смотреть, как где-то внизу, в ущелье, виднелась ленточка железнодорожного пути, по которому мы только что проехали. Комо, Пепеляев и я стояли на площадке. Были чудесные осенние дни, Комо все время приходил в какой-то исступленный восторг, непрестанно восклицая: «Оо... о! Mais c'est merveilleux»...

В Челябинск приехали днем. Стояла теплая, тихая, ясная погода. Извозчиков на всех не хватило — мы с Комо пошли пешком. Теперь мой Комо восклицал по-иному: «Mais c'est un village, un grand village!..» И действительно, Челябинск напоминал большую деревню: длинная, широченная улица, покрытая густым слоем пыли, по бокам небольшие деревянные домики...

Заседания должны были происходить в городской управе. Первое заседание было назначено в 6 часов пополудни. Когда мы приехали, на путях уже стоял поезд Сибирского

правительства. Прибыли Гришин-Алмазов, Михайлов, Иванов-Ринов.

Первое заседание было посвящено выборам президиума и программе предстоящей работы. Еще не приехали киргизы — Алаш-Орды. Председателем был избран Авксентьев. В президиум вошли — Брешко-Брешковская, Зензинов, Аргунов, Вольский, от сибиряков — Михайлов. Комната, в которой происходили заседания была сравнительно небольшая. Против стола президиума стояли парты, за которыми разместились — Галкин, Пепеляев, казаки. Мы с Комо сидели вдвоем на поперечной скамейке у стены. Сразу же начало обнаруживаться резкое расхождение сибиряков с представителями партии с.-р. и Комуч'а. Первое заседание продолжалось не больше 3/4 часа. «Бабушка» по просьбе Авксентьева высказала несколько добрых пожеланий относительно предстоящих заседаний, затем Авксентьев поблагодарил присутствовавших за приезд, указав на исключительную важность предстоящего совещания и объявил собрание закрытым.

В нашем купэ я застал записку от Гришина-Алмазова. Он просил меня зайти к нему после заседания. У Гришина-Алмазова был вагон 1-го класса с просторным салоном, где он меня и принял. Приглашал он меня, как товарища по оружию. С места принялся неистово бранить с.-р-ов, Комуч, уговаривал теперь же перейти на службу в Омск, обещал хорошее положение и закончил приглашением на завтра вечером в 9 ч. на банкет, который он устраивал оренбургцам и уральцам. При прощании заметил, что пора надеть погоны, удивлялся, как мог Галкин согласиться на «какие-то дурацкие нарукавные знаки, которых в русской армии никогда не носили». Комо меня с нетерпением ждал в нашем купэ и мы пошли в городской сад. На большой длинной веранде, за столиками «объединились» казаки. В биллиардной, сняв пиджаки, с засученными рукавами играл Авксентьев и Зензинов.

В саду местных жителей никого не было. Мой Комо все ждал увидеть хорошеньких сибирячек, но они отсутствовали. Был мягкий осенний вечер. В бездонной темноте неба сияли звезды. В открытые окна доносились голоса и удары биллиардных шаров.

***

На следующий день, утром прибыли представители Алаш-Орды. Заседание началось в 9 1/2 ч. Слово было предоставлено киргизам. Их представитель, по-русски, но с акцентом,

долго говорил о желаниии киргизов иметь полную автономию, свою республику, о возвращении им всех земель, которые у них были захвачены русскими и т. д.

За киргизом выступил Зензинов — он говорил о будущем устройстве государства на федеративных началах, о земельной реформе. Неожиданно, в середине его речи Пепеляев с места, с усмешкой крикнул: — «Вспомнили Циммервальд?» — Авксентьев резко застучал карандашем: — «Господа! — с трагической ноткой в голосе сказал он — здесь мы собрались не для того, чтобы сводить политические счеты, я прошу вас найти общий язык, мы обязаны перед страной сплотиться для борьбы с нашим общим врагом!»

Казаки на своих местах явно были недовольны, громко перешептывались, слышались отдельные возгласы: — «Это не для нас!» Комо все время наклонялся ко мне и требовал, чтобы я переводил.

Кроме этих речей, так-таки никаких реальных результатов достигнуто не было. Вечером был поставлен вопрос на обсуждение: где и когда надлежало устроить государственное совещание для избрания всероссийской власти. Начались бесконечные речи и предложения. В девятом часу собрание было закрыто, следующее назначалось на завтра.

Когда мы пришли с Комо в вагон, застали карточку Гришина-Алмазова с официальным приглашением на банкет к 9 1/2 ч. вечера, в ресторане городского сада.

**
*

Большая столовая была полна военными, когда мы вошли с Комо. Главная масса были казаки. Штатских оказалось только два — Комо и английский консул в Челябинске, которого Гришин тоже пригласил. Шумно расселись за стол, поставленный буквой Т. По середине поперечного стола сел Гришин-Алмазов, по бокам от него — Иванов-Ринов, Дутов, затем Комо и англичанин...

Еда была обильная, вина́ и водки — масса, пили здо́рово. К часу веселье было общее, начались речи, потом хоровое пение. Могучие казачьи голоса выводили: — «Ревела буря, гром гремел...» Пошли танцы — казаки лихо отплясывали русскую в присядку. Как водится все перемешалось — сидели вобнимку, пили на «брудершафт». Я взял карточку меню и пустил ее среди присутствующих, начав с Гришина-Алмазова — все на ней расписались. Эта карточка, с подписями всех участ-

ников, была в 1933 году передана мною в «Русский Заграничный Архив» в Праге.

И вот среди этого буйного веселья разразился настоящий скандал. Вероятно было часов 5 утра — пели, плясали в присядку, шумели, обнимались. Вдруг поднимается Гришин-Алмазов со стаканом в руке и говорит речь. Он начал с того, что рассказал о борьбе Сибири с большевиками, говорил о необходимости твердой власти, резко нападал на социалистов всех оттенков и, наконец, перешел на Союзников, сказав, что англичане, предав царскую фамилию и сейчас, тоже, как всегда, играют двойную игру. Знал ли это Гришин-Алмазов, или нет, но на несчастье английский консул понимал по-русски. Он страшно возмутился, встал, сказал, что подобные речи не допустимы, что он этого так не оставит и быстро, не простившись, вышел. Гришин-Алмазов под влиянием выпитого, пришел в очень возбужденное состояние и кричал вслед англичанину нелестные эпитеты. Гришина окружили и стали успокаивать. Уже было совсем светло, когда мы разошлись. Как потом выяснилось, дело этим не кончилось. Англичанин телеграфно сообщил об инциденте в Омск — генеральному консулу, а тот немедленно заявил официальный протест председателю омского правительства.

Заседания продолжались еще два дня. Говорили речи. Общий тон был — призывали к единению. После долгих «дебатов» решили собраться в сентябре-октябре на государственное совещание. Большой спор и разногласие вызвал выбор места. Сибиряки настаивали на Омске и ничего больше не хотели слушать. Вольский, Веденяпин, Авксентьев, Зензинов — на Самаре, Пепеляев был с омчанами. Временами казалось, что так ничего и не выйдет и никакого «государственного» совещания не состоится. Кое-как председателю Авксентьеву и «бабушке» удалось примирить стороны на Уфе — городе расположенном посередине и вполне нейтральном.

В Самару ехали с неменьшей помпой. На станциях встречали великолепными обедами. Говорились речи. О ходе всех заседаний я аккуратно посылал телеграммы в «Волжский День».

***

В Самару все больше пробиралось людей «с той стороны». Появился ген. Болдырев, к.-д. Виноградов. Очень распух наш штаб, ген. Андогский, нач. академии, и все слушатели были прикомандированы к нашему штабу, однако никто ни-

какого назначения не получал. Академия, со всеми слушателями, служащим персоналом, лошадьми, канцелярией, архивом — помещалась на большой барже, которая стояла у берега, против дома Сурошникова. Старые офицеры генштаба — Болдырев, Розанов, Андогский, его помощник полк. Слижиков неистово критиковали Галкина, с.-ровского «выскочку», порядки в штабе, новый устав и т. д.

***

На уфимское совещание отправлялся весь Комуч в полном составе, Галкин и его штаб, Андогский, Болдырев, Розанов, казаки во главе с Дутовым, Хорошхиным, Поротиковым, оба француза Комо и Жано, к.-д. Коробов, Виноградов, Пепеляев и многие другие. Подан был большой состав из вагонов 1 и 2 класса. В вагоне «правительства» разместился Галкин, правитель дел Ковнер. Рядом с купэ Галкина поместился я и ко мне вселили Пепеляева. Ехали с большой помпой — на больших станциях встречали представители городов и населения хлебом-солью. Дни глубокой осени стояли ясные и тихие. Урал оделся в золото. В вагон-ресторане обедали и ужинали в две смены. Несмотря на мое желание быть с Пепеляевым, мне приходилось быть при Галкине, который обедал с членами Комуч'а и с.-р-ами. Что касается группы к.-д., они объединились с казаками и ходили в вагон-ресторан во вторую очередь. Вольский держал себя важно и начальственно и это военных раздражало. Вечерами, когда мы с Пепеляевым оставались вдвоем в нашем купэ, он жестоко критиковал Комуч и с.-р-ов. Еще более непримиримо относились к бывшим членам Учредительного собрания казаки и все без исключения военные. Галкина считали выскочкой и с.-ровским прислужником. Такова была обстановка. Мне казалось порой, что эти люди никогда не способны будут сговориться!

Уфа нас встретила дождливой, осенней погодой. Вышли с хлебом-солью представители города и торгово-промышленного класса.

Заняты были обе довольно большие гостиницы в городе. В одной, на главной улице, разместились чехи во главе с Чечеком, Комуч, представители казачества — Дутов со штабом, Хорошхин, представители омского правительства, на этот раз без Гришина-Алмазова. Говорили, что инцидент с англичанином в Челябинске был причиной, что его не послали. В другой — канцелярия Комуч'а, офицеры штаба, адъютанты. Я полу-

чил очень большой номер с двумя кроватями и предложил Розанову расположиться у меня. В первый день происходило знакомство и «кулуарные» совещания. Завтракать, обедать и ужинать сходились в большом ресторанном зале, рядом происходили заседания. К.-д. объединились с казачеством и вырабатывали общий план действий. На следующий день начались заседания. Мне ни на одном присутствовать не пришлось т. к. Галкин приказал мне все время сидеть на прямом проводе для связи с штабом Каппеля. Я разговаривал, а адъютант относил ленту Галкину. Всё, однако, что происходило на заседаниях я подробно знал, т. к. по вечерам обычно разговаривал с участниками. Коренастый, плотный, розовощекий Дутов, высокий, худощавый Хорошхин обычно занимали отдельный столик и к ним подсаживался Коробов, к.-д. Виноградов, я и начинались долгие разговоры о ходе совещания. Я всегда был желанным собеседником, п. ч. я всегда приносил самые «свежие» новости с фронта.

Погода все время стояла дождливая и сырая, тем не менее, жили шумно и весело. Появилась даже в городском саду оперетта. Я до конца дней буду помнить, как мы с подполковником генштаба Сыромятниковым смотрели «Пупсика». Сыромятников был одним из лекторов академии и приехал с Андогским. Он был неглупый, остроумный и веселый парень. Мы с ним очень сошлись и наши добрые отношения не прерывались до самого «исхода» из Омска, где он был на должности генерал-квартирмейстера ставки, а я штаб-офицера для поручений при Начштабверхе.

Убогий деревянный театр, скорее напоминающий сарай, производил еще более жалкое впечатление от сырой, пасмурной погоды. Высокий, подтянутый, со стеком в руке, типичный «момент», Сыромятников каким-то образом уже был хорошо знаком с некоторыми артистками. Мы с ним заходили в уборные к дрожащим от холода опереточным дивам, с которыми он шутил, смеялся, вспоминал какие-то похождения...

Между тем, заседания происходили по два раза в день, иной раз затягиваясь до позднего вечера, а соглашения никакого не достигалось. Теперь, когда прошло с тех пор более 40 лет и всё видишь издали, в далекой перспективе, становится ясно, что уже тогда на этом «государственном» совещании белое движение было обречено! Представители нескольких партий никак не могли сговориться, найти общий язык — даже отношение к общему врагу было различное. Дело дошло до того, что чехи стали требовать скорейшего соглаше-

ния, грозя покинуть заседания. И я теперь убежден, что если бы не чехи, а главное не внезапное ухудшение дел на фронте, — никогда никакого соглашения достигнуто бы не было!

А положение на фронте действительно становилось все хуже — мы с адъютантом сидели на прямом проводе и следили за медленно ползущей белой лентой. Оставлена Казань, взят красными Симбирск, отходят к Самаре. Чехи очень волновались, они все настойчивее требовали скорейшего решения, а решения все никакого не было. С.-р. считали, что именно они должны быть у власти, как законно-избранные народом в Учредительное собрание, к.-д. настаивали на паритете. Жестокий спор возник вокруг кандидатов. Послали в Архангельск телеграмму к.-д. Астрову, прося его согласиться вступить в правительство. Принципиально согласились на директорию: — председатель и по двое от с.-р. и к.-д. Наконец дело дошло до того, что взяли слово чехи, решительно заявив, что если соглашение не будет достигнуто, они уезжают и их части уходят с фронта. С.-рам волей-неволей пришлось пойти на уступки, т. к. против них были не только к.-д. но и вполне реальная сила казачества и Омск. Была избрана директерия из 5 человек. У гостиницы выстроились части гарнизона, офицерство, — к которым вышел ген. Болдырев и произнес речь. Вот первые слова этой речи: «Волею народа я избран верховным главнокомандующим!»... Галкин говорил по прямому проводу с женой — он рекомендовал ей выезжать в Уфу, мне же приказал отправиться в Самару для выяснения положения на месте. В мое распоряжение был предоставлен вагон 1 класса. Комо, узнав, что я еду, выразил желание тоже ехать в Самару. Я дал телеграмму жене, чтобы она с детьми отправлялась прямо в Омск. В день, назначенный для отъезда, произошло столкновение с Вольским. В 7 часов должен быть подан вагон, но его не было и в 8 часов. Я проходил через зал, разыскивая Галкина, когда увидел Вольского. Вид у него был озабоченный. Заметив меня он резко, повышая голос, сказал: «А вы получили приказ выехать в Самару?» — «Получил» — «Почему же вы еще здесь?» — «Я, г-н Вольский, никак не могу отвечать за порядки на дороге — вагона нет, о чем я как раз и хотел доложить ген. Галкину». — Повидимому его очень задело «господин» — он, мне кажется, ожидал «превосходительства», потому что резко заявил, что я не исполняю приказа, не знаком с уставом и не умею себя вести! Не знаю, что было дальше, но в 10 ч. вагон подали, я зашел за Комо и мы сели в наш вагон, а ночью нас прицепили к какому-то поезду.

Были уже сумерки, когда наш поезд подошел к перрону самарского вокзала. Шла полная эвакуация, на путях стояла масса товарных составов, распоряжались чехи, комендант станции чех, не отходил от телефона. Толпились люди с чемоданами, узлами, тюками. Чех-офицер кричал на какого-то железнодорожника: — «Это саботаж! Мы расстреливать будем... поезд должен быть подан!»

Мы вышли с Комо на улицу и тут простились. Больше я его никогда не видел и об его дальнейшей участи ничего не знаю. Мне, конечно, надавали массу поручений, которых я, ни одного, так исполнить и не мог. Надо было думать не о поручениях, а о скорейшем отъезде обратно. Моя семья, оказывается, уже три дня тому назад уехала в Омск. Добрый знакомый англичанин, лейтенант флота Кунингам, который в Самаре представлял английскую миссию ген. Нокса, которая была в Омске, сейчас же устроил для жены новенький вагон III класса. Кунингам и мне сказал, что надо уезжать, и предложил свой вагон. Распоряжался майор Ребенда — мне делать было нечего. Вся редакция «Волжского дня» была уже на вокзале. На вокзал ночью отправился и я.

Самара была пустынна и тиха — чувствовалось, что город обречен. На вокзале творилось столпотворение — чехи нервничали, кричали — железнодорожники явно саботировали, выходили из строя паровозы, чехи ставили часовых. Мне едва удалось добиться, чтобы мой вагон прицепили к составу, где был вагон казаков — два купэ в этом вагоне заняли Елачич, Самойлов, Григорьев, Клафтон — последний лежал больной — как потом выяснилось в дороге, у него оказался тиф.

Тронулись мы только под утро. Это было в первых числах октября 1918 года. Красные были уже совсем близко от Самары. Вдоль всего ж.-д. пути, по шоссе, двигались толпы людей с узелками, чемоданами, мешками. Некоторые везли свой скарб на тележках — жители Самары уходили от большевиков.

В Бугульме, на вокзале, ко мне подошел высокий, худощавый человек — оказавшийся В. Н. Львовым. Он стал расспрашивать о положеньи на фронте и можно ли оставаться или надо уходить? Я сказал, что уезжать надо немедленно и предложил место в моем вагоне, который был уже почти полон — я забрал всех офицеров штаба, которые еще оставались в Самаре.

Весь день до глубокой ночи, проговорили мы с Львовым про корниловское дело. Странное впечатление он произвел на меня: какого-то потерянного, слегка нелепого русского ин-

теллигента. И этот человек был посредником между ген. Корниловым и Керенским!

В Уфе собирались в Омск. Начштаверхом был назначен ген. Розанов, генквармом полк. Сыромятников, начальником военных сообщений полк. Касаткин — это были офицеры, прибывшие с ген. Андогским. Галкин пока был не у дел, по его словам, ему обещали корпус. С докладом я явился к Розанову. Поздравил его с назначением. Он предложил мне быть при нем штаб-офицером для поручений. На следующий день представители Уфимской общественности и торгово-промышленные круги, во главе с князем Кропоткиным, устроили пышный банкет. От Ставки Розанов командировал Сыромятникова и меня. На следующий день мы выезжали в Омск. Начинался новый период белого движения. Комуч закончил свое существование.

И. С. Ильин

САВИНКОВ И КЕРЕНСКИЙ

ПОПЫТКА ЗАГОВОРА В ГАТЧИНЕ*

1

Последний акт трагедии демократической Российской Республики начался 25-го октября 1917 года и продолжался 6 дней. Он был в то же время вступлением к всемирной драме, которая продолжается и сейчас, и неизвестно чем кончится.

Когда сорок лет спустя вспоминаешь в подробностях тогдашнюю российскую действительность, которая теперь кажется невероятной, не приходится удивляться полному непониманию этих событий людьми позднейших поколений, которые не могут поверить, что всё было так, как было.

В воспоминании о прошлом поражает сейчас не столько бесталанность многих вождей, сколько невероятная беспомощность и какая-то неправдоподобная неспособность всего их ближайшего окружения. Теперь всё это кажется чем-то невозможным, выдуманным, преувеличенным.

Вокруг премьер-министра и Верховного Главнокомандующего было множество советников и суровых блюстителей революционно-демократической добродетели, советников, боявшихся даже тени сильной государственной власти. В результате премьеру не на кого было опереться, так как все и всё нахо-

---

* Автор этой рукописи, К. Вендзягольский, в 1917 году был военным комиссаром 8-й армии; перед тем он был председателем военно-революционного комитета этой же армии. В сопроводительном письме автор пишет: «22-го октября 1917 г. я был вызван военным министром генералом Верховским в Петроград по делам службы, но большевистский переворот остановил меня в Гатчине, так что последние три дня агонии Временного Правительства мне пришлось наблюдать в непосредственнной близости, как состоящему в распоряжении Верховного Главнокомандующего». Присланная нам рукопись написана по-польски; мы помещаем ее в переводе Зои Юрьевой. РЕД.

дилось в каком-то неустойчивом, текучем состоянии, всё было ненадежным, никто не чувствовал своих обязанностей. Это были конвульсии громадного государства, которое утратило свое внутреннее равновесие. Не все это понимали, а многие и не хотели понимать.

По-моему, можно оправдать растерянность Керенского, которая не с Керенского началась, а значительно раньше и глубже жила в обществе, которое ему пришлось представлять перед историей. Этот, без сомнения, талантливый и по существу чистый человек, идеалист, наследник демократических традиций, импровизатор по исторической необходимости, вознесенный в первые недели революции до положения идола демократии и революции, не выдержал тогда, когда наступили трагические дни, требовавшие спокойного, холодного расчета, крепких нервов, твердой веры в самого себя и смелых действий, независимых от его окружения, от его «друзей». В эти дни Керенский уже устал, у него уже не было ни крепких нервов, ни холодной расчетливости, ни уверенности в себе. И прежде, чем быть побежденным своими противниками, он был уже побежден своими товарищами, социалистами и демократами. Чутким жизненным инстинктом он понимал, что действенную государственную политику нельзя впрячь в одну повозку с идеалистической и доктринерской партийной политикой, всегда зависящей от масс, от толпы, он уже видел, что в такой упряжке далеко не увезешь воз Республики. Но на какое-нибудь решение времени уже нехватало. Мы знаем, что он осознал необходимость освободиться из-под опеки «восставших рабов», когда в каждом трудовике, социалисте, комиссаре и советчике у него были тысячи нянек, которые плотным кольцом своих идеологий, догматизмов и опасений закрывали ему горизонт, стремясь только к тому, чтобы он смотрел на действительность их глазами. Керенский не успел.

В международной публицистике известна формула, скорее анекдотическая, чем разумная: керенщина... символизирующая слабость власти, возникшей из реализации демократической доктрины. По отношению к Керенскому это выражение, может быть, и было бы справедливо, если бы мы не видели в дни революции, что еще до Керенского вся страна была охвачена этой самой керенщиной.

Я лично не принадлежал к числу поклонников этого партийного премьера и моего высшего начальника в качестве Главнокомандующего. Но как тогда, так и теперь, я отношусь к Керенскому с глубоким уважением, зная верность его идеа-

лам демократии. Он стремился в новую пореволюционную эпоху к счастью своих сограждан и к демократии. И был свободен от каких бы то ни было диктаторских поползновений.

2

Я был во дворце вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Гатчине, когда ко мне в комнату вошел Савинков, поздоровался самым сердечным образом и после обычных в таких случаях фраз, спросил меня прямо: почему и зачем я приехал? Он подтвердил получение моего уведомления относительно экспедиции нашего XVII корпуса, подробно расспрашивал меня о генерале Шиллинге (командире корпуса), о начальниках дивизий и командирах полков, о начальниках штабов разных подразделений и об общем настроении офицеров и солдат.

Наш разговор продолжался уже довольно долго, когда, после минутного раздумья и как бы колебания, Савинков, понизив голос почти до шепота, стал говорить о том, что дела идут очень плохо, почти безнадежно, что никто не хочет защищать ни Временное Правительство, ни тем более Керенского, что казаки генерала Краснова уже перешептываются между собой, а младший офицерский состав вызывающе смотрит на своих командиров, которые приказывают им сражаться «за Керенского». Сам генерал Краснов полон сомнений и нерешительности из-за полного распада и разложения. Савинков сообщил мне доверительно, что у него созрело решение удалить Керенского и окружающих его комиссаров, толкающих его капитулировать и «мирно» договориться с большевиками. Савинков говорил, что он считает, что надо немедленно организовать военное правительство, возглавляемое кем-нибудь из старых социалистов, пользующихся всебщим уважением и чуждых каких бы то ни было соглашательских тенденций по отношению к противнику. Савинков назвал имена Плеханова, Чайковского, а в случае их отказа, если бы к этому принудили обстоятельства, он, Савинков, сам готов и чувствует себя в силах взять руководство новым правительством, под лозунгом спасения Родины.

Савинков спросил меня, разделяю ли я его мнение об общем положении и согласен ли я с тем, что тратизм действительности не допускает никаких других решений, как только вмешательство грубой силы, чтобы пресечь хаос в самом его корне, что даст еще некоторую надежду на перемену к лучшему.

Я не был застигнут врасплох тем, что сказал Савинков, уже с июля я знал, что, после его ухода из военного министерства, Савинков работал в единственном разумном направлении спасения не демократии и революции, а Родины, чтоб избавить ее от анархии вооруженных банд и взбунтовавшихся отрядов армии и флота, находившихся под влиянием большевистской партии, вернее, ее Центрального комитета — генерального штаба бунта против законной власти страны.

Мы решили переговорить с генералом Красновым, так как без его помощи проектированная изоляция премьера и его комиссаров была бы трудна, а, может быть, и совсем неосуществима из-за недостатка силы. У нас не было под рукой даже силы для того, чтобы выставить наружный караул, как не было и достаточных транспортных средств, чтобы вывезти арестованных из Гатчины. Мы не хотели выдать бывшего премьера и главнокомандующего большевикам...

На следующий день мы поехали к ген. Краснову в Царское Село.

Когда мы информировали Краснова об общем положении, о совершенной безнадежности защиты Временного Правительства (уже фактически не существовавшего) и Керенского, которого никто не хочет защищать, Краснов молчал, низко опустив голову. Мы рассказали ему о возможности соединения с XVII корпусом генерала Шиллинга и повторного марша на Петербург с силой в сто тысяч человек, но Краснов только еще ниже опустил свою седую голову и казался нам каким-то отсутствующим. После минутного молчания он ответил... отказом.

— Господа, — говорил старый казак, бесстрастно, спокойно, но с явной горечью и с какой-то покорностью судьбе, — казаки устали, если не от борьбы, то от боевой готовности; еще больше, чем физической усталостью они деморализованы сознанием полного одиночества, они потеряли дух и веру в правоту дела, в здравый смысл своей жертвенности и в право убивать своих братьев. С возрастающим ужасом они видят, так же, как и я сам и все офицеры, что нас никто не поддерживает, никто не спешит нам на помощь; они уже не хотят стрелять по своим, и очень близки к тому, чтобы высказаться за нейтралитет, как и все остальные вокруг.

— Я не могу, — продолжал генерал, погруженный в свои мрачные мысли, — в довершение ко всем несчастьям, которые стали их уделом, втягивать их еще в непонятную им слож-

ность идеи государственного переворота, являющейся в их глазах скорее преступной, чем мудрой и целесообразной, так как она смогла бы совершенно затуманить их головы и окончательно ожесточить сердца. Я не могу обратиться к ним с чем-то подобным и отдать такой приказ, потому что может случиться, что они его не выполнят. К тому же, — добавил Краснов, этим как бы исчерпывая тему, — позиции под Царским Селом всё равно нельзя удержать, мы окружены со всех сторон враждебной нейтральностью, которая ранит смертельнее и болезненнее, чем пули противника, которая деморализует глубже, чем самая изобретательная пропаганда. Ночью я отступаю, отхожу к Гатчине.

Нам нечего было возразить. Мы уехали.

В сумерки я распорядился приготовить автомобиль в дорогу.

Я поднялся наверх к Савинкову, чтобы ознакомить его с моими взглядами на создавшееся положение и сообщить ему о моем решении немедленно уехать.

В то время как мы разговаривали с Савинковым в его комнате, из окон флигеля дворца за приготовлениями моего шофера Малеева к отъезду наблюдал великиий князь Михаил Романов, брат императора, которому низложенный Николай II передал трон, но от которого великий князь отказался. Когда я сошел вниз и направился к автомобилю, чтобы сделать последние распоряжения, ко мне подошел секретарь великого князя Джонсон, англичанин, и доверительно, от имени великого князя, спросил, не мог ли бы я взять великого князя с собой, т. к. дальнейшее его пребывание в Гатчине, по его мнению, становится с часу на час всё более и бессмысленным и опасным.

Я оказался в трудном положении.

Внутренне, без всяких колебаний, я был готов взять с собой великого князя... но Савинков... долголетний руководитель террористической боевой организации, в свое время готовивший покушение на жизнь царя, убивавший его министров... Я не мог решить этого сам и должен был переговорить с Савинковым. Я опять поднялся наверх к Борису Викторовичу и не без чувства захватывающей сенсации спросил его, согласится ли он сидеть в автомобиле рядом с Михаилом Романовым, формально последним царем России.

С минуту казалось, что Савинков был ошеломлен, как ударом по голове, но потом, без колебания, с очаровательной

улыбкой, — как бы перед лицом какой-то новой игры судьбы, как бы под бессознательным давлением своих верноподданных дворянских предков, кратко ответил: — «Но ведь мы же не можем оставить его здесь...»

Я был действительно тронут. Привыкнув к кошмару всего окружающего, ко всей этой кровавой обыденщине, я увидел в улыбке Савинкова проблеск какого-то нового света сердца в этом мрачном человеке.

Но что-то, однако, помешало решению великого князя уехать. Уже во время выгрузки багажа, чтобы освободить место для новых пассажиров, ко мне подошел немножко смущенный Джонсон и вежливо объяснил, что в виду новых обстоятельств великий князь переменил решение.

К. Вендзягольский

ЭВОЛЮЦИЯ ПАВЛОВА

В этом году исполнилось двадцать пять лет со дня смерти одного из наиболее крупных мировых физиологов, академика Ивана Петровича Павлова. Учение Павлова остается великим вкладом в сокровищницу мировой науки, что, кстати, недавно подчеркнуло американо-русское «Павловское совещание» в Нью Йорке. И в то же время к этому учению проявляется большой интерес со стороны владычествующей большевистской верхушки.

Как известно, при жизни Павлов был предметом особых забот даже самого Ленина. Этому есть много свидетельств.

«Принимая во внимание совершенно исключительные научные заслуги академика Ивана Петровича Павлова, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира...» — так начинался исторический документ — постановление Совнаркома о материальной помощи академику Павлову, опубликованное сорок лет тому назад. И дальше: «...Отпечатать роскошным изданием заготовленный академиком Павловым научный труд, сводящий результаты его научных работ за последние двадцать лет... Предоставить академику Павлову и его жене специальный паек». Подпись: «Председатель Совнаркома Ульянов (Ленин)».

На невнимание советской власти Иван Петрович пожаловаться не мог. Труды его издавались и переиздавались. За последние годы о Павлове вышли десятки книг и статей. Книг, достаточно интересно написанных, порой содержательных и по-своему ценных. Но общей чертой всех этих писаний является схематичность в изображении исследовательских устремлений Павлова и выхолощенность его свободных и широких исканий. Павлов показывается, как ученый, страстно верящий в созданную им рефлексологию; и показан он ученым с сравнительно односторонними научными интересами. Между тем, Иван Петрович был естествоиспытателем с исключительно широким кругозором. Здесь будет уместно вспомнить об одном интересном эпизоде, сыгравшем большую роль в формировании и развитии взглядов Ивана Петровича. Это связано, как ни

странно на первый взгляд, с классической генетикой. Историческая правда заставляет отметить, что Иван Петрович как раз в этой области знания проделал путь сложной ломки, своеобразный путь «от Савла к Павлу».

Эту интереснейшую историю рассказывал академик Кольцов, бывший одним из близких знакомых великого физиолога. До двадцать третьего года, как все физиологи, Иван Петрович о генетике никогда не думал и, попросту говоря, ее не знал. Был он дарвинистом, но до Менделя еще не дошел. И вот в двадцать третьем году в одной из советских газет было напечатано ошеломляющее сообщение о поразительном открытии, сделанном в лаборатории академика Ивана Петровича Павлова его ассистентом.

В то время как вся лаборатория работала с собаками, этот сотрудник, работая с мышами, вырабатывал у них условный рефлекс, приучая их прибегать по звонку на кормежку. Сначала у ассистента с мышами ничего не выходило, тогда как у собак условные рефлексы вырабатывались быстро. Экспериментатор провел безрезультатно сотни опытов и только после трехсотого опыта получился первый успех: некоторые мыши стали приходить на звонок. За это время подросло второе поколение мышей. И тот же самый врач поставил опыты со вторым поколением, и оказалось, что через 100 опытов эти мыши стали приходить на звонок. Третье поколение тоже не подвело — мыши приходили на звонок уже на 50 опыте. Четвертое поколение выучилось приходить на звонок в 10 уроков, а пятое — в 5 уроков. Ясно, способность вырабатывать условный рефлекс передается по наследству. То есть, если бы эти опыты подтвердились, то у нас был бы прекрасный пример наследственной передачи результатов упражнения органов — в данном случае нервной системы. Научное событие — первостепенной важности. И результат получен в лаборатории ученого с мировой известностью. Это означало бы полное фиаско для положений классической генетики.

В это время профессор Кольцов — генетик по специальности — приехал в тогдашний Петроград, посетил И. П. Павлова и рассказал ему, что слыхал об этих опытах его ученика и хотел бы предупредить, что при толковании их надо быть очень осторожным. Но Иван Петрович, весь в улыбке, радушно его встречает и, не особенно прислушиваясь к собеседнику, говорит о новых своих достижениях. Профессор Кольцов снова начинает разговор об опытах с мышами и повторяет, что

нужно быть осторожным. Иван Петрович не слушает. И как бы мельком, шутливо говорит: «Мне известно, что вы спорите с ламаркистами, вот и встревожились. Но я-то сам (Павлов, Н. Н.) в этом не очень разбираюсь». Словом, сколько раз профессор Кольцов не начинал разговор о мышах, Иван Петрович оставлял это без внимания.

У профессора Кольцова создалось убеждение, что Иван Петрович понимает, в чем дело, и не придает большого значения экспериментам своего ученика.

Но, к несчастью, вскоре после этих поражающих воображение опытов академик Павлов уехал за границу, в Англию, на конгресс физиологов. На этом конгрессе доклад Ивана Петровича о способности мышей передавать условный рефлекс по наследству был, так сказать, гвоздем программы докладов. Физиологи, хорошо знакомые с математикой и химией, но далекие от генетики и биологии, восторженно встретили сообщение старейшины физиологов. Из Англии академик Павлов поехал в Америку, где в журнале «Сайенс» появилась его статья. В ней Иван Петрович рассказывал об опытах своего ученика и высказывал мнение, что, когда он вернется в Ленинград, шестое поколение мышей уже унаследует безусловный рефлекс, то есть, родятся мыши, которые сразу после рождения будут отзываться на звонок.

Эта-то статья Ивана Петровича и вызвала ответную статью профессора Кольцова, которую он, несмотря на глубочайшее уважение к Павлову, и опубликовал, указав, что передача по наследству условных рефлексов **вещь теоретически невозможная.** Кольцов дал очень простое объяснение опытам. Экспериментатор, работавший с мышами, никогда с ними раньше не работал. И долгое время не он учил мышей, а учился сам, как ставить опыты с мышами.

Конечно, Иван Петрович прочитал статью Кольцова и со свойственной ему прямотой признал ошибочность своих утверждений, уже облетевших к тому времени весь научный мир. Больше того, Павлов сообщил об этом в печати (в «Правде») так: — «Первоначальные опыты с наследственной передачей условных рефлексов у белых мышей при более строгом контроле до сих пор не подтверждаются, так что я не должен причисляться к авторам, стоящим за эту передачу. Академик Иван Павлов». 1 марта 1927 года.

Так из исследователя, опровергавшего классическую генетику, Павлов стал ее горячим приверженцем. Мало кому из-

вестно, что второй генетический центр — целый генетический институт по изучению генетики темперамента — в нашей стране был создан, как это ни странно, именно в вотчине Ивана Петровича — в знаменитых Колтушах под Ленинградом. Хотя этот факт и скрывается от научной общественности, но факты вещь упрямая. Пользуясь своим непререкаемым авторитетом, Иван Петрович настоял перед советским правительством на отпуске ему специальной ассигновки в три миллиона рублей для создания генетической станции в Колтушах. Любопытно, что специальный институт генетики Академии наук, которым заведывал академик Вавилов, не получал таких ассигновок. Но вот Иван Петрович — дело другое.

Я вспоминаю свое посещение Колтушей. В этой вотчине, самодержавно управлявшейся Иваном Петровичем, многих прежде всего поражала огромная надпись над центральным зданием, сделанная крупными стальными буквами: «Экспериментальная генетика высшей нервной деятельности». Но еще поразительней в Колтушах была одна скульптура — такая необычная для Советского Союза: это впервые поставленный Павловым на территории генетической станции в Колтушах памятник основоположнику генетики — гениальному монаху Грегору Менделю. Интересно знать, где теперь валяются обломки этой статуи? И уже этот генетический фон — стальная надпись и скульптура Менделя — без слов говорил о кричащих расхождениях научной позиции Павлова и позиции партийной клики. И всё же, по наказу этой клики, Павлова провозглашают материалистом. Даже в сборнике Академии наук, характеризующем чисто научную деятельность И. П. Павлова, Леонов пишет: «Последовательный материализм является теоретической, философской основой учения Павлова... В свою очередь павловское учение... представляет собой краеугольный камень естественно-научного фундамента диалектического материализма».

Для обоснования и создания такого образа Павлова пользовались испытанным, отнюдь не новым, методом. Тенденциозной, однобокой интерпретацией взглядов ученого. Созданием так называемой «генеральной» линии Павловского учения, линии, которую подогнали к желаниям и потребностям партийной политики некоторые из прежних учеников Павлова, принужденные играть роль верных слуг режима, такие, как покойный академик Быков или профессор Иванов-Смоленский.

Как создавалась эта «генеральная» линия учения Павлова

— того Павлова, который, будучи вызван в начале революции в Чека на допрос, попросил у следователя официальный бланк и написал на нем: «Эксперимент, произведенный над Россией, с точки зрения современной науки обречен на неудачу. Академик Иван Павлов». Конечно, эта так называемая «генеральная линия» создавалась на основе самого бесцеремонного замалчивания эволюции взглядов Павлова, замалчивания проверенных долголетним опытом, поздних взглядов Ивана Петровича, к которым он пришел. И, наоборот, ученые, верные партийной указке, за «генеральную линию» павловского учения до сих пор выдают результаты одного — раннего — этапа развития взглядов Павлова. **Этапа пройденного, побежденного и признанного самим Павловым ошибочным. Об этих двух Павловых — раннем и позднем — надо помнить!**

В свое время Павлов увлекся экспериментами над условными рефлексами. И как это и бывает со многими учеными, окрыленный огромным успехом, Павлов был склонен переоценивать значение своего открытия. Создав целую новую область физиологии животных и человека — рефлексологию, Павлов думал, что может свести всю сложную внутреннюю, психическую жизнь человека к игре врожденных и условных рефлексов. В это время ему казалось, — и это-то диалектикам-материалистам было очень на руку, — что человек — это своего рода машина, что человеческая психика это только рефлексы, что рефлексология может научить управлять человеком точно машиной. Это партийной верхушке было необычайно интересно и важно. Кто ж не знает, как некоторые положения Павловского учения использовались в застенках ГПУ-НКВД в самых низменных целях! Захваченный своей рефлексологией, Павлов, к примеру, в двадцать шестом году **даже не признавал психологии как науки, а ставил на ее место рефлексологию.**

Но в конце тридцатых годов, в процессе своих исследований Павлов должен был столкнуться с результатами наблюдений психиатрических клиник. И тут перед ним открылся новый мир — глубокий и неисследованный мир, глубоко поразивший Павлова. Он понял, что **духовную жизнь человека никак нельзя свести к прирожденным или условным рефлексам.** Как честный и настоящий ученый, Павлов не мог не признать ошибочность своих прежних взглядов. В нем произошел резкий перелом. И об этом переломе в своих взглядах, в целом своем научном мировоззрении Павлов четко говорил на своих знамени-

тых чтениях, которые обычно происходили по средам. Вот, к примеру, в среду 30 мая 1934 года Павлов говорил:

«В прежнее время я особенно резко выражался о психологии и избегал всяких психологических выражений и так далее. Это было в значительной степени увлечением... Нужно сказать следующее: глупо было бы отрицать субъективный мир. Само собою разумеется, он, конечно, есть. Психология как формулировка явлений нашего субъективного мира — совершенно законная вещь, и нелепо было бы с этим спорить. На этой основе мы действуем, на этом складывается вся социальная и личная жизнь».

Так, к концу своей жизни Павлов признал ошибочность взглядов своей молодости. «Пусковые элементы» Павлов стал видеть не только во внешних условиях, но и во внутреннем мире человека. Не внешним воздействиям, а внутренним побуждениям он стал теперь приписывать руководящее влияние на поведение человека. Человеческая машина оказалась не так проста, как это казалось «классикам марксизма-ленинизма». Павлов не детерминирует уже человеческую психику социальными условиями, а, скорее, усматривает зависимость социальной жизни от психики человека.

Таков был поздний Павлов. К тому же тогда Павлов был полон больших замыслов и, прежде всего, по реформированию медицинского образования, в чем он далеко предвосхищал своих западных коллег. В беседе со своими ближайшими помощниками Иван Петрович жаловался на то, что у нас в стране нет настоящих генетиков-медиков и, сжимая кулаки, со свойственным ему, павловским, запалом, повторял: «а как они мне нужны!» Кто-то направил его к Григорию Наумовичу Каминскому, бывшему тогда наркомом здравоохранения. И Иван Петрович, прийдя на прием к наркому, рьяно требовал от него и в азарте кричал, чтобы во всех медицинских вузах было поставлено преподавание генетики. «Без генетики, Григорий Наумович, поверьте мне, не может быть настоящего медика»,* утверждал Павлов. «Когда я состарюсь, поеду в Колтуши и ничем, кроме генетики, заниматься не буду». А ему было тогда 86 лет.

На столе в кабинете Павлова, в Институте экспериментальной медицины — календарь, развернутый на дате — 18

*И что любопытно, Каминский, впоследствие расстрелянный по приказу Берия, уверовал в генетику и в ее значение для медиков.

февраля 1936 года. Это последний день, когда ученый был в своей лаборатории, где проработал сорок пять лет над разгадкой деятельности человеческого мозга. Он умер неожиданно для всех окружающих. Смерть прервала его мысль в стремительном и неустанном движении вперед. Полвека назад, у порога сознания беспомощно остановились физиологи мира. Но в это заколдованное царство Павлов распахнул дверь и вошел в него, уверенным и властным хозяином.

Сделать как можно больше, успеть узнать всё, — вот что двигало Павловым до последних дней его жизни. Павлов, как и Мечников, видел в смерти свой последний эксперимент. 27 февраля Павлова не стало. Смерть Павлова окружена некоторой загадочностью. Незначительная простуда дала повод к немедленному помещению его в госпиталь. Появились явные признаки улучшения, и Павлов забылся в крепком сне.

...Павлов спит. Все с беспокойством ждут его пробуждения. Вот он приподнимается, встает, как всегда, деловито и быстро, тянется к одежде и торопит себя, сберегая каждую секунду, каждый миг. — «Пора встать! Помогите же мне! Давайте одеваться...» — И ничего больше, ни слова. Если бы коллапс не лишил умирающего блеска сознания, он, наверное, собрал бы последние силы, чтобы поведать друзьям, как умирает в нем мозг.

Один из близких к Павлову людей, его ученик профессор П., как-то рассказывал мне, что на Павлова произвело большое впечатление одно стихотворение, в котором есть такие строчки:

«Заполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,
Тогда, мой сын, ты будешь человек,
Тогда весь мир ты примешь во владенье».

Мне кажется, без всякой натяжки можно сказать, что в этих словах отразилось и жизненное кредо этого великого русского ученого.

Н. Нижальский

ТРУД ПОРАБОЩЕННОЙ МЫСЛИ

К НОВОЙ ПРОГРАММЕ КПСС

О новой программе КПСС легче написать десять статей, чем одну статью обо всей программе. Так разнородны ее разделы, так изобилует она противоречиями. Элементы рационального мышления так переплетаются с буйной фантазией и грубейшим искажением действительности, что к общему заключению о программе можно прийти лишь очень долгим и извилистым путем. Поэтому, не пытаясь «объять необъятное», я ограничусь одной из десятка возможных статей и остановлюсь только на том, что произвело на меня самое сильное, но и самое удручающее впечатление. Это те части программы, которые должны служить теоретической основой для содержащихся в ней заданий и предсказаний и прежде всего должны демонстрировать неизбежность гибели капитализма и торжества коммунизма во всем мире. Если эти части программы производят на меня удручающее впечатление, то отнюдь не потому, что меня удручает «неизбежность» печальной судьбы капитализма, в котором я вижу не установившуюся навеки, а одну из меняющихся в ходе истории общественных формаций, считая в то же время совершенно абсурдной ту концепцию «неизбежности», которая представлена в программе. Меня удручает невероятное убожество и косность мысли этой части программы, при чтении буквально доставляющие острое интеллектуальное страдание, иногда, впрочем, вызывая своей нелепостью и веселое настроение. По всей вероятности, и сами авторы программы думают не так, как пишут, следуя определенному политическому предписанию демонстрировать пресловутую «неизбежность». И это хуже всего потому, что это указывает на желанье власти подавить те проблески более критического и серьезного мышления, которые за последние годы наблюдались в советской — в частности, экономической — литературе. В этом отношении теоретические части программы можно охарактеризовать, как программу отупения.

Так как авторам программы полагалось быть «марксистами-ленинистами», то они составляли теоретическое обоснование

программы по Марксу и по Ленину. Но не по Сталину. Сталин, повидимому, вообще не существовал. В программе он не упоминается, а то, что считается его достижениями, весьма бесцеремонно по отношению к фактам истории приписывается... Ленину. Так, о коллективизации сказано, что «на основе л е н и н с к о г о кооперативного плана извечный крестьянский вопрос нашел свое подлинное разрешение». Было бы очень легко доказать, что сталинская насильственная коллективизация ничего общего с «ленинским кооперативным планом» не имела и резко противоречила позиции Ленина в вопросе о коллективизации сельского хозяйства. Но это, как и вопрос о «подлинности» сталинского решения «извечного крестьянского вопроса», выходит из рамок настоящей статьи, которая посвящена тому, что и как говорится в программе, «по Марксу и Ленину».

Следовать Марксу и Ленину означает в данном случае повторять — иногда, как мы увидим, дословно — то, что Маркс писал сто лет и больше, а Ленин сорок и больше лет тому назад, то-есть, применять метод, который не раз, в том числе и самим Хрущевым, характеризовался, как «начетничество». В новой программе начетчики вступают в свои права, и что я считаю вполне вероятным и особенно печальным, это то, что и более серьезные люди были вынуждены стряпать программу, как «начетчики и талмудисты». Только таковые, например, могут говорить, как сказано в программе, об «огромной резервной армии безработных, постоянно пополняемой разоряющимся крестьянством и городской мелкой буржуазией». Это «по Марксу», и так когда-то было, но этого больше нет. Безработица существует и иногда принимает значительные размеры. Этого никто не отрицает. Но когда она увеличивается, «армия» безработных «пополняется» теми рабочими, которые теряют работу вследствие сокращения производства, а не «разоряющимся крестьянством и городской мелкой буржуазией», которые тоже существуют, но далеко не в тех размерах, чтобы создавать «огромную» армию безработных. А главное, безработица не играет больше роли р е з е р в н о й армии, о которой говорится у Маркса, то-есть, роли большого резерва незанятой рабочей силы, из которого предприниматели могли бы черпать для замены увольняемых за непокорность и «чрезмерные» требования рабочих. В начале нынешнего столетия некоторые марксисты, считавшие себя наиболее ортодоксальными, еще думали, что капитализм не может существовать без такой резервной армии. В немецкой социал-демократии шел спор о выставлении требования страхования от

безработицы. Были противники, утверждавшие, что выставлять такое требование значит создавать у рабочих вредные иллюзии, так как капитализм не может допустить страхования от безработицы, которое ослабило бы действие необходимой ему «резервной армии». Спор был решен не теоретически, а тем фактом, что в Англии страхование от безработицы было введено еще до первой мировой войны, и после нее оно постепенно было введено и утвердилось во всех развитых капиталистических странах. Капитализм от этого нигде не погиб и с исчезновением «резервной армии безработных» в ее прежнем значении примирился. Больше того: в случаях кризисов или депрессий, когда безработица растет, правительства, которые будто бы — согласно программе — целиком подчинены монопольному капиталу — не только не приходят в восторг от возможности образовать «резервную армию», но этому противодействуют, принимая меры для сокращения безработицы и смягчения нужды безработных. Во время последних американских депрессий заработная плата работающих не понижалась и во многих случаях даже не переставала повышаться, несмотря на рост безработицы. Говорить сейчас о постоянной огромной резервной армии безработных и сейчас же вслед за этим говорить о том, что «непрерывно усиливается эксплоатация рабочего класса, всех трудящихся.... растут страдания и бедствия миллионов» — это значит — отставать от действительного развития на много десятков лет. И это непростительно в особенности для критиков и противников капитализма, так как это создает совершенно иллюзорную перспективу для условий борьбы за трансформацию капитализма, устраняющую его наиболее отрицательные стороны или за какую-нибудь форму его преодоления. Положительной стороной такого начетничества можно считать то, что оно содействовало почти полному исчезновению коммунистической партии в Соединенных Штатах и упадку компартий в ряде других стран.

Еще более устаревшим, чем указание на «огромную резервную армию», является воспроизведение в программе старой теории обнищания рабочего класса. Тем, кто живут в Северной Америке или Западной Европе, не нужно доказывать неправильность утверждения, что «кризисы и периоды промышленного застоя... еще более увеличивают зависимость наемного труда от капитала, еще более ведут к относительному, а иногда и к абсолютному ухудшению рабочего класса». Доминирующей тенденцией развития без сомнения является не

ухудшение, а улучшение материального положения рабочих, в чем за последние годы могли убедиться тысячи советских делегатов и туристов, побывавших в Западной Европе и Америке. Их рассказы, конечно, производили впечатление и в Советском Союзе, где (как свидетельствуют многие) население, как правило, не верит в ухудшение положения рабочих в капиталистических странах. Не уклоняясь от истины, авторы программы могли бы сказать, что повышение жизненного уровня рабочих капиталистических стран не является непрерывным, что там или тут бывают в этом отношении периоды стагнации, застывания реальных заработков на одном уровне, а иногда и перебои со сдвигом вниз, вызываемые обычно не понижением заработной платы — чрезвычайно редкое единичное явление — а отставанием заработной платы от роста цен. Но в особенности тем, побывавшим на Западе советским гражданам, которые читали «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса и соответствующие главы в первом томе «Капитала», полная устарелость теории обнищания должна представляться до разительности очевидной. Это, конечно, прекрасно знают и советские экономисты, поскольку они занимаются экономикой капиталистических стран. Тем не менее некоторые из них, по всей видимости, приложили и свою руку к грубым фальсификациям новой программы.

Нужно, однако, воздать авторам программы должное за то, что они по крайней мере старались отставать не больше, чем на полвека, и потому особенно усердно повторяли то, что Ленин писал всего сорок-сорок пять лет тому назад, и что в его время было во многом ошибочным, но не было устаревшим. Это относится прежде всего к утверждению, что «капитализм вступил в свою последнюю стадию — стадию монополистического капитализма, империализма». В этой части программы все сплошь по-Ленину, по его работе, которая в первом издании называлась «Империализм, как новейший этап капитализма» а в следующих «Империализм, как высшая стадия капитализма». Программа говорит о «последней» стадии, но и у Ленина «высшая» стадия явно означает и «последнюю». Он пишет (стр. 288*): «Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как переходный или, вернее, у м и р а ю щ и й капитализм» (все подчеркивания мои). В работе

* Все указания на стр. относятся к 22-му тому 4-го издания сочинений Ленина.

Ленина есть особая глава «Паразитизм и загнивание капитализма» (стр. 262 и сл.), в которой говорится о стремлениях, в других случаях, о тенденции, к «застою и загниванию». Итак, в работе, написанной в 1916 г,, Ленин характеризовал империализм, как капитализм «загнивающий» и «умирающий». В программе мы читаем: «Империализм есть загнивающий и умирающий капитализм, канун социалистической революции». В самом тексте ленинской работы нет выражения «канун социалистической революции», но только потому, что Ленин писал ее для публикации в России, считаясь, по его собственным словам, с цензурными условиями (стр. 175 и 177). Но это выражение имеется в предисловиях к первому русскому изданию 1917 года и к французскому и немецкому изданиям 1920 года. В предисловии, датированном 26 апреля 1917 года, Ленин писал: «О том, что империализм есть канун социалистической революции... мне приходилось говорить «рабьим языком» (стр. 175), а предисловие, датированное 6-м июля 1920 года Ленин закончил словами: «Империализм есть канун социальной революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года во всемирном масштабе» (стр. 182). Подчеркнутые слова очень существенны, потому что они (как, впрочем, вполне ясно из содержания книги) относятся не к русской, а к мировой социалистической революции. По мнению Ленина, «это подтвердилось». Но, очевидно, не подтвердилось потому, что новая программа повторяет это же утверждение 44 года спустя.

«Канун», как видно, очень затянулся. Но когда же он начался? Очевидно, с наступлением «империализма, как высшей стадии капитализма». В программе сказано, что «капитализм вступил в свою последнюю стадию и т. д.». Это звучит так, как будто империализм, как высшая или последняя стадия капитализма, появился сравнительно недавно. Но Ленин считал, что для Европы «время окончательной смены старого капитализма новым... можно установить довольно точно: это... — начало 20 века» (стр. 188). Новый капитализм у Ленина и есть империализм. Итак, «канун социалистической революции» наступил уже примерно 60 лет тому назад. И по-Ленину, это должно было быть временем «застоя и загнивания». Тем не менее, согласно программе, «20-й век является 'веком колоссального развития производительных сил'». Чтобы смягчить это, слишком уже явное противоречие, в другом месте программы сказано, что «загнивание капитализма не означает полного застоя, закупорки производительных сил и не исклю-

чает роста капиталистической экономики в отдельные периоды, в отдельных странах». Впрочем, это противоречие чувствовал и сам Ленин, на чем здесь можно не останавливаться, чтобы перейти к вопросу, насколько вообще состоятельна вполне ленинская формулировка, что «империализм есть загнивающий и умирающий капитализм, канун социалистической революции».

Начну с примера, особенно ярко показывающего, к чему может привести рабское следование ленинскому пониманию империализма. Программа дает картину империалистического мира, вполне соответствующую этому пониманию: «Небывало обострилась борьба империалистических держав за рынки сбыта, за сферы приложения капитала, за сырье и за рабочую силу, за мировое господство». Тут всё или сильно преувеличено или прямо неверно. Но всего интереснее заявление, что «небывало обострилась борьба империалистических держав за мировое господство». Борьба каких империалистических держав? Кого против кого? Англии против Америки? Америки против Франции? Франции против Германии? Ни той, ни другой, ни третьей борьбы, очевидно, нет. Кто же вообще, какая из «империалистических» держав может в наше время оспаривать преобладающее положение США? Если уж говорить о борьбе за мировое господство между отдельными государствами, а не общественными системами, то сторонами в этой борьбе могут быть только США и Советский Союз, который таким путем попадает в империалистические державы. Я против этого не возражаю, но авторы программы ведь этого признать, без сомнения, не хотят, и то, что в этой связи они заговорили о борьбе за мировое господство является с их стороны верхом недомыслия.

Последовательное применение ленинской теории империализма приводит к явной нелепости (с точки зрения коммунистов). Но я боюсь, что если бы они это даже осознали, то не дерзнули бы заняться выяснением того, насколько состоятельна эта теория, и уж тем менее не дерзнули бы отклониться от нее при составлении программы, главная характеристика которой в том, что, — по крайней мере в ее теоретической части, о которой я говорю, — она является продуктом порабощенной, а потому и убогой и косной мысли. Иначе ее авторов должно было бы навести на сомнения уже само ленинское определение империализма, как высшей стадии капитализма. Как империализм может быть стадией капитализма, если он является обозначением для определенного типа п о л и т и-

к и, а капитализм есть социально-экономическая формация. И курьезнее всего то, что Ленин это знал и понимал. Всё в той же работе он писал: «Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял империализм» (стр. 247). Из этого можно заключить, как это делает Ленин, что не имеет смысла говорить об империализме, вообще, игнорируя «коренную разницу общественно-экономических формаций», но никак не следует и то, что можно отождествлять империализм с одной из этих формаций. Иначе по Ленину же получится, что уже в древнем Риме существовала высшая стадия капитализма. Чтобы оставаться логичным, Ленин должен был бы говорить об империализме не как о стадии капитализма, а как о политике, соответствующей этой стадии. Рассуждения Ленина часто отличались железной логикой — независимо от правильности или неправильности его исходных положений — но не менее часто «железо» его логики сгибалось под напором его страстных желаний. Книгу, о которой мы говорим, Ленин писал во время войны, которая по страстному ж е л а н и ю Ленина должна была развязать социалистическую революцию, и которую он, как и многие другие, характеризовал как войну империалистическую. «Мы все, циммервальдские левые, писал Ленин в июле 1916 года, убеждены в том..., что социалистическая революция вполне возможна в с а м о м б л и з к о м б у д у щ е м (подчеркнуто Лениным) «с сегодня на завтра», как однажды выразился Каутский» (стр. 337). Отождествление империализма с последней стадией капитализма было очень удобно для обоснования этого убеждения: раз эта война империалистическая, то, значит, это есть война «умирающего» капитализма и грозит гибелью не только определенной капиталистической политике, но и самому капитализму. Если же отличать империализм, как политику, от капитализма, как общественно-экономической системы, то нужно будет допустить и возможность того, что империализм исчезнет, а капитализм останется. Тогда нужно прийти к выводу, что, по крайней мере теоретически, возможны и империализм без капитализма (как это уже бывало в истории) и капитализм без империализма. Ленин этого допустить не мог. Не могут допустить этого коммунисты и в наше время, когда империализм уже находится в процессе исчезновения. Ведь это значило бы признать, что капитализм может существовать и после окончания империалистического периода, а с другой стороны, лишило бы их возможности отрицать существование империализма советского

на том основании, что СССР страна не капиталистическая. Вот и приходится цепляться за старую ленинскую теорию империализма, как высшей и последней стадии капитализма. Вопреки тому, что Ленин писал в предисловии к немецкому и французскому изданиям своей книги об империализме, октябрьская революция ни в коей мере не подтвердила его положения, что «империализм есть канун социальной революции пролетариата... во всемирном масштабе». Если Россия и была накануне революции, то она отнюдь не была на «высшей стадии капитализма», а была страной не старого и уже «загнивающего», но молодого и еще не-доразвитого капитализма. Это, кстати сказать, еще одно свидетельство того, насколько было неправильно отождествлять империализм с высшей стадией капитализма, так как можно было говорить о российском империализме, в то время, как русский капитализм был еще очень далек от высшей стадии своего развития. А более позднее развитие показало, что к началу первой мировой войны и западноевропейский, а тем более американский, капитализмы еще не достигли своей высшей стадии, несмотря на то, что это было время наиболее полного расцвета империализма.

Положение в Европе Ленин видел в свете своих иллюзий, его анализ современного ему капитализма страдал преувеличениями и опущениями, основной вывод его теории империализма («канун социалистической революции») не подтвердился, его предвидения не оправдались, предсказания не сбылись. Но если толковать понятие «кануна» очень растяжимо, допуская, что он может тянуться годы и, как однажды писал Ленин, даже «десять лет и более», то те военные годы, когда Ленин писал свою работу, действительно оказались «кануном» не только русской революции, но и революций европейских — только не социалистических, а фашистской в Италии и нацистской в Германии. Такие революции Ленин не предвидел, что, однако, вполне простительно, так как их не предвидел в то время никто. Но в статье «Итоги дискуссии о самоопределении», написанной в июле 1916 года Ленин издевался над «педантски-смешным» предсказанием, будто «выстроится в одном месте одно войско и скажет «мы за социализм», а в другом другое и скажет «мы за империализм» и это будет социальная революция!... Кто ждет «чистой» социальной революции, тот никогда ее не дождется» (стр. 340). Нельзя думать, писал Ленин, «что мыслима социальная революция без восстаний маленьких наций в колониях и в Европе, без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее пред-

рассудками, без движения несознательных пролетарских и полупролетарских масс... Социалистическая революция в Европе н е м о ж е т б ы т ь (подчеркнуто Лениным) ни чем иным, как массовой борьбой всех и всяческих угнетенных и недовольных. Часть мелкой буржуазии и часть отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней... и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки» (стр. 340). Это было бы поразительным предвидением нацизма, если бы Ленин допускал, что названные им элементы будут не только участвовать во «взрыве массовой борьбы», но будут в нем доминировать, исключая социалистическое руководство борьбой. Но тогда этого не допускал никто. Не только социалисты, но и противники социализма не представляли себе боевого массового движения иначе, как движения в основном рабочего по составу участников и социалистического по своему устремлению.

Авторам программы и самому Хрущеву, ее главному вдохновителю, следовало бы задуматься над приведенной мною цитатой из Ленина, так как они всё еще не освободились от представления о «чистой» революции, когда одно войско говорит — «мы за социализм», а другое — «мы за империализм». Такого очень уж простого распределения сил никогда не было и наверное никогда не будет. Социальная действительность куда сложнее. И неискоренимым пороком коммунистического мышления, которым проникнута новая программа является полная неспособность разбираться в сложных социальных отношениях, как они существуют в действительности, а не искусственно конструировать их по старым схемам, уже давно обнаружившим свою несостоятельность. Даже правильно отмечая очень существенные явления в развитии капиталистической системы, коммунисты сейчас же искажают их до карикатурности и обнаруживают полное непонимание их социального значения. В новой программе имеется такой перл: «Монополистическая буржуазия стала бесполезным наростом на общественном организме, излишним для процесса производства. Заводами и фабриками руководят наемные директора, инженеры и техники. Монополисты ведут паразитический образ жизни, поглощая вместе со своей челядью значительную часть национального дохода, создаваемого трудом пролетариев и крестьян». Ну, как тут не вспомнить Маяковского: «ешь ананас, рябчика жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Дальше этой мудрости авторы программы не пошли, хотя они коснулись такого чрезвычайно существенного явления, как трансформации капитализма собственников в капитализм ру-

ководителей предприятий, «капитализм генеральных директоров», как его называли еще в догитлеровской Германии.

Эта трансформация была, как достаточно широко известно, следствием распространения акционерных обществ, постепенно ставших преобладающей формой предприятий, в особенности крупных. В отличие от предприятий личных или семейных, в акционерных обществах руководство предприятиями отдаляется от собственности, которая распыляется между массой акционеров, как правило, лишенных какой-либо возможности влиять на руководство. Но распыление собственности, включая и собственность на средства производства, не только не распыляет капиталов, но является чрезвычайно эффективной формой их концентрации, так как большие капиталы слагаются из множества отдельных, в массе своей очень мелких, сбережений. Маркс и Энгельс, в особенности последний (в «Антидюринге»), уже видели это развитие. И я не пойду так далеко назад, а задержусь только на Ленине. В той работе, на которую я уже много раз ссылался, Ленин писал: «Капитализму вообще свойственно отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству, отделение денежного капитала от промышленного или производственного, отделение рантье, живущего только доходом с денежного капитала, от предпринимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении капиталом лиц. Империализм или господство финансового капитала есть та высшая ступень капитализма, когда это отделение достигает громадных размеров» (стр. 226). Это, как видим, бесконечно далеко от той каррикатуры, которую намалевали тупицы, составлявшие соответственный раздел программы. Но и Ленин, правильно отмечая чрезвычайно важный факт, видимо, не отдавал себе ясного отчета в его социальном значении.

В предприятии, собственник которого сам является предпринимателем и управляет предприятием, основное социальное отношение является, так сказать, двучленным. С одной стороны капиталист, с другой стороны работающие у него пролетарии. Класс против класса, если распространить это отношение на всю совокупность таких предприятий. Это — капитализм времени «Коммунистического Манифеста». Отделение собственности на капитал от управления им изменяет и осложняет социальные отношения. Мы уже имеем по меньшей мере три стороны: собственники, то-есть, владельцы акций, руководители предприятий и рабочие вместе с низшим слоем служащих. Кто же в этом случае капиталисты? Собственники? Но тогда мы

должны считать капиталистом акционера, владеющего ничтожной частью капитала и не имеющего никакого влияния на ведение дела, а наемных служащих, которые служат директорами предприятий, зачислить в пролетарии. Очевидно, в этой форме капитализма его носителями, то-есть, подлинными капиталистами являются именно директора. Классовое деление уже меняется, а поскольку продолжают существовать классовые противоречия, их характер изменяется с изменением классового деления. В какой класс зачислить акционеров, юридических собственников предприятий? Среди них представлены все классы, все социальные группировки. Сравнительно тонкий слой крупных акционеров, включая обычно владеющих акциями директоров, всего правильнее отнести к капиталистам. Более мелких акционеров прежде всего можно разделить на две категории. В одну рантье, живущие доходом с их акций, в другую те акционеры, которые наряду с обладанием акциями занимаются и другой деятельностью. Тут имеются буквально все: и хозяева промышленных или торговых предприятий, и ремесленники, и всякого рода чиновники, и лица свободных профессий, и крестьяне, и служащие, и рабочие. Классовые интересы переплетаются, трансформируя и осложняя классовые противоречия. Рабочий, имеющий некоторое количество акций, может чувствовать себя антикапиталистом, но он в то же время заинтересован в процветании того капиталистического предприятия, акциями которого он обладает. Это только один пример. Развитие акционерных обществ вообще расширило круг людей, лично заинтересованных в существовании и доходности и х предприятий.

Я набрасываю эту, далеко не исчерпывающую действительных отношений картину, чтобы нагляднее показать до какой степени далека от этих отношений, состряпанная «по Ленину» концепция новой программы КПСС. А ведь картину нужно было бы пополнить и международными отношениями и различными течениями в бывших колониях, которых нельзя всех изображать по какой-нибудь одной модели. В новой программе говорится, если не обо всем, то об очень многом. Но всё, чего она касается, втискивается в примитивные схемы или грубо извращается, чтобы «доказать» недоказуемый «закон» неизбежности торжества коммунизма в мировом масштабе.

Ю. Денике

СТАЛИНСКИЙ ТЕРРОР И ПЕРЕПИСЬ 1959 ГОДА

Коммунисты всегда стараются подать статистические данные в такой форме, чтобы из них было трудно или даже невозможно установить факты, которые они, коммунисты, не желают предавать гласности. Но иногда они делают промахи и дают возможность проникнуть в некоторые «тайны кремлевского дворца». И вот анализ данных о распределении населения по полу и возрасту, как оно выявилось по переписи 1959 г., позволяет установить приблизительное число жертв сталинского террора. Вот как можно это сделать.

Перепись показала совершенно ненормальное соотношение между мужчинами и женщинами, начиная с 30-летнего возраста. До 30 лет наблюдается полное равновесие: 58.7 милл. мужчин против 58.1 милл. женщин. Правда, если раздробить эту группу на более мелкие, по 10 или даже 5 лет, то окажется, что в ранние возрасты мальчиков больше, чем девочек; но уже в группе от 20 до 30 лет женщин оказывается несколько больше, чем мужчин. В этом нет ничего удивительного. В силу чисто биологической закономерности, всюду и всегда мальчиков рождается больше, чем девочек, примерно в пропорции 105 на 100. Но мальчиков всегда умирает в юные годы несколько больше, чем девочек, так что уже приблизительно к 15 годам устанавливается равенство обоих полов, которое удерживается до 30 или 40 лет. В старших возрастах смертность мужчин превышает женскую смертность, так что в самых старших возрастных группах женщины получают значительный перевес. По словам американских исследователей, в США большинство крупных состояний принадлежит старым вдовам.

Единственная дореволюционная перепись, произведенная в России в 1897 г., показала почти полное равенство численности обоих полов: на 100 женщин приходилось 99 мужчин. В США перепись 1960 г. дала пропорцию 98 на 100. Но в СССР, в 1959 г., установлено небывалое положение: среди 91.9 милл. жителей 30 лет и старше, подсчитано 35.3 милл. мужчин и 56.6

милл. женщин; иными словами, на трех мужчин приходится пять женщин. Как можно это явление объяснить?

Советские источники ссылаются на колоссальные жертвы, принесенные народом для защиты отечества. Эти жертвы были воистину громадны. Но сам Сталин, по окончании войны, заявил, что чисто военные потери (т. е., убитые на полях сраженья, умершие от ран и погибшие в германских лагерях) составили 7 миллионов. Эти жертвы, конечно, почти без исключения падают на мужскую половину населения. Однако, из числа 7 миллионов павших, приблизительно один миллион успел бы умереть и без войны — ведь перепись произведена через 14 лет после окончания военных действий, и применение советских таблиц смертности по годовым группам дает вышеприведенный результат. Таким образом, из 23 миллионов перевеса женщин старше 30 лет над мужчинами такого же возраста только шесть миллионов объясняются чисто военными потерями. Попробуем объяснить, что составило остальную часть перевеса.

Отметим прежде всего, что теперь, после опубликования основных результатов переписи, никто не спорит о совершенно исключительных потерях, понесенных за войну народами СССР. По подсчету пишущего эти строки, сделанному в 1946 году (см. «Новый Журнал», кн. 19), потери эти составили 37 миллионов. Тогда на него обрушились почти все демографы, обвиняя его в страшном пессимизме. Теперь те же лица склонны к обратному упреку. Один из них, профессор Принстонского университета Изон, дает цифру в 42 миллиона.

Но примем из осторожности цифру в 37 миллионов. Она складывается из 7 милл. военных потерь, миллиона с небольшим бежавших за границу и вывезенных Гитлером, но не возвратившихся, 11 милл. дефицита в рождаемости и 17 миллионов «гражданских потерь», т. е. увеличение смертности гражданского населения сравнительно с нормальным временем. Именно эта цифра казалась преувеличенной; и в самом деле ее трудно понять, так как в послевоенные годы не было эпидемий или исключительных неурожаев, какие последовали за первой мировой войной. И вот теперь эту цифру можно объяснить тем, что одним из слагаемых был сталинский террор, павший преимущественно на мужчин.

Конечно, известная часть недостатка мужчин в 1959 г. объясняется уже упомянутым явлением большей долговечности женщин. Но в 1897 г., когда соотношение между обоими полами было нормально, перевес женщин над мужчинами в возрасте старше 20 лет составил всего 700 тысяч, т. е. меньше од-

ного процента всего населения этого возраста. При населении, увеличившемся со 125 до 209 миллионов, соответствующая разность составила бы 1.3 милл. Скинем со счетов и эту цифру. Остается почти 16 миллионов.

Скажут, пожалуй: они погибли в партизанской войне или были истреблены немцами. Но когда немцы занимались геносидом, то истребляли всех без разбора. Геносид объясняет значительную часть потерь населения между 1941 и 1945 г.г., но не громадный перевес женщин над мужчинами. Что касается жертв партизанской войны, то она (как и гражданская война 1918-21 г.г.) потребовала жертв не только от мужчин, но и от женщин. Вероятно, никогда не удастся подсчитать, сколько лиц обоего пола погибло в партизанской войне. Но сравнение с данными переписи 1926 г., произведенной всего через 5 лет после окончания военных действий (кроме Дальнего Востока), показывает, что и этот фактор, не мог сыграть большой роли. В 1926 г. перевес женщин над мужчинами, в возрасте от 20 до 50 лет (т. е. тех, которые могли принять активное участие в военных действиях), составил всего 3 миллиона, из коих 2 миллиона падает на военные потери в войне с центральными державами.

Таким образом, для объяснения перевеса женщин над мужчинами в 1959 г., остается только одна гипотеза: сталинский террор, который «ликвидировал» людей или просто расстрелом, или мучительным умиранием в концентрационных лагерях. Никакой статистики по этому предмету не имеется и не может быть: коммунисты не оставят после себя никаких документальных следов своих злодеяний. Однако, из отрывочных показаний тех, кто вырвался из клещей этого террора, можно заключить, что в тюрьмах и лагерях мужчин было в 4 или 5 раз больше, нежели женщин. Те 16 миллионов, которые мы выше оставили на счету, это один из результатов сталинского геносида.

Это не всё. 16 миллионов — это только разность между мужскими и женскими жертвами террора. При самой выгодной для памяти Сталина гипотезе (а именно, что женщин было умерщвлено в 5 раз меньше, нежели мужчин) приходится к 16 миллионам прибавить еще 4 миллиона женщин, что составит 20 миллионов жертв обоего пола.

И это опять не всё. Перепись произведена через 6 лет после смерти Сталина и почти через 30 лет после начала массового террора. За эти годы те возрастные группы, которые были подвергнуты террору, в естественном порядке потеряли бы

(опять-таки на основе советских таблиц смертности) около одной восьмой части. Соответственно этому расчету, число смертей, причиненных сталинским (и в какой-то мере и послесталинским) террором надо поднять до 21 миллиона.

Утомленный этими выкладками читатель может спросить: как же так? 21 миллион жертв террора, тогда как гражданские потери за все годы войны составили всего 17 миллионов. Никакого противоречия между этими фактами нет. Дело в том, что война длилась всего 4 года, а сталинский террор около четверти века. Ясно, что из 21 миллиона жертв террора погибла за годы войны только небольшая доля.

Итак, 21 миллион человек или около этого — наши расчеты в некоторых частях гипотетичны, что допускает ошибку в 5 миллионов вверх или вниз — вот тот неизгладимый памятник, который поставили себе Сталин и его соратники, из коих многие и ныне благоденствуют в Кремле.

Н. С. Тимашев

ПОХОРОНЫ БЛОКА

Кое-где вдоль Невского на домах были расклеены белые бумажки. Выйдя из вокзала я почти сразу их заметил, подошел к одной из них и прочел мелким шрифтом напечатанное извещение: умер Александр Блок, панихиды тогда-то, погребение там-то, тогда-то.

Сорок лет прошло с тех пор. Было девятое августа. Три дня я провел в поезде: в Петербурге не был с апреля. Надо было занести вещи домой. Оттуда я пошел прямо к нему на квартиру.

Тогда я еще только собирался стать писателем. Никогда у него не был, не встречался с ним, да и видел только два раза издали, когда он читал стихи, один раз «Под насыпью, во рву некошенном» и еще что-то из третьего тома, другой раз недавно, перед самым моим отъездом, третью главу «Возмездия». Неподвижный, сухощавый, прямой, он читал своим глуховатым голосом ровно, почти не меняя интонаций, и все же с предельной их точностью и выразительностью.

Отец лежит в «Аллее роз»
Уже с усталостью не споря,

читал, как этого больше никто прочесть не сумеет. Такого чтения стихов и раньше мне слышать не доводилось, и позже не довелось.

Вид у него и тогда уже был измученный, обреченный. Но теперь его нельзя было узнать. Это темножелтое, кости да кожа, чужое лицо в гробу... Похожим могло быть разве что лицо рембрандтовского блудного сына в Эрмитаже до того, как он склонил колени и припал к груди отца.

Панихида только что кончилась. В полутемной комнате оставались близкие, женщины с платками у глаз, в глубоком трауре. Но были и такие как я, знавшие его только по стихам. Я постоял немного, подошел, нагнулся над ним, поцеловал его сложенные на груди руки и вышел поскорей на лестницу.

Потом мы его хоронили; десятого; на другой день. «Мы», то есть все в тогдашнем Петербурге, кто был причастен к

литературе и просто кому дорог был Блок и дорога была поэзия. Нас было много. Гроб мы несли на руках, сменяясь по четверо, от дома на Офицерской до Смоленского кладбища. Вспоминая об этом, слышу внутри себя его голос, читающий «Возмездие», и чувствую до сих пор на плече тяжесть его гроба. Два раза со мной рядом нес его Андрей Белый, и мне казалось, что своими водянистыми, зелено-прозрачными глазами он глядит прямо перед собой и не видит никого и ничего. Помню бледность Ахматовой и ее высокий силуэт над открытым гробом, в церкви, после отпеванья, когда мы все еще раз подходили и прощались с ним.

На следующее утро я пошел к нему на могилу, но еще издали увидел сухенькую фигурку в черном, склонившуюся у креста. Кто же, как не мать его, могла еще так плакать, так молиться? Лучше было уйти, горю ее не мешать.

***

Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше — за всю страну и отозвавшееся по всей стране — значило все таки не одно это, не одним этим было вызвано. Провожая его к могиле мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, что было ему и нам всего дороже, все, что сделало его тем, чем он был, и что сделало нас, все, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разрушена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в русской поэзии, все равно говорит ли эта поэзия прозой или стихами. Неся его гроб мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия — нечто более хрупкое, чем видимая. Пусть и не отдавая себе в том ясного отчета, мы скорбели именно о ней. Мы не предполагали, конечно, что больше не будет выходить книг, что литература кончится, или хотя бы что не будут больше писать стихов (зная, что в с е г о, высказываемого стихами, прозой высказать нельзя). Мы только думали, что общий смысл всего публикуемого в стихах и прозе начал уже меняться, будет меняться еще больше, и что смерть Блока — нечто очень важное в ходе этих перемен.

Что бы мы ни думали, каждый в отдельности, это оставалось общей нашей думой. Перемены были таковы, что в их результате — мы это видели и мы знали, что Блок это видел,

что он стал это видеть в последние два года перед смертью — намечался полный разрыв не с одним лишь государственным и общественным строем нашего прошлого, но и с той любимой нами невидимой Россией, которой перемены эти сулили, если не истление, то немощь и немоту. Всей русской письменности предстояло жить в таких условиях, в каких она никогда раньше не жила, ей грозила неволя, какой она никогда, хотя бы и в худшие, давно прошедшие времена, не знала. Настоящего представления об этой новой неволе у нас тогда еще не было. Свобода слова в то время еще не совсем была отменена. Нельзя было высказывать политических мнений слишком для власти неприятных, но на другие темы можно было писать и печатать почти все, что угодно, а главное еще не давалось положительных распоряжений насчет того, о чем — да еще и как именно — следует писать. Эта относительная свобода не сразу исчезла и после смерти Блока, удержалась до середины, а в жалком остатке и до конца двадцатых годов. Однако, предвидеть это исчезновение можно было давно, — или предчувствовать, даже и не обладая тем особым внутренним слухом, который у Блока был неотделим от его поэтического дара. Пушкинская его речь «О назначении поэта», и прежде всего о свободе поэта, произнесенная всего за полгода до его кончины и повторенная три раза была самым точным и для всех очевидным выражением этого предчувствия.

От предчувствий такого рода он и занемог, от них и вкус к жизни потерял; и еще оттого, что пришли они к нему все таки слишком поздно. Слушал он, слушал «музыку революции» и других призывал слушать, а этого в ней не расслышал. Когда именно он стал э т о слышать, никто в точности не знал, не знает и теперь, но что у с л ы ш а л, это было известно всем сколько-нибудь к нему близким и всем, кто с этими близкими был знаком, а после пушкинской речи в этом и вообще нельзя было больше сомневаться. Шедшие за его гробом не сомневались, но и никто из них, я думаю, не истолковывал того, что с ним цроизошло, так лубочно, как это делалось иногда впоследствии. Мы знали: от «Двенадцати» он не отрекся. Возвращения к прошлому, столь ненавидимому им, справедливо или нет, он желать не мог. В «Записке» о своей поэме, помеченной 1-ым апреля 1920-го года, впервые опубликованной в 1922-ом году и которую столь неохотно и с такими пропусками печатают в советских изданиях, он высказывается вполне ясно: «Поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда проносящийся рево-

люционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики». После чего он спрашивает себя о будущем поэмы, но тут же замечает: «Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией». Отчего же «теперь» с иронией? Оттого что понял: то будущее, ради веры в которое написана поэма, еще во всяком случае очень далеко, а путь, по которому решено идти к нему таков, что он то как раз и делает это будущее недостижимым или для поэта неприемлемым. В пушкинской речи он говорил, не в прошедшем времени, а в настоящем, о чиновниках, «которые собираются направлять поэзию по каким то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу». И все мы слышали или читали, все мы помнили слова, сказанные им в той же речи: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Мы знали, почему Блок умер и знали, что его не уберегли. Знали, как тяжело ему было последние годы от всего, что творилось кругом, от всего, что он почувствовал, услышал вопреки и наперекор «Двенадцати», так тяжело, что эта душевная боль привела его к болезни, или помешала бороться с ней, и ускорила его кончину. Знали также, что когда он слег, стали хлопотать о его выезде заграницу для леченья, и что разрешение на этот выезд долго не приходило, а пришло, когда он умирал. Знали и о встрече, которую приготовили ему за пять месяцев до смерти, в московском «Доме искусств», молодые и называвшие себя революционными литераторы, кричавшие ему, уже больному, что стихи его — никому не нужное старье и сам он — живой труп, мертвец. Слова эти он принял, как правду: да, мертвец. Передавали, что и сам незадолго до смерти сказал: «Россия меня слопала, как глупая чушка своего поросенка. Та ли это была Россия, которая его родила? В этой России съевшей или заспавшей его, много ли места осталось для русской поэзии?

Наша грусть от всего этого не становилась светлее. Нет, не его одного провожали мы в тот день на кладбище. Изда-

лека, со стороны ничего не стоит, разумеется, сказать, что грусть наша была преувеличена, опасения напрасны. Разве со смертью Блока перевелись на Руси поэты? Он был драгоценнейшим — и младшим — в том их поколении, которое создало наш «серебряный век»; но разве следующее, шедшее на смену поколение не расцвело как раз к тому времени, когда его не стало? Разве Ходасевич, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак не в двадцатые как раз годы дали лучшее или многое из лучшего, что ими было вообще написано? А Есенин? А Маяковский? Да еще и другие. И не одними ведь стихами живет литература, а проза после 21-го года разве не была интересной и живой? На это, мне кажется, я могу ответить от имени всех, кто вместе со мной шел за гробом Блока и с тревогой думал о будущем: да, эти возражения и нам казались вескими, мы и сами утешались ими; после похорон утешались, но именно тогда, в двадцатых годах, в начале двадцатых годов. Позже утешаться ими становилось все трудней. Двадцатые годы двигались в очень определенном направлении: от стихийных бедствий и бессистемных свирепств к систематическому искоренению всех попыток мыслить по своему и всякой возможности делать свободно свое писательское дело. Символически — и вполне точно по датам — это можно выразить так: двадцатые годы шли от расстрела Гумилева к самоубийству Маяковского. И середину их тоже весьма точно можно определить: это год, когда повесился Есенин.

Угасание Блока было предвестием. Через три недели после его смерти убили Гумилева: как политического врага; в его лице была убита несогласная с революцией поэзия. В лице Есенина покончила с собой революционная, но обманутая революцией крестьянская, пусть и несбыточная, мечта. В лице Маяковского поэзия, всего тесней связанная с революцией, но полностью исчерпанная и упершаяся в тупик, сама на себя наложила руки. К тому времени Мандельштаму, Ахматовой, Пастернаку заткнули рот, а Ходасевич, Цветаева были заграницей, и в Россию их стихов не пропускали. Проза к тому времени становилась там все менее живой и интересной, а советская литература следующего десятилетия, сравнительно с предыдущим, вся в целом представляется в высшей степени серой и казенной. О дальнейшем не говорю ничего, но неудивительно, что с середины пятидесятых годов молодое литературное поколение так жадно тянется к двадцатым, или к Пастернаку, прославленному уже тогда, и некоторым его

сверстникам. То поколение было последним, которому дано было высказать свое, вместо того чтобы полусвоими словами пересказывать чужое. Те годы, двадцатые, для нынешней молодежи, это годы, когда слово не было еще удушено. Только это все таки годы, когда его удушали и удушили.

Нет, наше чувство было верным, когда, оплакивая Блока, мы скорбели не о нем одном. И тем более оно было верным, что и тогда уже очерчивалось, а вскоре и совсем определилось то разделение русской литературы на-двое, которое, конечно, ни частям, ни целому счастья принести не могло. Для всех пишущих по-русски оно было и есть несчастье. Литературу нашу оно калечит, и если что в нем хорошо, то разве лишь то, что две ее части калечит оно по-разному. Никто не может судить и тем более осуждать, ни тех, что ушли, ни тех, что остались. Одни знали, что нельзя им оставаться, другие, что нельзя им уходить. Слава Богу еще, что некоторые из оставшихся написали как-никак, хоть почти и чудом иногда, то, чего не написали бы, если бы не остались (например «Доктора Живаго»). Слава Богу, что некоторые из ушедших завершили свое писательское дело или все же написали то, чего не написали бы, если бы не ушли (хотя бы потому, что жизнь их кончилась бы раньше). Там литературу нашу (усердней всего поэзию) душили; здесь она задыхалась от узости круга, в котором пришлось ей жить: писательского, читательского, вообще русского, при разбросанности и относительном немноголюдьи нашего зарубежья. Быть может когда-нибудь соберут ее обломки по обе стороны границы, отбросят рабское, захиревшее, пустое, и тогда увидят, что в глубине все же не две их было, что она была одна. Одна, как ее еще видели те, что потом ушли и те, что остались, когда вместе хоронили Блока.

***

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце в муке погасшее...

Во всей истории нашей не было таких похорон. Пушкина тоже не уберегли. Пушкина любили. Но прощаясь с Пушкиным, прощались все же только с ним. Тут было другое про-

щание; оно продолжается по сей день. И если бы, после стольких лет, Бог весть какими судьбами, я повстречался снова с Анной Андреевной Ахматовой, или наши тени повстречались бы в Елисейских полях, я уверен, она согласилась бы со мной, что прощание это еще не кончилось.

В. Вейдле

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

РУССКИЕ ИСТОРИКИ О ТАТАРСКОМ ИГЕ

Мнения русских историков о татарском господстве расходятся, но почти все среди них признают большое влияние татар на историческую судьбу России. Только один крупный историк С. М. Соловьев сильно умаляет это влияние на внутренний строй Руси. Он говорит о татарском иге как бы мимоходом и считает его продолжением давнего господства над Русью кочевых азиатских народов. В первом томе своей «Истории России» он даже готов поставить знак равенства между татаро-русскими и русско-половецкими отношениями. Припомним, что половцы (тюрки) еще задолго до татарского господства сталкивались с Киевской Русью, но вряд ли русские чему-нибудь у них научились, разве что балетному искусству. С другой стороны нельзя отрицать, что по крайней мере с 1238-го по 1480-ый год существовало своеобразное татарско-русское государство, хотя бы и подтачиваемое расовым и религиозным расхождением. Лишь очень немногие русские историки видят в татарском господстве только отрицательные черты. К ним принадлежит, например, Карамзин, несмотря на свое татарское происхождение. Так он утверждает, что татары задержали процесс развития Руси. По его словам, Россия, терзаемая монголами, направляла свои силы единственно на попытки сохранить свое существование и, забыв гордость народную, выучилась низким хитростям рабства. Из-за татар исчезли, по его мнению, свобода и гражданские права известные древней Руси. Некоторое огрубение нравов в покоренной татарами Руси признается и другими видными русскими историками, не отрицающими, однако, и положительные стороны татарского ига, как напр., Бестужев-Рюмин, Ключевский и Кавелин.

Так, К. Д. Кавелин пишет, что рабские привычки и уловки, если и не впервые появились во время татарского господства, то во всяком случае усилились и продолжали играть отрицательную роль в русской истории. В. О. Ключевский пошел еще дальше, утверждая, что татарское нашествие на Россию было народным бедствием, которое причинило не только материальное, но и нравственное разорение и надолго повергло русский народ в мертвенное оцепенение. Только в половине 14-го века подросло новое поколение, которое

начало отвыкать от панического страха перед татарами, и появились духовные вожди, как святой Сергий Радонежский, которые помогли русским преодолеть «народную робость». Всё же Кавелин и Ключевский отмечали и некоторые положительные последствия татарского ига. Так, например, Кавелин допускал, что татары усилили власть Московского Великого Князя и создали видимый центр политического единства. Князь этот стал орудием ханской воли в отношении других князей и имел в своем распоряжении монгольские карательные отряды против ослушников. Этим путем татары разрушили удельную систему и тем помогли объединению Руси. В том же духе высказались Ключевский, С. Ф. Платонов и Костомаров. В частности, Ключевский писал, что без татар феодальные князья из Варяжской династии Рюрика разнесли бы Русь на лоскутья. Власть златоордынского хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие потомки Всеволода III умели запутывать дела своей семьи.

По мнению П. Б. Струве, кочевые татары смогли оказать быстрое и сильное влияние на русских, ибо между ними было нечто общее. И те и другие жили в аристократическом социальном строе, имея некие демократические учреждения, как «вече» и «курултай». Все же аристократические черты были ярче выражены у татар, ибо в курултае участвовали только высшая знать и руководящий слой армии. При господстве татар образовались протекторат хана и вассалитет русских князей. Русские быстро признали татарского хана царем (цезарем), ибо он оставил на свободе местную власть.

Ту же мысль выразил историк 18-го века Болтин, когда утверждал, что татарское господство было не столь подавляющим, как, например, завоевания римлян, ибо татары наложили дань, оставили в городах гарнизоны и сборщиков дани, но администрации, религии и прочей культуры не трогали. Даже Владимирский епископ Серапион в конце 13-го века признавал, что татары хорошо относятся к русскому православному духовенству. Многие русские историки считают, что отрицательными последствиями татарского ига было разобщение «восточной» (Суздальской и Рязанской) Руси с Русью Новгородской и Литовской. Всё же будущее могучее Московское государство было воспитанником Золотой Орды, воспринявшим у нее самодержавную монархию, денежный счет и организацию транспорта. На это правильно указывали Костомаров, Бестужев-Рюмин, Платонов, В. И. Сергеевич и его ученик П. Б. Струве. Терминология русского народного хозяйства восходит часто к татарам: деньги (слово это происходит от имени Чингиса или «Дженгиса»), таможня, базар, магазин, ямщик, лошадь, чертог, сундук и т. д.

Некоторые видные русские историки нашего времени видят много положительного в периоде татарского господства над Русью.

Особенно радикальным в этом отношении был один из лидеров евразийского движения пражский профессор П. Н. Савицкий. Так он писал в 1935 году: «когда Русь Киевская внутренно разлагалась, она имела счастье попасть под татар. Запад взял бы ее душу, Иран заразил бы экзальтацией, а татары, не тронув ее сущности, дали Руси навык могущества и дисциплины. Через Александра Невского татары спасли Россию от латинства и кроме того внесли в русскую душу монгольское ощущение континента». В другом месте Савицкий, в согласии с известным русским ориенталистом В. В. Бартольдом, указывает, что татары дали России культурное общение с Азией, имевшее благотворное влияние. До сих пор в Поволжье имеются остатки татарских домов с облицовкой мрамором и изразцами, с водопроводом и т. д. Всё это было создано татарами еще в 13 и 14 веках. Также князь Н. С. Трубецкой подчеркивает, что татары учили русских, ибо как тюрки, они любили «стройность схемы и душевное равновесие в смысле долготерпения». Вряд ли приходится отрицать, что тактика долгого отступления, сопряженная с депортацией населения и уничтожением материальных ценностей, успешно применявшаяся русскими в борьбе с Наполеоном и Гитлером, была воспринята ими главным образом от крымских татар.

Известный историк Г. В. Вернадский писал в 1927 году, что монголы (татары) дали плоть русскому государству, а не «строй идей», как Византия. Татарское завоевание Руси положило предел раздору и дало победу степи над лесом. Иными словами, русским княжествам не нужно было впредь бороться с кочевниками степи. Хотя русский народ раскололся между татарами и Литвой и разделился в культурном отношении, господство татар было важнейшим фактором и некоторое время вне Монгольской Империи были лишь Прикарпатская (венгерская) Русь и часть полоцкой земли. Кроме того, во второй половине 13 века и отчасти в 14 веке южные славяне (сербы, болгары) и Русь находились в составе одной империи. Татарское господство открыло для русских весь юг, юго-восток и отчасти юго-запад. С другой стороны попытки западно-русских князей вести борьбу против татар, опираясь на союзников с запада, привели к тому, что западно-русские земли попали в полное подчинение к литовцам, полякам, венграм и румынам. В 1240-1245 гг. Александр Невский отразил нашествие шведов, немцев и литовцев, пользуясь поддержкой Золотой Орды.

Татарское господство помогло в диалектическом смысле возвеличению Руси, ибо много позже Московский Великий князь Василий II, правивший в 15 веке, стал систематически пользоваться фактически наемными татарскими войсками, одаривая татарских князей русскими городами и волостями. Политика эта продолжалась еще некоторое время даже при Иване Грозном. Массовый прием та-

тар на русскую службу подготовил падение некогда могучей Золотой Орды. Основанное Москвой в половине 15-го века вассальное татарское Касимовское царство продолжало существовать еще тогда, когда исконные русские государства Новгород, Тверь, Рязань уже были ею ликвидированы. Это, однако, означало постепенное реальное покорение татар Русью.

Интересно отметить, что и известный украинский историк М. С. Грушевский находил положительные элементы в татарском иге. Так, он отвергал польскую теорию об уничтожении татарами украинского населения и сплошной колонизации страны поляками. Грушевский утверждал, что татарское нашествие вызвало уничтожение или эмиграцию только знатных и богатых людей, тогда как крестьяне охотно сдавались татарам и соглашались платить дань продуктами при условии, что они могут управляться выборными старшинами. Якобы еще Батый признал на Украине ряд свободных городов, согласившихся платить ему ежегодную дань. Также русский историк Ф. К. Волков, писавший в 1914 году, подтверждает, что татары по воле местного населения уничтожили в районе Киева и Переяслава своеобразный феодализм, изгнав аристократию на север или в Галицию. Только в Черниговской земле этот строй якобы остался, но и там измельчал. Даже энергичный западник князь Даниил Галицкий и Волынский был обуздан татарской силой.

По мнению видного советского историка М. Н. Покровского, занимавшего руководящее положение при Ленине, татары представляли собой прогрессивную силу, закончившую одним ударом процесс разложения городской Руси X-XII веков, в пользу Руси деревенской, постепенно подчинившейся Москве. Кроме того, татары впервые организовали на Руси (даже включая Новгород) правильную раскладку податей, которая на много веков пережила их господство. При этом они уравняли город и село в платежах дани. Покровский в согласии с некоторыми дореволюционными русскими историками, как В. И. Сергеевич и П. Б. Струве, подчеркивал, что князья, православная церковь и имущие элементы населения сравнительно легко примирились с господством хана Золотой Орды. В частности, он отмечал, что свирепый златоордынский Хан Бердибек писал в 1357 году московскому митрополиту Алексею, что татары всё время дают привилегированное положение русской церкви из-за того, что она молится за них. Современный крупнейший татаровед советской России, профессор Б. Д. Греков, придает меньшее значение влиянию татар на судьбы России, чем Покровский, но всё же признает, что они оставили значительный след на бытовой стороне русской жизни.

В заключение следует отметить, что многие крупные представители русской культуры были татарского происхождения, как

напр., богослов С. Н. Булгаков, философ Н. А. Бердяев, историк Карамзин, экономист М. И. Туган-Барановский, Г. Р. Державин, И. С. Тургенев и другие.

Проф. Б. С. Ижболдин

О БЮЛЛЕТЕНЕ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

(Письмо в редакцию)

Как скромно ни расценивать силы и значение русской зарубежной печати, она в целом представляет исключительную культурную и политическую ценность. Прежде всего она почти одна говорит миру ту правду, которой не могут сказать люди по ту сторону железного, а сейчас и бамбукового занавеса. Она одна упорно твердит, что советская власть — это не русский народ и не его представители, чего до сих пор не усвоили иностранцы, их пресса и их государственные деятели. Она, в общей совокупности, дает богатейший фактический материал, ускользающий от внимания иностранной печати. Она систематически раскрывает коммунистическую ложь и дает критическую оценку жизни в Советском Союзе и других коммунистических государствах. Дает она также наиболее полную и глубокую оценку советской и иной коммунистической прессы и литературы. То-есть делает то, чего не может в такой мере делать иностранная пресса. Умудренная отсутствующим у иностранцев личным опытом, она подмечает не только в странах советского блока, но и в странах свободного мира многое, чего не видят иностранцы. Делает она и, увы, слишком часто оправдывающиеся предсказания, равно как опубликовывает предостережения, которые, будь они учтены во-время, может быть, могли бы предотвратить много непоправимых ошибок.

К сожалению, этот богатый материал, за небольшими исключениями, погибает без пользы для иностранцев. Затрачиваемый на него громадный труд в его ценной для информации свободного мира части слишком часто производится впустую. Для самих русских многое из него даже менее нужно и важно, так как главное и наиболее существенное они знают и без этого. Для иностранцев же, которым он давал бы новое и ценное, он в общем остается неизвестным, потому что русских зарубежных газет, журналов и книг они, за редкими исключениями, не читают.

Иностранный мир в последнее время тщательно следит за советской прессой и специальной литературой. Для этого имеются целые кадры официальных и частных переводчиков. В Нью Йорке издается

специальный журнал с очень высокой подписною платой «The Current Digest of the Soviet Press», в котором даются переводы статей из «Правды», «Известий» и других советских газет. Но печатающееся в зарубежных русских газетах, журналах и книгах очень часто остается вне поля зрения иностранной печати, правительственных учреждений и широкой читающей публики.

Поэтому невольно возникает мысль о настоятельной необходимости создать свой «Current Digest», т. е. «Бюллетень русской зарубежной печати». Одно время в Нью Йорке была сделана попытка издания аналогичных обзоров. Но, помимо слишком узкого и одностороннего подбора реферируемых изданий, эти обзоры все же издавались на русском языке, т. е. варились в собственном соку и издавались для тех, кто в них очень мало нуждался. Естественно, что сделанная попытка успехом не увенчалась.

Тот же «Бюллетень», о котором говорим мы, должен был бы: 1) по соглашению с соответствующими издательствами, а в известных случаях и с авторами, возможно широко обнимать некоммунистическую русскую зарубежную печать; 2) сообщать обо всем более или менее оригинальном и ценном, появляющемся в ней; 3) излагать основное содержание статей весьма кратко, часто в нескольких строках, реже заметкой в половину или одну страницу; столь же кратки должны быть отзывы о новых книгах; 4) выходить по возможности еженедельно; и, самое главное, 5) он должен был бы издаваться на иностранном языке. Начать надо было бы с английского издания, а когда оно окрепнет, перейти к параллельным изданиям того же «Бюллетеня» на других иностранных языках.

Мы глубоко убеждены, что очень большое число иностранных газет и журналов, университетов, библиотек, институтов и правительственных учреждений подписалось бы на такой бюллетень. Это дало бы возможность покрывать расходы не только по печатанию, но и по оплате сотрудников для подбора материала, составления рефератов и перевода их на иностраные языки. Если бы не нашлось какой-либо значительной русской организации, которая смогла бы вначале финансировать издание, то, думается, что ряд русских газет и издательств, книготорговцев, общественных организаций и частных лиц могли бы внести небольшие паи, создав этим путем издательский кооператив с необходимым начальным капиталом. Это было бы даже лучше, так как собственный кооператив сделал бы «Бюллетень» более независимым. Образование такого кооператива тем более осуществимо, что именно русские газеты и журналы, равно как и пишущие в них авторы заинтересованы в том, чтобы написанное и напечатанное ими быстро становилось известным, помимо русских читателей, также и иностранному миру. К тому же

«Бюллетень» не только ни в какой мере не уменьшил бы подписки иностранцев на отдельные русские издания, но, наоборот, создавал бы им рекламу и этим усиливал бы внимание к ним иностранцев.

Мы не верим, чтобы при понимании важности указанного «Бюллетеня» у массы русской политической эмиграции не нашлось достаточно предприимчивости и организаторских способностей для создания полноценного бюллетеня ее печати.

Некоторые указания для структуры «Бюллетеня» может, mutatis mutandis, дать приводимый в издающемся в Генуе журнале «Economia Internazionale» — «Bollettino bibliografico ed emerografico di economia internazionale». Этот бюллетень дает: 1) краткие рецензии на некоторые новые книги, 2) сообщения в несколько строк о содержании других новых книг, 3) краткое изложение содержания выходящих периодических изданий и 4) краткое изложение содержания наиболее интересных журнальных статей. Конечно, этот экономический журнал, издаваемый «Институтом Международной Экономики», касается только экономической литературы. Но интересно, что, отмечая в своем бюллетене многие советские книги и журналы, он совершенно не осведомлен о русской зарубежной экономической литературе. Это является еще одним указанием на необходимость издания собственного «Бюллетеня».

Александр Билимович

БИБЛИОГРАФИЯ

ANDRZEJ WALICKI, Osobowość a historia. Warsaw, 1959.

В пяти статьях этой книги, молодой польский историк, Андрей Валицкий, рассматривает различные толкования вопроса об отношении личности к истории и природе у представителей русской мысли 19-го века. В трех статьях наибольшее внимание уделяется Белинскому. Валицкий считает его выдающимся представителем русской мысли. Автор не только заимствует у Белинского некоторые из его идей (так, например, идею о совместимости индивидуализма с историзмом), но пользуется и подходом Белинского к этим идеям.

В первой статье, озаглавленной «Славянофилы и западники», Валицкий высказывает мнение, что эти течения при всех своих внешних расхождениях были объединены одной общей преобладающей идеей — понятием историзма. Расхождение же их в значительной мере объясняется тем, что при построении их философии истории они исходили из разных источников. Славянофилы, последователи Шеллинга придавали особое значение «стихийности». Западники же, последователи Гегеля, приписывали главную роль «разуму». Это различие во взглядах сказалось, между прочим, в особом толковании ими проблемы национальности:

«Представители консервативного романтизма, т. е. славянофилы, рассматривали национальность как нечто, передаваемое по традиции, в убеждении, что наивысшего развития национальность достигла в прошлом, а поэтому это прошлое надо беречь и охранять. Белинский же считал, что период наивысшего развития национальности совпадал с его временем. Далее, консервативные романтики рассматривали исторический процесс, как «первичную иррациональность». Для Белинского же история начинается только с диалектического отрицания природной непосредственности. По мнению славянофилов, реформы Петра I вели к денационализации России. Белинский же считал, что только после Петра, т. е. после создания современного российского государства стала существовать русская нация в строгом смысле этого слова» (стр. 88-89). Согласно автору, особое увлечение историзмом совпадает с царствованием Николая I-го и заметно ослабевает во второй половине века.

Тема единства в многообразии рассматривается автором и во второй статье, названной, как и вся книга, «Личность и история». Здесь автор доказывает отсутствие глубокого различия между славянофилами и западниками в их понимании роли личности в истории, поскольку те и другие одинаково отвергали идею о власти истории над человеком. Валицкий передает довольно известный рассказ об отходе Белинского, Герцена и Бакунина от исторического фатализма, но тут же весьма интересно сближает Лаврова с Белинским. Часто осуждаемый «субъективный метод» Лаврова, по мнению Валицкого, есть прямое развитие философии истории Белинского. Как и Белинский, Лавров восставал против «фатализма исторического процесса», который может быть преодолен — «посредством специфической этики, основанной на вере в то, что человек имеет право и обязанность судить об исторических событиях с моральной точки зрения. Исторический процесс, от которого выигрывает меньшинство, не может оправдывать страдания масс» (стр. 173).

Обращаясь к более ранним славянофилам и Аполлону Григорьеву, Валицкий находит ту же тенденцию и у них, хотя и иначе мотивированную. Если радикалы, левые, боролись против «исторического фатализма» во имя субъективизма, консерваторы отвергали его во имя крайнего индивидуализма.

В третьей статье автор рассматривает вопрос, был ли Белинский действительно таким антиромантиком, каким его обычно изображают. Автор высказывает предположение, что репутация Белинского, как бескомпромиссного противника романтизма, объясняется тем, что Белинский употреблял термин «романтизм» в более узком смысле, чем это принято до сих пор на Западе. Он применял этот термин к писателям и тем литературным течениям, которые изолировали себя от богатства и разнообразия жизни. Главными объектами его антиромантической критики были не Пушкин и Лермонтов, а Жуковский, Бестужев, Кукольник, Бенедиктов. В понимании Белинского романтизм в России не существовал, так как в России не было средневековья в западном смысле.

В двух последних статьях Валицкий рассматривает пессимистический подход к проблеме о роли личности в истории, и как философские образцы берет Тургенева и отрицательных героев Достоевского. При этом автор пытается установить связь между Тургеневым и Шопенгауэром. Признавая, что Тургенев только изредка прямо упоминает немецкого философа, автор всё же находит поразительную аналогию в их мыслях. В частности, влиянию Шопенгауэра он приписывает то, что Тургеневым всецело владела мысль о противоречии между «природой» и «рефлексией». А также и его убеждение в том, что наличие сознания увеличивает страдания человека, и

что освобождение от горестей жизни достигается только бегством от «рефлексии» и в конечном счете от самой жизни. По мнению автора, влияние Шопенгауэра наиболее явно в тургеневских очерках о Дон Кихоте и Гамлете, а также в Senilia.

Последняя статья этой книги представляется, может быть, наименее оригинальной. В ней автор анализирует борьбу Достоевского против тех идей, которые он сам разделял в молодости, против идей Фейербаха, Штирнера, Белинского и Бакунина. Достоевский восстает также и против понятия о безграничной свободе воли человека, как средства утверждения человеческой индивидуальности.

Все статьи этой книги написаны живо, интересно, и обнаруживают значительную эрудицию автора. Он, повидимому, хорошо знает всю соответствующую литературу, издававшуюся в России, как до, так и после революции, а также многое из западной литературы. С одинаковой легкостью он оперирует цитатами из г-жи де Сталь, Карла Мангейма и В. В. Зеньковского. Некоторые части книги написаны поразительно хорошо. Есть и новые, убедительные мысли (например, анализ исторических и философских основ славянофильства). Интересное освещение дает автор и некоторым темам, которые до него, в начале столетия, были намечены Ивановым Разумником в его «Истории русской общественной мысли». Часто эти темы казались современникам более важными, чем позже возникавшие вопросы «социализма» и «России и Запада». Своей книгой А. Валицкий создает себе репутацию одного из наиболее многообещающих исследователей истории русской мысли.

Но нельзя не сказать и о некоторых серьезных погрешностях, преимущественно методологического характера. Может быть самой слабой стороной книги является именно отсутствие историчности. А. Валицкий склонен рассматривать идеи скорее абстрактно и только случайно и поверхностно он касается социальных и политических условий, в которых эти идеи создавались (и если это делает, то только с точки зрения марксизма). Он никогда не пытается серьезно установить связь между идеями и окружавшим их историческим и психологическим фоном. В результате его анализ характеризуется больше яркостью, чем обоснованностью. Он преувеличенно стремится находить зависимость, влияние и общность тематики у различных мыслителей, тогда как при более внимательном рассмотрении у них оказывается меньше общего, чем он хотел бы показать, и их, конечно, разделяет совершенно разная историческая обстановка.

Некоторые из приводимых автором связей кажутся нам убедительными, другие — сомнительными. Аналогии, отмеченные им, часто совсем малозначущи, тогда как оставленные им без рассмотре-

ния различия очень существенны. Не вполне убедительны его рассуждения о взаимосвязи славянофилов и западников, Герцена и Григорьева, Белинского и Лаврова, Шопенгауэра и Тургенева. Этот недостаток, возможно, объясняется желанием автора использовать чисто исторический материал не столько для реконструкции картины прошлого, сколько для извлечения из него философских утверждений. Но во многих отношениях это замечательная книга, замечательная тем, что автор ее несомненно обладает большой эрудицией, способностью проникновения в сущность вопроса и блестящего философского обобщения. Притом эта книга рисует нам и личность автора и его окружение, и дает материал на его тему.

Ричард Пайпс

«ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ». Выпуск 2-й. Альманах под редакцией Р. Н. Гринберга. Нью-Йорк. 1961.

Редактор-издатель «Воздушных Путей» Р. Н. Гринберг делает нужное дело. Благодаря его усилиям, до нас дошли последние произведения двух замечательных русских поэтов, голоса которых власть старалась заглушить. В первом выпуске «Воздушных Путей» была впервые напечатана полностью «Поэма без героя» Анны Ахматовой. (Редакция отмечала, что поэма печатается без разрешения автора). Во втором, недавно вышедшем выпуске, напечатано больше пятидесяти неизданных стихотворений Осипа Мандельштама, в большинстве написанных им в Воронеже, где он жил в ссылке.

Что сказать об этих стихотворениях? Их нельзя читать без волнения. Я вполне согласен с тем, что пишет в «Воздушных Путях» Владимир Вейдле: «Самое страшное в воронежских стихах — да уже и в некоторых до-воронежских — это что в них угадывается мука, переходящая за пределы той, которая может быть выражена в искусстве... Само качество, сама высота этого дара остались прежними... Однако, признаки всё же налицо, что раны были под конец нанесены, не только самому поэту, но и его дару, его стихам». Вся прекрасная статья Вейдле проникнута глубоким сочувствием к замученному поэту и праведным гневом против его мучителей.

О Мандельштаме в «Воздушных Путях» еще две статьи — Георгия Адамовича и Юлия Марголина. Адамович, как никто из теперешних русских литературных критиков умеет приоткрыть читателю глубокое значение поэтических произведений, ускользающее от технического или историко-социологического анализа. В статье в «Воздушных Путях» он дает и лучшее, по моему, определение поэзии Мандельштама и лучшее определение поэзии вообще. Он пи-

шет: «Это действительно — «высокое косноязычие», по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить? Едва ли. Иногда случается думать, что человеческая душа была бы бёднее, если бы не отзывалась она на то, что скорей смутно и сладостно ей что-то напоминает, чем ее чему-либо учит или что-то ей рассказывает. В конце концов это — «звуки небес», «по небу полуночи»: не объяснение, конечно, но верный ключ к тому, что такое поэзия...»

Повторяю, по моему, это лучшее из вспоминающихся мне определений поэзии, но с одной оговоркой, — это определение не должно предполагать гностических выводов. Это было бы особенно неверно по отношению к Мандельштаму. Он был певец не только «смертного часа», но и человеческого дела на земле, — пути человека от инстинктов темного зверя к созданию империй, цивилизаций, храмов, совершенных произведений искусства. «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». В этом Мандельштам гораздо ближе к Пушкину, чем Блок. И здесь я перестаю следовать за Адамовичем. Когда он пишет, — Блок так же, как Пушкин «судьба и лицо России» и «один в наш век Пушкину противостоит и до известной степени ему отвечает и его продолжает», — я не могу понять на чем основаны эти утверждения? В том литературном кругу, к которому Адамович принадлежал в Петербурге, повидимому, не было сомнений, что «Блок — второй вслед за Пушкиным корифей русской поэзии», но трудно представить, что с этим согласятся последующие поколения.

Зато я совершенно разделяю мнение Адамовича о прозе Мандельштама. Она неизмеримо слабее его стихов. Но вряд ли это потому, что Мандельштам, как это думает Адамович, поддался моде двадцатых годов, «когда считалось, что метафорическая образность есть основное условие художественности». Ведь и стихи Мандельштама полны метафор, сравнений и образов, и притом самых смелых, неожиданных, иногда почти загадочных, но которые воссоздают описываемое с волшебной изобразительной силой. Мне думается, Адамович тут неправ. Вообще не совсем понятно раздражение, с каким он всё продолжает воевать с этой модой двадцатых годов на метафоры. Ведь сегодня, во всяком случае во французском романе, царит прямо противоположная мода, требующая полного отказа от метафор. Что же пишут ли писатели этой новой школы непременно лучше, чем прежние писатели, которые в простоте пользовались метафорами? Общего ответа тут, конечно, быть не может. Всегда были хорошие и плохие писатели, писавшие с метафорами, так же как всегда были хорошие и плохие писатели, писавшие, поскольку это возможно, без метафор. Никаких академических правил к литературе лучше не предъявлять. Кстати, в статье самого Адамовича метафоры

на каждом шагу, и даже слова «звуки небес», которые он так любит приводить, — это тоже метафора.

В задушевной и взволнованной статье Юлий Марголин пишет о Мандельштаме, как о поэте еврейского происхождения, но от еврейства ушедшем.

Во второй части «Воздушных Путей» напечатан новый вариант «Поэмы без героя» А. Ахматовой. Можно только поблагодарить редакцию за стремление дать наиболее полный и окончательный текст этой замечательной поэмы. Так же, как первый, этот вариант печатается без разрешения автора. Затем напечатаны ноты музыки Артура Лурье к «Поэме без героя» и заметки об этой поэме Бориса Филиппова.

Наконец, третья часть. Два стихотворения Владимира Набокова. Первое интересно, но второе, видимо шуточное, оставляет неприятное впечатление. В нем вдруг прорвалась такая наивная мегаломания, какой в русской поэзии не было, кажется, со времен Игоря Северянина. Затем идут очень интересные фрагменты Артура Лурье «Чешуя в неводе». Это мысли о религии и музыке, заметки и воспоминания, написанные с большой живостью. Можно только пожалеть, что автор так редко печатается в русских изданиях.

Владимир Марков в статье «О свободе в поэзии» старается показать на примерах, что такое поэтическая свобода. Статья интересна и написана не без блеска учености. Однако, автор может быть слишком увлекается разбором механизма стиха. Такой разбор, как бы его не углублять, никогда не приближает к пониманию той внутренней мелодии жизни, из которой поэзия рождается.

В статье «Из незаконченных споров» Николай Ульянов очень верно, на мой взгляд, возражает формалистам и очень интересно пишет о влиянии Руссо на Толстого. Ульянов приводит слова самого Толстого, что в его жизни было два благотворных влияния — Руссо и Евангелие. Но было ли влияние Руссо на Толстого действительно благотворным? Спор об этом не только не закончен, но даже по-настоящему не начат.

В альманахе напечатаны еще стихи Николая Юнга и отрывки из неоконченной рукописи Льва Шестова о Тургеневе. В короткой заметке всего не коснешься. Общее впечатление от второго выпуска «Воздушных Путей»: Мандельштам и Ахматова, конечно, всё затмевают, но в этой заочной встрече с поэтами, оставшимися там, зарубежная литература оказалась представленной вполне достойно.

Вл. Варшавский

ALEKSIS RANNIT. *Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis.* Aus dem estnischen uebertragen von Ants Oras. Woldemar Klein Verlag. Baden-Baden, 1961.

Недавно в Германии вышел, отлично изданный, сборник стихотворений эстонского поэта Алексиса Раннита. Выбор стихов, вступительная статья и большинство переводов принадлежат эстонцу — Антсу Орасу, профессору университета в Гейнесвиле (Флорида). Антс Орас, ординарный профессор английской литературы названного университета, — не только автор солидных трудов по истории литературы шекспировского периода, но и большой авторитет в области эстонской поэтики. Антс Орас известен, как переводчик со многих и на многие языки. Кстати, специалисты считают, что лучшие переводы на английский стихов Б. Пастернака сделаны именно им. Переводы Ораса иногда вариации — "Umdichtung", претворение — но они всегда воспринимаются, как живая поэзия.

Больше 20 лет тому назад по-русски вышли два томика стихов Алексиса Раннита, в переводе Игоря Северянина: «В оконном переплете» (1938) и «Via dolorosa» (1940). Алексис Раннит — видный представитель среднего поколения эстонских писателей (род. в 1914 г.), эмигрировавших в 1944 году. У Раннита свой строго очерченный поэтический профиль. Он живет в замкнутом мире своих интеллектуально окрашенных переживаний, темы его незаурядны и стиль своеобразен. Его характеризуют — дисциплина формы, свежесть метафор и сравнений; ничего случайного, несущественного. Как поэт, он держится в стороне от общего русла, несколько напоминая этим немецкого поэта Стефана Георге. С другой стороны, будучи членом и одним из основателей Association Internationale des Critiques d'Art, он посвящает много энергии интерпретации и пропаганде искусства. Первоклассные европейские художественные журналы помещают его статьи — о Чюрлионисе, о литовских выдающихся художниках, В. К. Ионинасе и Витаутасе Касюлисе, а также об общих проблемах нового искусства. Но больше всего внимания Раннит посвятил крупному эстонскому графику-виртуозу Эдуарду Вийральту, устраивая выставки его гравюр в Литве, Германии, Австрии, США, и читая о нем публичные лекции. Кстати, Вийральт († 1954) прожил большую часть своей творческой жизни в Париже; к этому периоду относятся его иллюстрации к «Гаврилиаде» Пушкина и его тонкий портрет — гравюра на меди — поэта.

Увлечение искусством Вийральта, изучение его творчества и дружба с ним не могли не сказаться на поэтическом стиле Раннита в годы эмиграции. Тематика многих стихов в сборнике «Рукопожатие» (1945) и «Из замкнутого простора» (1956) тесно связана с мастерством, философией, приемами работы и личностью художни-

ка. Увлечение им оказало и большое влияние на творчество самого Раннита, — что́ отмечает проф. Орас в предисловии к сборнику, бо́льшая часть которого тематически посвящена Вийральту.

А. Орас пишет: «Поль Валери говорит где-то, что вся классика опирается на предшествующую романтику — это можно отчасти отнести и к А. Ранниту: он также от лирического смятения чувств поднялся к художественной ясности». Приведем несколько наиболее характерных примеров из данного сборника: вступительное восьмистишие кончается строками (передаю в прозе): «Дюрер оформляет музыку мысли, Вийральт изображает математику души». В стихотворении, написанном на гравюру Вийральта «Пьющие абсент», есть такие строки: «В новом экстазе Агасфера — мы пьем (о, ярко-мрачная бездомность) — горечь полыни — словно свою собственную кровь». В цикле «К проясненному образу» есть стихотворение «Борис Вильде». Его тема — расстрел немцами в Париже молодого ученого и эссеиста Б. Вильде, основателя органа французского подполья "Résistance".

Стихи А. Раннита в большинстве так насыщены, что трудно поддаются переводу. Недаром проф. Орас — очень опытный переводчик — сознается, что над переводом многих стихов он трудился безуспешно. Тем более ценны прекрасные переводы проф. Ораса в данном сборнике и Лидии Алексеевой в «Новом Журнале» (№ 64).

Чтобы приблизиться к пониманию внутреннего мира поэта А. Раннита, стоит привести стихотворение, посвященное ему Игорем Северянином (в 1939 г.).

Есть чувства столь интимные, что их,
боишься их и в строках стихотворных:
так, дать ростков не смея, зрелый стих
гниет в набухших до отказа зернах.

Есть чувства столь тончайшие и столь
проникновенно-сложные, что, если
их в песнь вложить, они не столько боль,
сколь смерть вливают в слушателя песни.

И вот — в душе очерченным стихам
без письменных остаться начертаний.
И эта кара, — кара по грехам, —
одно из самых жутких наказаний.

После этого стихотворения Северянина, написанного больше 20 лет тому назад, А. Ранниту удалось во многих своих стихах дать это «письменное начертание» почти невыразимым чувствам и мыслям.

Артур Адсон

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ. *Стихи.* «Посев», 1960.

Книге стихов молодого поэта Олега Ильинского предпослана статья о них Л. Д. Ржевского, теплая и внимательная. Не споря с автором статьи, я хочу только еще раз поговорить о поэте, чьи стихи люблю с первого знакомства с ними. В них прежде всего поражает свежесть, натиск, яркость и чрезвычайная щедрость образов, — иногда даже, как будто, во вред цельности стихотворения. Поэт неравнодушен к тому, о чем говорит, — он счастлив своим присутствием в этом пестром и интересном мире, и особенно в мире «западном». К нему влечет его одухотворенная связь вечно молодой природы с человеческим прошлым Европы, страшным и пленительным. Для Ильинского характерны такие строки:

И мне ли отделять себя от этих
Церковных хроник, записей, синодиков,
И мне ли отказаться от столетий
Труда, молитвы, подвига и готики.
Еще в оврагах шли кабаньи тропы,
И граф в оленя всаживал копье,
Еще менялись контуры Европы,
А я уж знал, что это всё мое.

Всё мое. Поэт жаден. Слова, образы, сравнения приходят к нему вдохновенно и, может быть, слишком легко, и ни одним из них он не хочет пожертвовать; часто только талантливость и искренность спасают его стихи от ощущения чрезмерного изобилия. Он еще не научился быть безжалостным, сохраняя только необходимое. Он хочет сказать *всё,* он влюблен в мир, а не только его наблюдает, и он сам не знает, что ему всего дороже. Эпитет «веселый», такой непопулярный в эмигрантской поэзии, он употребляет естественно и смело («...навстречу веселым колоколам», ...«как весело сыплет стеклянным горохом», «...в холодный и веселый этот день», — я беру первые попавшиеся примеры). Пленяет его и близкое и далекое — в пространстве и во времени и в мысли. Отсюда такое разнообразие тем: «Микеланджело» и «Это сражается Будапешт», «Анакреонтический мотив» и «На сеновале», «Письмо» и «Амстердам», «Май сорок первого» и «Время Юстиниана».

Рифмы очень приблизительны, больше ассонансы, ритм с перебоями, словно поэт спешит, и ему некогда пригонять слово к слову. Но уже есть в сборнике несколько легких, прелестных стихотворений, которыми поэт «добежал» до цели, в которых ни прибавить, ни убавить нечего, а хочется только перечитывать их с благодарностью. Таковы, на мой взгляд, — «В распутицу запаздывают пись-

ма», «На сеновале», «Подарил чашку», «У огня», «Яблочное вино», «Ученый», «Коро». Одно из них — «Утро» — мне хотелось бы привести полностью:

УТРО

Присела на поваленной березе,
Присела боком. С книжкой. У воды.
В траве у корня муравьи елозят,
Мелькают тени листьев молодых.
И в свежей блузке, тронутой крахмалом,
И в небе синем вправо от ствола,
И в дереве, которое упало,
Когда еще ты девочкой была,
Сквозило утро. Пахло земляникой
И сыростью. Паук на ветке вис,
А утро преломлялось через книгу
И придавало тексту новый смысл.
Казалось, этот ветер, что по листьям
Прошел, играя тенью на лице,
Свободно входит в образы и мысли,
Дает им направление и цель.
Ушла, белея блузкой за кустами,
Исчезла в доме, промелькнув в окне,
Лишь дерево упавшее осталось
Да книга, позабытая на пне.

Желаю первому сборнику О. Ильинского привлечь к себе заслуженное внимание любителей поэзии.

Лидия Алексеева

И. А. КУРГАНОВ. *Нации СССР и русский вопрос.* Издание комитета за права и свободу России. Нью-Йорк, 1961.

Книга И. Курганова посвящена двум тесно связанным темам. Первая — это население России, как оно определилось по переписи 1959 г., с дополнениями, заимствованными из других советских источников и, поскольку это возможно, в сравнении с данными переписей 1939, 1926 и, реже, 1897 г.г. Автор рассматривает численность населения, его рост от переписи к переписи, его распределение по полу и возрасту, его размещение в городах и деревнях, а также по союзным республикам — ко времени написания книги еще не были опубликованы чрезвычайно интересные данные о приросте или убыли населе-

ния по областям. Он показывает степень грамотности и пропорцию интеллигенции (т. е. числа лиц с высшим или специальным техническим образованием), и, конечно, обращает особое внимание на распределение населения по «нациям», термин, который он довольно неудачно применяет и к тем группировкам, которые обыкновенно называются народностями или национальностями или, лучше всего, этническими группами. Его главный и при том хорошо обоснованный вывод — за полвека Россия изменилась до неузнаваемости. Она перестала быть преимущественно крестьянской страной, она стала страной почти сплошной грамотности, а прежние резкие бытовые контрасты между этническими группами стушевались, отчасти на почве индустриализации, но еще больше на почве ассимиляции между этническими группами, в результате чего русские сейчас составляют 54.8% населения против 43.5% в 1897 г. Факты изложены сжато, отчетливо и интересно. Поэтому книга Курганова полезна всякому, кто интересуется современностью и задумывается о будущем.

Вторая тема книги — это русский вопрос, т. е. вопрос, быть ли и впредь России, или же ей суждено распасться на множество государств, в том числе одно крупное, Великороссия, несколько средних, с Украиной на первом месте, и сотню мелких, отвечающих 108 «нациям» автора. Исходной точкой рассуждений является факт уменьшения культурных и бытовых различий между нациями.

Автор не утверждает, что 108 наций слились в одну, но настаивает на том, что на почве рассмотренных им процессов возникает как бы сверх-нация, объединяющая исторические нации в единое целое. Пишущий эти строки разделяет тезис автора, но считает долгом подчеркнуть, что это всё же лишь вероятная гипотеза, а не научно доказанное положение.

Русский вопрос рассматривается автором всесторонне; в частности, он излагает и убедительно опровергает распространенное на Западе убеждение, будто Россия страдала каким-то чудовищным империализмом. Он внимательно рассматривает тезис эмигрантских сепаратистов о «плененных нациях», получивший в США официальное признание согласно резолюциям конгресса от 6-го и 8-го июля 1959 г., и суммирует выступления видных русских эмигрантов (в первую очередь проф. Г. П. Чеботарева), направленные к опровержению фантастических искажений действительности, положенных в основу работы расчленителей. Он указывает на опасность включения идеи расчленения России в политическую программу США, опасность, которая реализуется в случае третьей мировой войны. Он убедительно доказывает, что русский народ в той же степени эксплоатируется коммунистической партией, как все остальные народы СССР. Его вывод — победа народов СССР над коммунизмом воз-

можна только в порядке совместной борьбы всех народов против всеобщего врага, и невозможна при неучастии русских.

Исходя из своей предпосылки о возникновении российской (или пока что советской) сверхнации, не устраняющей, однако, самобытности отдельных наций, ее составляющих, И. Курганов намечает план переустройства освобожденной России в Соединенные Штаты России, при том не исключительно по национальному, но и не исключительно по территориальному признаку. Он предлагает довольно подробный план такой реорганизации, на чисто демократических началах. Приятно отметить, что по экономическим вопросам его взгляды близки ко взглядам проф. А. Д. Билимовича, изложенным им в книге «Экономический строй освобожденной России» (см. мою статью «Вместо комментария» в предыдущей книжке «Нового Журнала»).

Н. С. Тимашев

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ И МЕДИЦИНА

Очерки по истории Первого Московского Ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова, Медгиз, 1959, 747 стр.

В результате реорганизации медицинского факультета Московского университета (в связи с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР — «О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов» от 18-го августа 1930-го года) возник так называемый Первый московский медицинский институт. Заслуги большинства его преподавателей оказались столь значительными и для коммунистической партии и для советского правительства, что институт (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11-го октября 1940-го года) был награжден орденом Ленина. Таким образом этот институт стал именоваться Первым московским ордена Ленина медицинским институтом или сокращенно — I МОЛМИ. Почему же имя И. М. Сеченова («Нестора русской физиологии», по слову И. П. Павлова) было связано с этим, и так пышным, названием — на это удовлетворительного ответа нет. Тем не менее название — «1-й Московский ордена Ленина медицинский институт имени И. М. Сеченова» — уже вошло в обиход.

В этом сборнике статьи 64-х авторов. Мы не будем их разбирать. Остановимся только на одной теме в этих очерках: на деятельности кафедры марксизма-ленинизма. Кафедра эта была организована при Первом московском медицинском институте во второй половине января 1939-го года, на основании приказа — «О поста-

новке преподавания марксизма-ленинизма в высшей школе» — Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 11-го января 1939-го года, и уже 7-го февраля того же самого года она приступила к работе. На всем протяжении своего существования кафедра марксизма-ленинизма осуществляла свою деятельность, непосредственнно подчиняясь решениям коммунистической партии. Научная деятельность этой кафедры состояла и состоит «в разработке ее сотрудниками ряда проблем марксистско-ленинской теории и в пропаганде марксистско-ленинской теории» (И. А. Пашинцев, «Кафедра марксизма-ленинизма», *Очерки...* и т. д., стр. 81). Пропаганда эта распространяется не только на студентов, но и на преподавателей Первого московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. И этим то преподавателям вышеупомянутая кафедра обязана оказывать «систематическую помощь в деле претворения в жизнь марксистско-ленинской теории, устранения непоследовательных, а порой и чуждых тенденций в педагогической и научной работе» (стр. 79). Смысл и методы этого, так сказать, попечения станут ясны в свете нижеследующих трех примеров.

Для обследования того, как отражена теория познания диалектического материализма и как ведется борьба с так называемыми идеалистическими тенденциями в преподавании физики, при участии представителей кафедры марксизма-ленинизма, была организована особая комиссия. Комиссия эта не только забраковала учебник физики профессора С. А. Арцыбашева, но и исправила его «существенные идеологические промахи». Отметим, что учебник этот являлся отличным пособием и поэтому неоднократно переиздавался. Однако же, будучи «исправленным» и переизданным в 1950-ом году, он оказался совсем непригодным для преподавания *физики* (стр. 80, 226-228; в настоящий момент подготовляется к печати 6-е издание этого учебника).

Научные труды заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии профессора М. А. Барона подверглись идеологической критике и он был обвинен в «механическом уклоне». (См. статью — «Механические взгляды в одной монографии», *Медицинский работник* от 1-го ноября 1951-го года). Его основные положения о «ведущей роли механического фактора — движение, трение органов — в генезе различных структур внутренних оболочек, в регенерации их эпителия, образовании и всасывании полостной жидкости» в итоге обсуждения сотрудниками кафедры марксизма-ленинизма были признаны «явно несостоятельными»; и Барон был уволен.

Не поздоровилось и заведующему кафедрой и клиникой психиатрии профессору М. О. Гуревичу, допустившему «целый ряд серьезных идеологических ошибок» (стр. 423-425). Ученый этот был не-

заурядным и весьма вдумчивым психиатром и на его случае следует остановиться несколько подробнее. Родившись в 1878-ом году, Михаил Осипович Гуревич окончил Московский университет в 1902-ом году. По окончании университета остался ординатором у проф. В. П. Сербского, но в 1907-ом году покинул Московскую клинику психиатрии и защитил свою диссертацию «*О нейрофибриллах*» у проф. В. М. Бехтерева в Петербурге. До 1917-го года Гуревич работал в различных психиатрических больницах, после чего стал ассистентом проф. П. Б. Ганнушкина при клинике психиатрии Московского университета. В 1923-ем году он получил профессуру в Медико-педологическом институте, а с 1930-го по 1937-ой год был профессором кафедры педиатрического факультета Второго московского медицинского института. С 1937-го по 1950-ый год Гуревич руководил кафедрой психиатрии и клиникой имени С. С. Корсакова при Первом московском ордена Ленина медицинском институте имени Сеченова, после чего «за грехи против советской науки» был отпущен. Умер он, говорят, в нищете на 75-ом году жизни, 16-го ноября 1953-го года.

Даже советские источники не могут умолчать о том, что Гуревич был крупнейшим знатоком патологической анатомии психических заболеваний, внесшим много нового в эту область. Он много и плодотворно занимался вопросами цитоархитектоники мозговой коры и выделил новую форму проявления эпилепсии, описанную им под названием *особых состояний сознания*. Важное диагностическое значение имеет описанный им окулостатический феномен. Гуревич подробно описал особую форму сосудистых заболеваний головного мозга — вазопатию. И как клиницист Гуревич был широко известен. Советские источники ставят ему в заслугу верность традициям Московской психиатрической школы — нозологическое направление, индивидуальный подход к психически больным и гуманизм.

«М. О. Гуревич обладал большим умом, богатым клиническим опытом, огромными знаниями», подчеркивает А. Н. Покровский (стр. 424). «Это был человек богатых творческих возможностей и весьма незаурядных достижений». Гуревич является со-автором «Учебника психиатрии для вузов», составленного совместно с профессором М. Я. Серейским (учебник этот вышел в пяти изданиях) и самостоятельно написанного учебника «Психиатрия».

Но, несмотря на все эти достижения, а м. б., и благодаря им, большой и неподкупный ученый Гуревич впал в немилость у таких корифеев кафедры марксизма-ленинизма, как А. С. Багдасаров и И. А. Пашинцев.

Дело в том, что Гуревич был представителем психоморфологического направления. Им была разработана самостоятельная теория

интеграции и дезинтеграции психических функций, которая — уже по своей сущности — была совершенно чужда физиологическому направлению, столь характерному для советской психиатрии. О физиологическом учении И. П. Павлова, официально признанном коммунистической партией, как «естественно-научная основа марксистско-ленинской теории отражения», Гуревич не постеснялся отозваться как об «огромной механической опасности». По мнению Гуревича, павловское учение применимо только для строго ограниченного круга низших явлений психопатологии и поэтому для объяснения сущности высших психических — специфически-человеческих — функций это учение недостаточно и больше того непригодно. Таким образом квалификация философского содержания теории Гуревича была явно несовместима с тем решением основного вопроса философии об отношении мышления к бытию, которое дается диалектическим материализмом. Это положение было высказано ученым, пользовавшимся незаурядным авторитетом и его слова были услышаны слишком многими. Именно тогда кафедра марксизма-ленинизма и отрешила Гуревича от дел и заставила его замолчать.

Тут следует отметить, что то, что в СССР официально именуется «павловским учением», вовсе не является учением самого И. П. Павлова. После его смерти его теории были изменены, сделаны воинственно-материалистическими и приспособлены к учениям Маркса, Энгельса и их приспешников. В свете этого дальнейшие комментарии излишни.

Юрий Арбатский

ИГОРЬ ЧИННОВ. ЛИНИИ. Вторая книга стихов. Издательство «Рифма». 1961.

Если когда-нибудь настанет время (а оно несомненно когда-нибудь настанет) соединения двух русских литератур (о чем в своей статье «Похороны Блока» говорит В. Вейдле), то русская зарубежная поэзия может оказаться наиболее сильной частью литературы русских эмигрантов. Сейчас нам трудно это почувствовать, мы слишком еще близки к своей литературе, чтоб это увидеть. Но мне все-таки кажется, что именно наша поэзия много даст будущей общей русской литературе. И, может-быть, примерно лет так через сто, будущий российский Айхенвальд или Иванов Разумник об этом напишут. Для наших поэтов утешение небольшое, но все же несомненное.

В зарубежной поэзии у Игоря Чиннова уже давно есть свое место. Выступил он поздно, уже после исчезновения всех «парижских

нот», после смерти и корифеев зарубежной поэзии и многих талантливых зарубежных поэтов. Но именно поэтому вступление Чиннова в зарубежную поэзию и радостно, так как ряды ее заметно поредели. Наша поэзия хорошо пополнилась после войны: Анстей, Алексеева, Елагин, Ильинский, Кленовский, Моршен и другие. Чиннов выступил одновременно с ними. Но всей тональностью своей поэзии он связан с иным миром и с иными именами. В поэзии Чиннова напрасно было бы искать отзвуки Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Маяковского, Пастернака. Но в ней — несмотря на ее «лица необщее выраженье» — вы часто расслышите смутные отзвуки Анненского, Кузмина, Георгия Иванова.

В этих прозрачных и легких стихах, каких-то вот-вот готовых улететь от вас при чтении, есть своя тонкая чинновская мелодичность и своя ясная камерная музыка:

Палочка мерно взлетает:
Музыка, стройно звени!
Нотные звуки не знают
Что́ означают они.
В линиях нотной страницы
Ты, и другие, и я.
Только — недолго продлится
Нежная нота твоя...

В «Линиях» Игоря Чиннова много формальных достоинств. Но кто-то где-то, кажется, Георгий Иванов, писал, что когда в беседе с А. Блоком он заговорил с ним о цезуре в его стихах, то вдруг увидел непонятно-смущенное лицо Блока, и догадался, что Блок даже не знает, что такое цезура. Я думаю, что это все-таки, конечно, анекдот. Но анекдот неплохой. Поэтому я и не предполагаю подвергать вивисекции прекрасную музу Чиннова, подсчитывая хореи, амфибрахии, отмечая пиррихии, спондеи, пеаны и удачные «анжамбеман». Все это, разумеется, интересно и, разумеется, нужно. Но я уверен, что этим когда-нибудь займется какой-нибудь молодой ученый-славист для своей докторской диссертации. Не будем предупреждать его старанья. А вот что я хочу, так это — отметить своеобразную тематическую ноту поэзии Чиннова, что делает ее и очень современной и непохожей ни на чью ни тут и на «там». Эту тему Чиннова я определил бы, как застигнутость поэта сегодняшней атомной ночью.

Чем-то страшным, тюремно-больничным
Пахнет, друг, мирозданье.
Что же делать, раз так безразличны
Богу наши страданья.

...Или небо вечернее, цвета
Бирюзы, сквозь березы —
Это все же обрывок ответа
На молитвы и слезы?

. . . . . .
. . . . . .

«Если завтра война»... Накануне войны,
Накануне беды и тоски
Поглядим на сиянье волны
И на трепет звезды...

. . . . . .
. . . . . .

Все-таки есть новинки на свете:
Дождь пролетел, тускнея тоскливо —
Сколько принес он атомной гари?
Дымный закат — как зарево взрыва
(Взрыва в Сибири? Взрыва в Сахаре?)

Как поэт Игорь Чиннов владеет высоким мастерством, органически связанным с темой его мироощущения. Я уверен, что даже наш самый строгий критик поэзии, Н. Н. Берберова, найдет, что в поэзии Чиннова всё в порядке — и мелопея, и фанопея, и логопея. Дабы любитель поэзии мог в этом убедиться, отметим хотя бы такие прекрасные стихотворения, как «К луне стремится обрываясь», «Острый угол подушки», «Что-то вроде России», «Ты опять возмущался», «Станет вновь светло, станет вновь темно», да и многие другие.

Роман Гуль

Л. РЖЕВСКИЙ. ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ. Оптимистическая повесть. Изд-во «Посев». Франкфурт. 1961.

Я думаю, что нашу зарубежную прозу (а тем самым и русскую литературу) можно поздравить с появлением интересного писателя. Я говорю о Леониде Денисовиче Ржевском. По-моему, такое «поздравление» подтверждается и рассказом «Через пролив» (в этой книге «Нового Журнала»), и недавно вышедшей книгой «Двое на камне», а особенно последней вещью Ржевского — повестью «Показавшему нам свет». Все эти произведения Ржевского убеждают читателя, что с ним разговаривает настоящей художник, оригинальный и талантливый.

Знаю, что не всякому понравится и стиль и язык Ржевского. У него несомненна некая вычурность, искусственность, он необыкновенно любит пресловутое «обнажение приема», есть некая нарочи-

тость в построении вещей, есть свой синтаксис, с которым не всегда согласишься, множество «своих» слов, иногда метких, а иногда, пожалуй, и неприятных. И все же, если даже все перечисленное заставляет читателя сопротивляться писателю Ржевскому, то этот читатель все-таки под конец будет увлечен Ржевским, его всегда интересной темой, общим потоком его повествования, умом и художественной мерой. В отзыве об этой повести Ф. А. Степун («Мосты» № 7), говоря о формальной стороне прозы Ржевского, указывал, что если она ему кого и напоминает, то Андрея Белого. Я позволю себе с Ф. А. не согласиться. Мне думается, у Ржевского нет и следа механически-ритмической прозы Белого. Мне Ржевский кой-чем напоминает других писателей: раннего Бориса Пильняка, времен «Голого Года» (сравни пореволюционные помещичьи сцены в повести Ржевского) и может быть иногда формальными приемами — В. Набокова. Но у Набокова почти всегда, в сущности, нет темы, что он и заменяет акробатикой и эквилибристикой. У Ржевского же во всех его последних вещах большая человеческая тема всегда налицо и он разрешает ее часто неожиданно и всегда умно. Поэтому-то вещи Ржевского и не оставляют ощущения пустоты и ненужности. Их держит тема. И Ржевский прекрасно понимает, что «искусство не складывается из совокупности приемов мастерства, которыми располагают многие, но — из какого-то сверхмастерства».

В одном из авторских отступлений (которых в этой повести довольно много и общему ее развитию они отнюдь не мешают) Ржевский пишет об этой своей вещи, что широкому читателю она, как ему кажется, — не подойдет. «Массоголовый читатель ждет приключений, — пишет он, — либо эротической щекотки. Ему бы роман о каком-нибудь сорокалетнем развратнике, который влюбляется, скажем, в новорожденную девочку, зачисляя ее себе авансом в любовницы, как зачисляли при рождении в сержанты принцев крови. Затем — следит за ее формированием со всевозможной живописной сексуальностью; в пять лет ею овладевает; в семь она изменяет ему с каким-нибудь школьником, которого он тщится погубить, гоняясь за ним в местных джунглях и, наконец вешает на лиане или на бельевой веревке украденной с чердака. Вот чтиво...» Но в своей естественной скромности Ржевский, по-моему, не прав. Повторяю, несмотря на ее формальную затрудненность, повесть «Показавшему нам свет», на мой взгляд, должна найти и найдет путь к широкому читателю. А это непременный путь настоящей большой литературы. Проза символистов, например, волновала, в сущности, только символистов же и их окружение.

Вкратце содержание повести таково. Конец второй мировой войны. В немецком госпитале для туберкулезных умирает советский

офицер Вятич. За ним по-своему героически ухаживает молодая женщина, Мара, саратовская актриса, бессознательно делающая из своего героизма «театр для себя». Здесь же друг Вятича, от имени которого ведется повесть. В середине повести появляется молоденькая девушка-остовка Аннушка, которая «жалеет» Вятича и из ее русской природной «жалости» вырастает чувство любви. Вот весь сюжет. А внутренняя тема его — все та же изначальная тема вечности и гроба, разработанная автором сложно, интересно, порою захватывающе, и с большим чувством художественной меры.

Из всех главных действующих лиц повести (которые все даны чрезвычайно пластично, каждый со своим душевным миром) мне особенно хотелось бы отметить Аннушку. Она очень удалась Ржевскому — и в смысле портрета, и в своей особой речи. Весь ее облик — большая художественная удача. Вот, например, появление Аннушки в повести. Автор, от лица которого ведется повесть, лежит на берегу озера. «Сзади хлопнула дверца кабинки и совсем рядом с моим лицом прошли, скользя вниз по траве, детские две ступни, коротенькие, но широкие, похожие на бронзовые копытца. Закрыв глаза, я слышал, как они вошли в воду, чмокнув размокшим у берега грунтом. Представляю теперь себе, уже задним числом, что если бы тогда я задремал — не сложилось бы, пожалуй, у меня этой повести, — так осколки одни. Но я посмотрел вниз. Ступни выросли там в щуплую с узким перехватом фигурку в черном купальном костюме, — чуть коротконогую, вислозаденькую, но не подростковую — это была девушка, даже с завивкой на русых стриженых волосах; она как раз подняв локти, повязывала на них платок, запихивая пряди под складки. Потом двинулась дальше, ежась спиной и плечами от заглатывавшего кожу холода, как все девушки в мире. Шагах в трех от берега, знал я, была колдобина. Она и оступилась туда по пояс, чуть не упав и сказавши: — Господи ты, Боже мой! — Потом согнув колени и по-женски забавно оттянув задок, упала наперед и поплыла, пошлепывая маленькими ладонями по воде перед каждым гребком...»

Приведу еще одно короткое описание, когда герой повести утром идет по полотну железной дороги. «Под низким шафранным солнцем блестели рельсы. Блестела на скосе трава, политая росой. Пахло шпалами и липовым цветом. Недалеко на разъезде речитативом запыхтел маневренный паровозик. Резко затормозил, завизжав как пес, которому отдавили лапу. И снова стало тихо...»

Проза Ржевского прекрасна. Единственно, что я поставил бы ему в упрек, или даже не поставил бы в упрек, а над чем предложил бы задуматься — хорошо ли это — так это над тем, что Пастернак под конец своей жизни называл «выкрутасами» и от чего всеми си-

лами старался освободиться. Вот, например, показывая физически могучего туберкулезного больного, заплакавшего в постели во время припадка, Ржевский пишет: «он сидел в мутно-розовой кипе простынь и подушек, кривясь к окну туловом, и плакал — хрипя, задыхаясь и лязгая зубами». Я — читатель, и признаюсь, что это описание мне совершенно не дает возможности увидеть этого сильного, вдруг заплакавшего человека. И я думаю, что если бы было просто сказано, что вот, мол, он сидел в постели и заплакал, я бы его увидел гораздо яснее. Но, конечно, все это — дело вкуса, стиля, «тонуса». Одному кажется так, другому иначе. Наличность изрядного количества пастернаковских «выкрутасов» еще сильна у художника Ржевскаго. И это его дело. Он с полным правом может ответить, как премьер Столыпин: «мой язык, как хочу так и говорю». И как художник он будет прав.

На этом я хотел бы закончить отзыв о повести Ржевского. Но я чувствую, что нужно кое-что добавить и «про домо суа». Восемь лет тому назад, в 1953 году, в 34 кн. «Нового Журнала» я отозвался о первой книге Ржевского «Между двух звезд» и отозвался очень отрицательно. Думаю, что в своем отзыве я был прав. В одном из авторских отступлений в отчетной повести Ржевский сам пишет об этой своей первой вещи так: «Увы, лишь много позднее стало мне ясно, до чего поторопился я с этой темой, еще и самою жизнью не выговоренной до конца». Но вот в чем я был, конечно, не прав. Тот свой отзыв я закончил похвалой всегда интересных литературных статей Ржевского и добавил «видимо художественная проза не ремесло автора». Тут я глубоко ошибся: художественная проза, конечно, ремесло Ржевского. Родное ремесло. И Ржевский, подлинный художник, доказал это своими последними работами, и особенно своей повестью «Показавшему нам свет». Таких вещей в русской зарубежной литературе немного.

Роман Гуль

НОННА БЕЛАВИНА. Синий мир. Нью Йорк. 1961.

В недавно вышедшей первой книге стихов Нонны Белавиной — 57 стихотворений. Простые и теплые, при беглом чтении они могут показаться только рифмованным дневником женщины к «нему». Но вчитаешься и видишь, что души и любви хватает на все живое и прекрасное в мире. Это очень женские стихи, но удивительно, сколько в них, в то же время, — силы и радости жизни. В этом их особое выражение, своя нота, дающая индивидуальность этим — таким понятным всем — стихам.

Пожалуй, наиболее ярки стихи, в которых все та же тема

любви дана на фоне военных скитаний и ужасов. Автор не рассказывает о них подробно, только несколько штрихов наспех, — но для всех, кто эти ужасы пережил, их атмосфера встает, «как живая». Это именно та созвучность своей эпохе, которой часто тщетно добиваются и большие поэты. Таковы стихи «Я покинула все пепелища», «Вот прогнала смеющиеся сны», и особенно это:

Я помню вечер на бульваре Вены
И мальчика с гвоздиками в руках.
Еще в ушах звенела грусть сирены,
Еще в сердцах поеживался страх,

И все казалось призрачным и диким
Из подземелья вышедшим на свет.
А мальчик всем протягивал гвоздики
И я купила маленький букет.

И в городе окутанном пожаром
И в зареве плывущем, как в крови,
Прижав к груди несла я свой подарок,
Как дань твоей сверкающей любви.

Лидия Алексеева

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ЛЕОНИД БОГДАНОВ. Без социалистического реализма. Сборник юмористических рассказов. Издательство ЦОПЭ. Мюнхен. 1961.

С. ВОЛК. По пути завоевания космоса. Издание ЦОПЭ. Мюнхен. 1961.

КОНТР-АДМИРАЛ С. Н. ТИМИРЕВ. Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции (1914-1918). Нью Йорк. 1961.

Д. Е. СКОБЦОВ. Три года революции и гражданской войны на Кубани. Париж. 1961.

Т. ЧУГУНОВ. Высшее образование в Советском Союзе. Издание ЦОПЭ. Мюнхен. 1961.

Л. Г. БАРАЦ. Толстой и евреи. Монте-Карло. 1961.

Е. ПЕЧАТКИНА. Петр Иваныч. Рассказы. Сан Франциско. Изд. «Слово». 1961.

ARTHUR P. MENDEL. Dilemmas of Progress in Tsarist Russia. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1961.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Собрание стихов. Редакция и примечания Н. Берберовой. Мюнхен. 1961.

2-й ВЫПУСК АЛЬМАНАХА

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

под редакцией

Р. Н. ГРИНБЕРГА

Содержание сборника:

57 неизданных стихотворений *Осипа Мандельштама;* вариант «Поэмы без героя» *Анны Ахматовой;* Заклинания — музыкальные отрывки к «Поэме без героя» *Артура Лурье;* Фрагменты из неизданной книги «И. Тургенев» *Льва Шестова;* Стихи: *В. Набокова, Н. Юнга;* Статьи: О последних стихах Мандельштама *В. Вейдле;* Несколько слов о Мандельштаме *Г. Адамовича;* Памяти Мандельштама *Ю. Марголина;* Заметки о «Поэме без героя» *Б. Филиппова;* Чешуя в неводе *Артура Лурье;* Из неоконченных споров *Н. Ульянова;* О свободе в поэзии *В. Маркова.*

Портреты **О. Э. Мандельштама и А. А. Ахматовой**

Цена — $3.50

Книготорговцам обычная скидка

Заказы и чеки направлять по адресу издателя:

R. N. GRYNBERG,
304 *West 75th St., New York* 23, *N. Y.*

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1961 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня